КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 10

ОКТЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ



14 типография
„МОСПОЛИГРАФ“
Варгунихина гора, 8
Главлит № А-49651
П. 13. Гиз 35272
Заказ № 2909
Тираж 12 500

10 л. с.

(Роман).

Илья Эренбург

(Окончание)

V. Бензин

1.

Шоссе. Длинная вереница автомобилей. В автомобилях, разумеется, люди. Этот едет потому, что он врач. Этот потому, что он обхаживает девушку. Этот продает электрические лампочки. А этот решил убить ювелира. Все едут потому, что у них — автомобили. Едут не они, едут автомобили, а автомобили едут потому, что они — автомобили.

Вдруг машина останавливается среди пригородного уныния, среди щебня, паршивых котят и назойливой детворы, под жестким белесым солнцем. Вокруг столбы с насосами. Автомобиль хочет жрать. На столбах различные знаки: буквы, языки пламени, зигзаги молнии. Мелом проставлена цена: 12.70 или 12.80. Автомобилист, тот, что с револьвером в кармане, или тот, что с образцами электрических лампочек, рассеянно смотрит на молнию и на пламя. Ему попросту нужен бензин. Он не думает о том, что перед ним война, братские могилы, трофеи победителей. Он платит 12.70 или 12.80. Он думает о лампочках или об ювелире. Он нажимает педаль. Ухмыляясь, машина мчится дальше. Она одна знает, куда и зачем.

***

Это можно представить так:

Вереск и тоскливая луна — юпитер подозрительных с'емок, где фигуранты едят бутерброды героически и замедленно. Конечно, Шотландия. Конечно, замок. Конечно, пруд. И, конечно же, в эту ночь одинокий чудак бродит по берегу, пытаясь разгадать, где вода, где звезды и где насмешливые глаза какой-нибудь Мэри или Кэт. Вот его легкая, взволнованная тень. Он уж немолод: седые усы, смуглая кожа, обожженная солнцем; в глазах его, черных, как черна иная ночь под иными небесами, то-и-дело показывается суровый огонь. Может быть, и не влюблен он? Может быть, только встревожен луной и сыростью, неожиданным скрещением теней, неожиданным поблескиванием воды, загадочной мелодией своих шагов; может быть, встревожен он

только тривиальным присутствием и не Мэри, не Кэт, а смерти, этой обязательной фигурантки,— смерти, без которой не бывает ни пруда, ни замка, ни самой короткой человеческой ночи? Человек этот печален и неказист. На нем поношенный пиджак. Монокль его поцарапан, и часы едва держатся на старом ремешке. Может быть, это — мечтательный бедняк, маниак, влюбленный в древности, который приплелся сюда, чтобы вдоволь наглядеться на замшенные камни, чтобы вообразить себя якобитом, готовым тотчас же томно умереть за независимость Шотландии? Может быть, неудачливый это поэт, который зря посылает каждую субботу во все редакции Соединенного Королевства свои баллады, бледные и тоскливые, как луна?

У ворот замка — другая тень. Здесь нет ни пруда, ни пламени в глазах, ни романтики. Луна, однако, и здесь, она помогает разглядеть светлое непромокаемое пальто, золотую пряжку «ваттермана», даже сжатые решительно губы. О, этот человек тверд и настойчив! Но ворота не раскрываются. Он был здесь утром, он был здесь и днем. Он снова здесь. Кэт? Мэри?.. Кто знает!.. Напрасно сует он привратнику, надменному, как сам король Яков, хрустящие карточки и хрустящие ассигнации. Ворота не раскрываются.

Потом луна падает, зеленая луна, в зеленую воду. Умирая, еще раз жалобно пронизывает она белый пар. Тогда тень, та, что вздыхала на берегу, та, что с суровым огнем и с поцарапанным моноклем, среди ив и тишины сталкивается с новой тенью. Об этом можно написать балладу. Шорох теней невыносим. Даже бесчувственная ночь и та вздрагивает. Это видно по шелесту листьев, по плеску воды, наконец, по узким и сосредоточенным окнам замка, которые сразу загораются. Новая тень,— уж не смерть ли это? — скрипя, склоняется, точнее, склоняется только сухая металлическая шея тени:

— Мистер Тигль ждет нас в курительном салоне...

Тень у ворот ничего не знает. Тень у ворот зябко кутается в широкое, как старинный плащ, пальто.

***

Мистер Тигль осторожно закуривает гаванну. Хозяин же набивает свою трубку крепким, дешевым кнастером. Легче переменить веру, друзей, убеждения, родину, нежели табак. Хозяин был некогда очень беден. С трудом платил он десять центов за четверку табаку. Он привык к его тяжелому, густому дыму, к этому аромату матросских кабачков и грубой, бесшабашной молодости. Да, табаку он не изменил!

Мистер Тигль осторожно выпускает струю драгоценного дыма. Осторожно говорит он:

— Что касается возможности сепаратного соглашения с Москвой...

Тогда на ковер сыплются крошки кнастера: рука хозяина чуть-чуть дрожит. Впрочем, он улыбается. Предстоит новая битва. Следовательно, предстоит новая победа. Ведь это о нем сказал лорд Джон Фишер, создатель флота Великобритании: «Вы — Наполеон по отваге и Кромвель по глубине». Мистер Тигль может курить гаванну и говорить о сепаратном соглашении. Наполеон, он же Кромвель, спокоен. Он окружен серым дымом победы.

— Это бессмысленно, следовательно, это и ненормально...

Он знает, что победа за ними. А мистер Тигль и сепаратное соглашение — это только туман, белесый туман, это как цвет пруда, как выдуманная поступь обязательной фигурантки, которая бродила по аллеям парка и которую поэты, а также при подходящих обстоятельствах и не-поэты, зовут «смертью». Какой вздор! Вы говорите «смерть»? Но это же бессмысленно, следовательно, это и не морально.

**
*

Кто он? Адмирал? Фельдмаршал? Министр иностранных дел? — Нет, он только негоциант. Правда, король Георг пожаловал ему титул «сэра». Но он равнодушен к титулам. Он не равнодушен только к своему делу. Он попросту негоциант. Он торгует нефтью. Он глава «Роял-Детча». Зовут его Генри-Вильгельм-Август Детердинг. С ним его гости: вот неожиданная тень возле пруда — это сэр Джон Кедман, директор «Англо-Першен», союзник хозяина; а вот и мистер Тигль, председатель «Стандарт-Ойль оф Нью-Джерсей», который столь осторожно курит гаванну, боясь уронить пепел, боясь уронить слово; это соперник, если угодно, нежнолюбимый враг. За узкими окнами луна и вереск. Три джентльмена, ласково и загадочно улыбаясь, долго говорят о зловонной жиже.

**
*

У древних персов не было биржи, однако, они предчувствовали все высокое значение бумажек, именуемых теперь хотя бы «Англо-Першен», — они обожествляли нефть. Возле колодцев загадочно улыбались жирные, грязные жрецы, и вечный огонь не угасал. Даже смрад нефти казался паломникам сладчайшим.

Загадочно улыбается сэр Джон Кедман. Во время войны он торжественно возгласил: «Мы окропим вас маслом победы». Он позволил себе, несмотря на почетный пост председателя нефтяной комиссии, очаровательный каламбур: «ойл» — по-английски — масло, «ойл» — по-английски также — нефть. Сэр Джон Кедман совершал над храбрыми «томми», умиравшими в болотах Фландрии, высокий обряд миропомазания.

Теперь он — сэр. Он был прежде только мистером. Он был когда-то ребенком. Он не думал тогда о божественной сущности нефти. Добродушно, даже фамильярно обходился он с керосиновой лампой, которая мечтательно чадила, покрывая все его детство трогательной копотью. Романы Диккенса, домашний уют, золотое, медовое счастье!.. Древние персы спокойно спали на страницах гимназических учебников, и маленький Джон еще не помышлял о своем жреческом назначении.

Теперь сэр Джон Кедман преисполнен религиозного пафоса: он знает, кому поклоняются люди. Лет семь тому назад в Лиссабоне епископы римско-католической, единой, апостольской и воинствующей церкви, наследники бессребренников и страстотерпцев служили препышные молебствия. Они

просили всемогущего о поднятии курса «Англо-Першен». Ладан пахнет, конечно же, лучше нефти, но ладан — это только благоуханная смола. Епископам города Лиссабона пришлось повторять старые молитвы грязных персидских жрецов.

**
*

— Вспомните о Венецуэле...

Мистер Тигль пробует устрашить неприятеля. Он забывает, что перед ним не обыкновенный негоциант, который торгует нефтью так, как другие торгуют мылом или яблоками,— но Кромвель и Наполеон. Сэр Генри Детердинг может бояться сырости и тишины. Американцев он не боится.

2

Мистер Тигль не прочь порой похвастать:

— Я сам был рабочим на промыслах. Когда я кончил университет — последние экзамены,— вдруг телеграмма от отца: «Приезжай немедленно». Я подумал, что дома несчастье. Быстро собрался. Курьерским. Вхожу в кабинет отца, а он показывает мне на рабочую блузу: «Надень-ка это, и за работу!..» Что ж, я не стал спорить. Я зарабатывал 20 центов в час, как простой рабочий. Зато я изучил мое дело на месте...

Как должен усмехаться Генри Детердинг, представляя себе эту назидательную картину! Биография мистера Тигля взята из пуританской хрестоматии. Предусмотрительный папаша оберегает своего первенца от всех семи грехов, рождаемых, как известно, праздностью. Вот уж и нефть узнала свою потомственную аристократию! Отец мистера Тигля был владельцем нефтяных промыслов «Скофильд-Шеммер энд Гигль», а дед его со стороны матери — первым компаньоном великого Рокфеллера.

Генри Детердинг никогда не учился в университете, и никто его воспитанием не занимался. Он уехал из крохотной Голландии на Яву в поисках счастья. Скромный клерк одного из банков Батавии, он получал 60 флоринов в месяц,— меньше, чем юный Тигль на отцовских промыслах и на отцовских харчах. Клерк, однако, не унывал. Он верил в счастье — скромным он был только с виду.

Когда ему исполнилось тридцать лет, он встретился с удачей. Это не было в старинном замке, и удача никак не походила на традиционную фею. Звали удачу весьма прозаично: «господин Кесслер». Господин Кесслер был директором молодого, но солидного предприятия «Роял-Детч». Он-то и приметил скромного клерка. Банковские книги, скрип пера, дешевый галстучек... Господин Кесслер умел находить не только нефтяные источники. Исторически вздохнув, он промолвил: «Этому молодому голландцу предстоит великое будущее». Клерк перестал быть клерком. Он занялся нефтью. Пять лет спустя он сменил господина Кесслера: он стал директором «Роял-Детч». Через год он об'единил «Роял-Детч» с другой компанией «Шелл». Он проник в Ме

ксику и Румынию, в Венецуэлу и в Канаду. В маленьком банке Батавии еще справлялись о счетах клиентов по записям исчезнувшего клерка, а прозорливые биржевики уже толковали о новом короле нефти.

Всю жизнь томилю Наполеона большое зеленое пятно географической карты. Став во главе «Роял-Детч», Детердинг повел наступление на Россию... В 1903 г. он впервые проник на Кавказ. Накануне войны он вывозил из России сотни тысяч тонн.

В ненастный день, сырой и ветреный, жерла «Авроры» угрюмо пробасили «довольно»... Никто в России тогда не думал о Генри Детердинге. Люди думали о мире всего мира и о четверке пайкового хлеба. Детердинг прочел радио: «Всем, всем, всем... Сегодня рабочие, солдаты и крестьяне... Далее неразборчиво». Он был догадлив и понял значение стыдливого многоточия. В этот день его трубка наверное часто гасла. Детердинг нервно чиркал спичками.

Сейчас трубка курится. Добродушно поглядывает он на мистера Тигля. Тот осторожно улыбается.

— Десять лет тому назад «Россия», это означало — «революция». Теперь это означает — «нефть»...

Для мистера Тигля Россия — страна, в которой имеются большие, хоть и плохо оборудованные промыслы. Для сэра Генри — это загадочное пятно и его собственная биография, двадцать пять лет борьбы, неразборчивое радио, металлические глаза Красина, грузины, пулеметы, «Стандарт», Генуя, Гаага, переговоры, разрывы, уступки, ультиматумы, а за всем этим — молчание, как пятно на карте, большое и непонятное.

Американцы продают нефть. Но кому же нужна нефть, если не американцам? Они продают сейчас. Через десять лет им придется покупать. В России 150 000 000 душ. Сейчас крестьяне требуют керосин для ламп. Завтра они потребуют бензин для тракторов. Сэр Генри добывает нефть там, где вовсе нет людей. Это осмысленно, следовательно, это морально.

Но переизбыток?.. Но Венецуэла?.. Но независимые?..

У ворот замка попрежнему зябнет неизвестная тень. У этой тени превосходное перо «ваттермана». У нее отменные рекомендации и пухлый блокнот. Она ведь не тень, она — специальный корреспондент газеты «Таймс». Ей так хочется поговорить с этими тремя джентльменами! Но ворота замка замкнуты наглухо.

* * *

Мир должен быть организован. Хаос преступен. Хаос — белесый туман и присутствие обязательной фигурантки. Организовать мир должны не политики, не военные, не дипломаты. На нем, на Генри Детердинге,— высокая миссия. Он даст человечеству смысл, следовательно, и мораль. Да, он тоже социалист, только его социализм — не ребяческая греза, это — подлинное дело, это — империя нефти.

Мечта, жестоко преследовавшая Тамерлана, Цезаря, Наполеона, жива. Она делает горячими и бессонными ночи Детердинга. Бедный корсиканец

верил в отвагу подростков. Вудро Вильсон, среди сладостных забот запоздалого молодожена, преважно диктовал проект «ковенанта». С удовлетворением сэр Генри поглядывает на лакированный глобус. Он в праве его повертеть: Мексика, Кюракао, Глазгоу, Румыния, Гибралтар, Албания, Порт-Саид, Суэц, Цейлон, Батавия. Вот она воистину «империя, над которой никогда не заходит солнце!»

Да, но зеленое пятно, расползшееся на две части света?.. Мир должен быть организован. Он пробовал все. Он забыл о радио и о погасавшей, что ни минута, трубке. Не мог же он уступить зеленое пятно американцам!.. Еще в 1922 г. он купил 200 000 тонн советской нефти. Он говорил: «Ни один порядочный человек не должен покупать советскую нефть: эта нефть — крадена». Говоря так, он любезно беседовал с Красиным, и хитро посвечивали глаза Красина, и сэр Генри покупал краденую нефть. Одновременно он скупал акции бывших владельцев промыслов. Эти акции ничего не стоили после сердитого баса «Авроры», и с их держателями было куда легче сговориться, нежели с подлинными владельцами нефти. Детердинг покупал нефть и продавал ее. Он покупал аннулированные акции, и во всех газетах мира появились предупреждения: «Осторожно, не покупайте краденой нефти!» Так говорили бывшие владельцы бывших акций. Так говорил и председатель нового общества бывших законных владельцев, сэр Генри Детердинг. Он говорил интервьюерам: «Российская нефть принадлежит ее бывшим владельцам, следовательно, она принадлежит мне». Он говорил советским продавцам: «Вы можете продать эту нефть мне, но исключительно мне и притом с соответствующей скидкой...» Он делал все, что мог, ибо мир должен быть организован.

3

Одни называются фунтами стерлингов, другие — долларами, третьи поэтично, как будто это тюльпановые поля,— флоринами. Все равно, докучны. Детердинг не успевает даже переменить ремешка от часов. Он курит грошовый кнастер. Правда, он любит спорт. В советском приложении к нефтяной газете была воспроизведена фотография: «Сэр Генри и леди Детердинг катаются на коньках в Сан-Морице». Держатели акций «Роял-Детч» могли радоваться крепости их шестидесятилетнего попечителя. Сэр Генри даже произнес спич в Амстердаме о пользе физкультуры. Но разве для коньков нужны миллионы? Зимой замерзают каналы Дельфта или Дордрехта, и мальчуганы, вовсе не знающие, что такое акции, весело режут лед, голубой, как фаянс.

Зачем Детердингу деньги? В стране Прометея было вдоволь тепла. Он мечтал об огне, не о печке. Вот другой повелитель, бывший оплот «Англо-Першен» — сэр Базиль Захаров. Его состояние измеряют миллионами английских фунтов. Ему 80 лет от роду, и он одинок. Джон Рокфеллер долго копил деньги. Потом он начал раздавать их со всем прилежанием квакера и домовода. Он роздал все. Это грустно, как стихи Экклезиаста. Это —

точно ход волн. Не ради денег, конечно, трудится сэр Генри. Он хочет организовать мир.

Он верит в бессмертие духа. Он также торгует нефтью. Он не может отдать зеленое пятно американцам. Когда «Стандарт-Ойл» хотел заключить сделку с Советами, Дертердинг послал телеграмму благочестивому Рокфеллеру, который уже скребся в двери рая. Как?.. Рокфеллер хочет дать деньги заведомым безбожникам, которые угнетают христианскую церковь?.. Сам Детердинг не боится ада. Он готов был платить деньги даже этим злодеям и рецидивистам.

Он хотел одного: платить дешево.

Он пугал русских и он соблазнял их. Зеленое пятно оставалось загадкой. Тогда сэр Генри потерял терпение. У него густые, жесткие брови. У него горячее сердце. Брови сгустились. Трубка угрюмо пыхтела. Сэр Генри Детердинг об'явил зеленой загадке войну.

Красин как-то сказал Детердингу: «Прошлое не в счет. Надо все начинать сызнова». Глаза при этом хитро посвечивали. Сэр Генри любовался их игрою. Он сам ненавидит старое. Старое — это белесая тень возле пруда. Старое—это смерть. Не раз он уничтожал все вокруг себя. Он всему изменял, кроме разве кнастера. Акции бывших владельцев для него — не догмат веры. Это — просто хороший ход.

Он готов все начать сызнова.

***

На Северном призрачном море угрюмо дымит гигантский дредноут. Он правит пятью частями света. Для него растут пальмы, для него под землей сверкают алмазы, для него истекают смолой каучуковые рощи, для него Рабиндранат Тагор пишет стихи о мудрости Индии,— все для него.

Этот дредноут зовут Великобританией.

Его орудия готовы салютовать поцарапанному моноклю. Правда, Генри-Вильгельм-Август — иностранец, но свободолюбивые бритты изучают паспорта разве-что нищих иммигрантов. На капитанском мостике, рядом с греческим профилем Базиля Захарова, можно увидеть и голландскую трубку Детерлинга.

Сэр Генри об'явил войну шестой части света. У сэра Генри прекрасная армия. Несколько лет тому назад в лондонском суде слушалось дело подвластной ему компании «Астро-Романа».

Вот допрашивают бывшего заведующего великобританской контр-разведкой мистера Мак-Донога:

— Вы получали ежегодно 4 000 фунтов. Между тем вы отнюдь не специалист по нефтяному делу. Может быть, вы об'ясните нам, в чем именно состояла ваша служба?

Мистер Мак-Догон насмешливо вздыхает:

— Простите, но мои функции чрезвычайно трудно определить...

Сэр Генри говорит о Ллойд-Джордже: «мой друг». Это не мешает ему ладить и с Чемберленом. Он ведь презирает низкую политику, выборы, смену

кабинетов, пышные слова и пышные парики. Он об'явил войну непокорной державе. Дредноут на-славу оборудован. Дым дредноута черен и грозен.

В пригожий майский день полицейские бригады окружают тривиальный дом на улице Мургет. Шифровальщик советского торгпредства, некто Худяков, видит перед собой спортивный кулак одного из агентов. Худяков, может быть, и хочет расспросить незваного гостя о знаменитом «хабеа-корпусе», но он нетверд в английском языке, к тому же у спортсмена палка. Худяков падает на пол. Полицейский направляется к начальнику с победоносной реляцией.

Сэр Генри говорит: «Побеждает тот, кто действует».

Две недели спустя Чемберлен подписывает воинственную ноту. Сэр Генри возьмет зеленую крепость измором. Он видит уже великую коалицию. Только ни слова о нефти! Говорите о крови расстрелянных, о поругании церквей, о свободе слова, говорите, если угодно, стихами, говорите много, красиво и задушевно! Главнокомандующий остается незримым. Его имя неизреченно, как имя Иеговы. В анонимной комнате он курит простонародный кнастер.

Наполеон идет на Восток, чтобы создать единую империю нефти.

4

Просторный кабинет. Зеленое сукно. Приторный запах табака с медом. Председатель «Норд Кокасен Ойл Фильд» говорит уверенно и веско. Это — дивизионный генерал, которого ознакомили с планом атаки.

— Наиболее существенным событием истекшего года было удаление русского посольства. Надо надеяться, что Франция последует примеру Великобритании. Сэр Генри Детердинг окажет на французское правительство все давление, которое он только может оказать...

Джентльмены облегченно вздыхают: раз сэр Генри!.. С восторгом шепчут один другому:

— Он сказал, что не пройдет и года, как кремлевская власть падет...

«Он» — это, разумеется, сэр Генри. Сэр Генри вспыльчив и неосторожен. Он любит изрекать. Возражений он не терпит. Над Кавказом могут развеваться какие угодно флаги, но кавказская нефть должна принадлежать ему.

* * *

Секретарь заказывает каюту: сэр Генри едет в Париж.

Париж смеется, пьет аперетивы, читает о скачках в Довиле и о новых автомобилях Ситроена. Он вовсе не ждет Детердинга. Под платанами целуются сентиментальные парочки. Энтузиасты требуют спасения Сакко и Ванцетти. В народных танцульках гармонисты играют залихватские «явы». Депутаты удят рыбу и задабривают избирателей. Париж, как всегда, пахнет пудрой и бензином. Он не знает, что бензин это — нефть, что кабина уже

заказана, что голубой дым над площадью Сан-Лазар — дорога сэра Генри к пожарищам Москвы.

**
*

Жорж Клемансо теперь заканчивает свою вдоволь тщеславную жизнь афоризмами о тщете всякой славы. Он пишет о Демосфене. Кроме того, он любит наблюдать за своим шотландским терьером. Его пес не охоч до сухого хлеба, но стоит только Клемансо бросить крошки воробьям, как терьер немедленно их пожирает. Клемансо записывает: «Не правда ли, сколь человеческое движение?..»

О Клемансо наивные люди говорят: циник! Сэр Генри Детердинг улыбается. Ведь Клемансо питался министерскими кризисами и обыкновенной человеческой тоской. Он верил в чары Мата-Хари, в барабанную дробь, в мистику крови, в ораторское совершенство. Он еще мог признать железо или уголь. Но нефть?.. Во время Версальской конференции его предупреждали: англичане хотят нас провести. Они прибирают к рукам всю нефть. Шутники рассказывают, будто бы грозный Клемансо в ответ презрительно усмехнулся: «Что ж, у нас останется электричество!»

Год спустя другой француз, г. Мильеран, гордо заявил: «Моссульская нефть наша, и мы требуем свободных рук». Тогда-то усмехнулся сэр Генри: у них будут свободные руки. Свободные и пустые. После этого немало французских солдат осталось в Сирии. Стреляли арабы. Пули были английские.

А нефти у французов — нет-как-нет. Зато кое-кто приобрел акции «Роял-Детч». Когда подымается в цене нефть, подымаются и бумаги. Это — ущерб для промышленности, это — кризис и безработица, но это — классическое счастье сотни-другой рантьеров.

У французов нет нефти и у них много автомобилей. Они покупают нефть «Роял-Детч» или «Стандарт-Ойля». По Черному морю идут наливные суда. Но ведь сэр Генри воюет с зеленым пространством. Сэр Генри Детердинг хорошо знает, из чего сделана человеческая жизнь. Он знает, что такое высокая политика. Он знает также, что такое зловонная нефть.

**
*

Дипломаты — люди загадочные и завлекательные, вроде медиумов или чикагских бандитов. Г. Камбон, бывший посол Франции в Берлине, снисходя к любопытству непосвященных, выпустил недавно книжку под заглавием: «Дипломат». Подробно рассказывает он, как должен образцовый дипломат улыбаться и как должны улыбаться ему.

Непосвященных много. Кроме книги г. Камбона, они читают обыкновенные парижские газеты: «Матэн» или «Эко де Пари». В этих газетах пишут об одном дипломате: «разбойник... палач... убийца... шпион...»

Г. Камбон, один из «бессмертных» Академии, неужто выдумал он все описанные им улыбки?.. Впрочем, «разбойник» — это не просто дипломат,

это — посол строптивой державы, которая не хочет отдать сэру Генри какие-то промыслы. Хотя г. Камбон, помимо Академии, стоит во главе французского отделения «Стандарт-Ойля», беседуя о дипломатическом этикете, он, наверное, забывает о нефти.

С настоящими дипломатами в Париже разговаривают согласно трактату г. Камбона. Вот очередной гость — премьер-министр Румынии г. Братиано. Он, конечно же, улыбается, и все французы улыбаются ему.

Их трое братьев, и все они Братиано. Они любят английские акции, румынскую нефть, дивиденды железнодорожных компаний и французские займы. Они любят даже скромненькие леи. Трудно сказать, как бы сложилась жизнь этого предприимчивого семейства в другой стране. Но румыны любят высокое искусство, и братья Братиано на-славу правят всеми румынами.

* * *

Париж, весь голубой и томный, пьет оранжады. Сэр Генри для него — один из богатых иностранцев, из тех, что швыряют тысячи, только чтобы увидеть гробницу Наполеона или Венеру Милосскую. Говорят, будто бы иные из этих простачков даже плачут перед безрукой статуей! Может быть, и мосье Детердинг тоже плачет?.. Кто определит белизну мрамора и чувствительность человеческого сердца?

Париж не думает о нефти. Только один мечтатель, сидя на террасе кафе, под большими звездами, окруженный запахом левкоев и лимузинов, шепчет:

— Посмотри, что здесь написано!.. Номинальный капитал этого «Роял-Детча» равняется 600 000 000 флоринов. Прибавь-ка «Шелл» — 500 000 000 флоринов. Прибавь-ка «Батавию» 300 000 000 флоринов. Прибавь-ка...

Приятель вздыхает — от цифр? от слова «флорины»? — до чего красивое слово!

Париж не думает о нефти. На минуту смущают его козни восточных варваров. В маленьком кабачке, на бульваре Сан-Марсель, который носит хоть длинное, но мудрое наименование — «Все обстоит благополучно», владелец мастерской надгробных памятников и младший бухгалтер «Парижского учета» распивают пикон-кюрасо. На столике, рядом с промасленной колодой, свежая вечерняя газета.

— Читали?.. В Нью-Йорке неслыханная жара. Три человека скончались от солнечного удара.

— Ну, все-таки это лучше холода. Помните зиму 17 г.? Одиннадцать ниже нуля!.. Это вам не Нью-Йорк! Каждый день кто-нибудь падал на улице замертво.

Гробовщик вздыхает, хотя со смертью у него самые дружеские взаимоотношения.

— А что вы скажете о наших ротозеях? Болтуны! Англичане — те куда умнее. Держать у себя под боком немецкого шпиона! Он же может выкрасть все планы.

— Конечно! Потом он пытал тысячи порядочных людей. Он сам взламывал сейфы. Он национализировал для себя женщин.

— Если б у нас была настоящая твердая власть, его давно бы отправили в их замечательную Сибирь.

— А в Сибири теперь невредно... Уф, и жарко же!..

— Да, прямо Нью-Йорк... Давайте-ка, друг мой, сразимся... Вот везет!.. Уж наверное все козыри...

**
*

В тишайшем квартале Парижа, где живут титулованные старухи, аббаты, лакеи, а также посланники великих держав, где вместо кофеен — церкви и полицейские, в этой богадельне, только однажды проветренной невежливыми санкюлотами, находится почтенный дом. Он тих и пристоен, как все его соседи; ворота закрыты наглухо; двор посыпан рыжим песком.

В почтенном особняке, в поместительном кабинете, среди старинных гобеленов, обрамляющих бороду Маркса, среди деловых папок сидит одинокий человек. Он просматривает ту же газету, что читали философы с бульвара Сан-Марсель. Он усмехается. Потом он снова становится жестким и темным, впадая в тень кабинета, в серость домов и дней.

Да, посол зеленого пятна видел сэра Генри. Судьба однажды свела их. Было это не на романтической баррикаде прошлого века, но в роскошном салоне отеля «Клеридж». Их окружали не повстанцы и не жандармы, а предупредительные лакеи, говорили же они друг с другом не о мировой революции, но только о нефти.

Генри Детердинг — сын небольшого народа, и он сын достаточно скромных родителей. Сэр Генри ненавидит революцию, он скорее всего ее презирает. После безупречного завтрака в «Клеридже» сэр Генри чувствовал легкую горечь.

**
*

К высокому дому на Кузнецком под'езжает автомобиль. Автомобиль корректен и корректен пассажир. Г. Эрбет улыбается согласно книге г. Камбона. Это — настоящий дипломат. Он говорит о полученных им из Парижа инструкциях. Он говорит о достоинстве республики и об общественном мнении. Он говорит возвышенно и деликатно. Это, как стихи Гюго. О нефти г. Эрбет ничего не говорит.

У закрытых ворот тишайшего квартала Парижа толпятся журналисты. Они говорят об одном: когда же он уезжает?.. Молчат полицейские. Они ничего не знают. Это даже не люди, это — голубые тени голубого Парижа. У них только кэпи и номера. Журналисты озабоченно кудахчут. «Когда же? когда?

Стекла почтенного особняка меланхолично посвечивают.

***

Кажется, все готово... Журналисты передают друг другу:

— Его секретарь заказал два места в норд-экспрессе.

— Значит, завтра?..

— Да, завтра в три...

Они уходят. Возле почтенного дома остаются одни полицейские. Спит теперь весь квартал великолепных ханжей.

Раннее утро. Во дворе сдержанно дышит автомобиль.

Шторы автомобиля были спущены. Полицейские так и не догадались, кто мог уехать из посольства в столь ранний час.

Осеннее небо чисто и высоко. Это небо Франции. Мотор хорошо работает. Стрелка клонится: 60, 70, 80. Автомобиль мчится к границе Германии. Напрасно журналисты будут рыскать по вагонам норд-экспресса. Тот, о котором они так много писали, ушел внезапно, как уходит ветер.

Вдруг машина останавливается:

— Надо набрать бензина!..

На желтой будочке гордо значится: «Шелл». Это сэр Генри провожает советского полпреда.

5

Палата депутатов. Швейцар с массивной цепью на шее торжественно возвещает:

— Господин председатель!

В зал входит г. Буиссон. Он, «конечно», социалист... Чуть недоуменно оглядывает зал фрачная манишка. Кресло ампир цепенеет. Депутаты шумят, как приготовишки, и г. Буиссон добродушно стучит линейкой. Скучный урок! Сегодня ведь будут говорить о какой-то нефти...

Немало мест пустует: скоро выборы, и самые шустрые уже на посту — в глухой провинции. Там они патетично жмут руки ветеринаров и нотариусов, любезничают с кабатчиками и со стряпчими, сулят кому место табачного сидельца, кому пенсию, кому всеобщее равенство, а кому и загробную жизнь. Там, стучая кулаком по столу, в накуренных кофейнях клянутся они защищать интересы промышленников, рантьеров, рабочих, фермеров, интересы всех и всякого, построить новый мост, проложить замечательное шоссе, удешевить квартирную плату, перехитрить американцев и спасти в такой-то раз 58-летнюю Марианну.

Депутаты слушают одним ухом: кого, скажите, может интересовать нефть?.. Одни пишут письма избирателям: Дюран просит пристроить его племянника в Алжире, а Дюпон — тот возмущен происками конкурентов. Надобно всем ответить. Другие со скуки вырезывают на сиденьях свои инициалы. Даже скамья, на которой заседает правительство, вся испещрена

вензелями, как самая тривиальная парта. Шушуканье. Смех. Треск газетных листов. Время от времени стук председательской линейки: тише!

— Крекинг не может применяться к нефти, заключающей в себе серу...

Зевки. Гул голосов. Шорох бумаги. Звонок председателя. Зал оживает, когда один из ораторов говорит:

— Вместо «ищите женщину старых водевилей» мы вправе теперь сказать: «ищите нефть».

Тотчас же другой депутат возражает:

— Не сравнивайте нефть с женщиной. Женщина — это божество.

Смех и ремарка мизантрола:

— К тому же она не воспламеняется...

Вопрос о пылкости красоток здесь куда понятней и милей неведомого «крекинга».

Речи продолжаются. На трибуне теперь социалист Шарль Барон. Он южанин, у него седая грива и классический рык. Он, разумеется, преисполнен пафоса. Он любит рассказывать:

— Мой дед сидел в конвенте, и мой дед сказал Марату...

Он свято чтит «декларацию прав человека». О нефти он говорит так же красноречиво, как его дед говорил о заветах Жан-Жака.

Однако палата 1928 г.— не конвент, и гражданин Барон умеет соблюдать вежливость:

— Сэр Генри Детердинг пошел дальше, он пытался также повлиять на французское правительство. Я должен отдать честь нашему правительству и г. Пуанкарэ...

Г. Пуанкарэ сух и непреклонен. Г. Пуанкарэ быстро прерывает восторженного южанина:

— Никто не пытался повлиять на меня.

Скрипят перья стенографисток. Застыли швейцары с цепями. Легкая серебряная пыль садится на лицо Клио, самой темной из всех муз.

* * *

Закон о ввозе нефти принят. В протоколе перечислены по алфавиту депутаты, голосовавшие «за», голосовавшие «против», воздержавшиеся, находящиеся в отпуску. За сим следует: «не могли принять участия в голосовании гг: Кашен, Дорио, Дюкло, Марти, Вайян Кутюрье». Это сказано ласково, абстрактно и, однако же, весьма точно: вышепереименованные депутаты не могли принять участия в голосовании хотя бы потому, что они, как коммунисты, находились в тюрьме Сантэ.

6.

Генри Детердинг как будто выиграл битву. Но зеленое пятно он с карты не стер. В Баку продолжали добывать нефть, и вопреки смыслу, вопреки морали эта нефть не текла в резервуары «Рояль-Детч» или «Шелл». Детердинг

готовился к новому наступлению. В то же время он вел переговоры. Он предлагал мировую. Что делать? Чем больше он выигрывает, тем больше теряет. Он искал нефть повсюду. Оказалось, что нефти чересчур много. Цены начали падать. Автомобилисты — те радовались. Сэр Генри хмурился: мораль в опасности! Эти восточные путаники продают нефть много ниже мировых цен. В Венецуэле, что ни день открывают новые источники. «Независимые» выпускают нефть за бесценок. Сэр Генри с тревогой заглядывал в биржевой бюллетень. Белые листки — как тень возле пруда.

Тогда-то кинулся на него его давнишний враг: «Стандарт-Ойль» спустил в Индии 20 долларов с тонны. Это было ударом в спину. Дивиденды «Роял-Детч» понизились. Детердинг вел переговоры о займе в Америке. Он хотел получить 80 000 000 долларов. Но «Стандарт-Ойл» не дремал, и американские банкиры тянули дело.

Мечта — единая империя, но человечество еще не доросло до этого. Что же, тогда пусть существуют три империи. Это лучше, чем хаос. Сэр Генри упрям, но он умеет уступать. Он приглашает союзника «Англо-Першен» и врага «Стандарт-Ойл» на совещание. Им предстоит разделить мир.

В старинный замок Эчекери приезжают гости: сэр Джон Кедман и мистер Тигль. Над замком луна. Возле замка пруд. Три джентльмена подолгу беседут друг с другом. Ворота закрыты наглухо. Секретари и стенографистки отосланы в коттедж за восемь миль от замка. Здесь нет места соглядатаям.

Они непохожи друг на друга, эти три нефтяных императора. Сэр Джон Кедман — ученый. Мирно читал он лекции по политической экономии. Потом сразу, как Ньютон — закон тяготения, он понял закон господства над миром. С тех пор он знает одно только слово нефть. Это он научил правителей Великобритании, как им бороться с Америкой. Скромный профессор Бирмингамского университета, он стал главой «Англо-Першен» и сэром Джоном. Он здесь — выкладки. Мистер Тигль — сила, наследственная сила, держава Рокфеллера.

Осторожно покуривая гаванну, мистер Тигль говорит:

— Хорошо, мы поделим рынки, мы задавим независимых. Но Россия?..

***

Тень долго зябла у ворот замка. Наконец-то ворота раскрылись. Специальный корреспондент газеты «Таймс» был великодушно принят мистером Тиглем.

— Можно ли узнать цель вашего приезда в замок Эчекери?

Журналист затаил дыхание. Он получит самое сенсационное интервью. Он, анонимный репортер, станет завтра ответственным редактором.

Осторожно улыбаясь, мистер Тигль говорит:

— Я, а также сэр Джон Кедман были гостями сэра Генри и леди Детердинг.

— Но цель?.. Простите меня, мистер Тигль, но цель вашего посещения?..

— Хорошо, я вам отвечу. Главная цель нашего приезда это — рыбная ловля и охота на рябчиков. В окрестностях замка много рябчиков, и мы с удовольствием предавались столь редкостному спорту.

— Но?.. Но?..

Журналист не может ничего вымолвить. Он подавлен. Рябчики вырастают. Они становятся мифическими грифами. Журналист бледен. Он роняет на пол прекрасное перо «ваттерман». А мистер Тигль, все также осторожно улыбаясь, говорит:

— Впрочем, я не скрою от вас, что в свободные минуты мы говорили немного о нефти. Мы установили, что нефти чересчур много и что необходимо сократить добычу для блага самих потребителей. Вы хорошо поняли меня? Для блага самих потребителей.

Полчаса спустя — журналист у телефонного аппарата:

— Алло? Да, да. Сначала — рябчики. Обыкновенные рябчики. Птица. Потом — просто. Вы не понимаете?.. Но они поделили весь мир. Только обождите, хорошо ли вы меня поняли? Это для блага самих потребителей...

На ступенях всех бирж, лондонской и парижской, нью-йоркской и амстердамской — буря. Летят соломенные шляпы и котелки. Трости высятся, как жезлы. Вой тысяч глоток сливается в одно громыхание громадного рупора:

— «Роял-Детч» вчера — 36 000, сегодня — 41 000.

Сэр Генри спокойно косится на биржевой бюллетень. Настанет час, и три империи сольются в одну!

***

Война — это запрос, война — это когда грозно дымится кнастер, когда падают брови и сердце бьет на приступ. Война — это сон о нефтяной империи. Были басы «Авроры», козни американцев, скрипело перо Чемберлена, французы говорили о национальной чести, цитировали писание голландцы, и сэр Генри что ни час отдавал новые приказы.

Сейчас мир подписан. Уступили американцы. Уступил и сэр Генри. Зачем же собирал грозную коалицию сэр Генри? Мир скучен и древен, он древнее войны. Мир — это 60 флоринов в месяц и протертый рукав молодого клерка. Даже крепкий кнастер пресен. У сэра Генри будни.

Эти будни глупым людям кажутся праздником. Детердинга все поздравляют. Он ведь выторговал у советов 5 процентов. Он говорит, что эти деньги предназначаются для бывших собственников, что он, сэр Генри, защищает права обнищавших эмигрантов. Лакированный глобус послушливо вертится. С любовью сэр Генри поглядывает на знакомое пятно. Вот голубой единорог: это — Каспийское море. Нефть течет...

**
*

Детердинг у себя на родине, в Голландии. Правда, его родина куда шире. Голландский поэт ван Эден сказал: «Родина купца — весь мир». Эти стихи должны нравиться Детердингу. Он повсюду дома: в Лондоне и в Батавии, в Гааге и в Баку. Но слов нет, он любит свою крохотную Голландию. Здесь все им гордятся, как гордятся крестьяне односельчанином, который стал бригадиром или нотариусом. Вот и сегодня поэт Доурнебос написал о Детердинге поэму. Он называет сэра Генри «каменным столпом Нидерландов». Сэр Генри отвечает на любовь любовью. Он посылает бедных студентов в колонии: пусть ищут там удачу. Он дарит в музеи ценные полотна. У него в Гааге очаровательный коттедж. У него в Гааге и другой дом, видный издалека, весь красный, надменный. Это — правление империи. На фронтоне вместо геральдических львов или грифов одно торжественное слово: «Батавия». Каждый год, где бы он ни был, сэр Генри спешит к назначенному дню в Гаагу: на бал к своей королеве. Он — английский сэр. Он может, конечно, стать президентом Венецуэлы или персидским шахом. Но он презирает титулы. Он — только верноподданный Вильгельмины, божьей милостью королевы Нидерландов.

А, может быть, это шутка? Сэр Генри ведь любит шутить. Может быть, все здесь, от королевы Вильгельмины до газетчика, что разносит «Телеграф», только верноподданные Генри-Вильгельма-Августа Детердинга?..

**
*

В тихом Дельфте сегодня торжество: техникум присудил сэру Генри докторский диплом «гонорис кауза». Правда, сэр Генри не сэр Джон Кедман, он не сушил свой ум науками. Зато он «каменный столп Нидерландов», и все тот же поэт Доурнебос клянется, что сэр Генри наперсник Минервы. Профессора восторженно жмурятся: они ведь так уважают эту богиню! На ректоре традиционный колпак и цепь. Ректор говорит без запинки:

— Гордость Нидерландов... Весь мир почитает... И мы сочли за честь...

Большой зал переполнен. Верноподданные, те, что на хорах, затаили дыхание. Принц Генрих умилен. Принц Генрих — не король, он только муж королевы, и он не император нефти, у него скромный цивильный лист. Принц Генрих хорошо понимает, кто перед ним. Он молитвенно сложил ручки. А новый доктор с легкой усмешкой выслушивает речи. Да, да, конечно, Минерва!..

На тихих улицах, вдоль обязательных каналов, толпятся жалкие смертные, так и не попавшие на торжество. Они приветствуют сэра Генри. Они приветствуют доктора Детердинга. Они приветствуют нефтяного императора.

Потом?.. Потом люди расходятся. Из узких каналов выползает ночь. Здесь кончаются газетные отчеты. На смену приходит фантазия автора.

Доктор Детердинг беседует теперь с ночью. Эта беседа неповоротлива, кропотлива, темна. Куда легче было беседовать с мистером Тиглем или даже с советским полпредом. Ночь не хочет уступать, а доктор упрям и вспыльчив.

Где он видел эту улицу?.. Ах, да, на старой картине! Он купил картину в Лондоне на аукционе. Он подарил ее амстердамскому музею. Пусть висит там. И пусть молчит. Улицы не должны разговаривать. Ночь обязана молчать. Ректор техникума давно закончил приветствия. Голландцы за белыми шторами пьют кофе и читают — одни библию, другие биржевой бюллетень. Они читают: «Роял-Детч»... десять заповедей... чти... в поте работай... «Шелл»... по образу и подобию... дивиденды... не пожелай... цены на бензин снова поднялись... для блага самих потребителей... положить душу свою .. свою...

Так говорят газеты и писание. Так говорит доктор Детердинг. А ночь, надоедливая, несговорчивая ночь твердит иное. Ее даже нельзя перекричать: она ведь разговаривает молча. Доктор мечется вдоль обязательных каналов, по узким, почти невидимым, но только предполагаемым улицам.

Дельфт — не разноязычный Роттердам. В Дельфте живут голландцы, скромные подданные королевы Вильгельмины. Откуда же взялись эти тени?..

— Сэр, мы ваши подданные.

— Нидерландов?

— Нет, нефти.

— Мы разорились. Мы разбогатели. Нас нет. Мы умерли. В окопах. Мы мексиканцы. Мы были за Обрегона. А мы — мы против. За вас. За нефть. Мы из Албании. Мы резали других. А мы из Рифа. Там ведь тоже нефть. Из Моссула. Клемансо не понял. Вы поняли. Вы, сэр. Мы французские солдаты. Мы грузины, мы кричали: «Сакартвела»! Мы ведь не знали, что это — нефть. Нас расстреляли. Рано утром. Мы поляки. Мы из Венецуэлы. Мы маклера. Мы генералы. Мы дети...

— Довольно! К делу! Что вам нужно? Акции? Повышение цен? Мир?

— Сэр, мы мертвы.

— Так вы хотите смерти?

— Доктор, вы забыли, а бессмертие?

— Теперь я понимаю, вы хотите бессмертия?

— Император, сжалься! Мы не хотим бессмертия. Мы ничего не хотим. Нас нет.

Сэр Генри оглядывается: все та же ночь, фонарь и тень. Одна только тень.

— Лэди, вы?.. Или, простите, вы тоже из Венецуэлы?..

Тень молчит. Тогда он вспоминает: замок, пруд, луна. Мистер Титль ждал его в курительном салоне. А тень металась по аллеям.

— Лэди, вы — смерть?

Тень молчит. Тень чрезвычайно похожа на сэра Генри. На Генри-Августа-Вильгельма.

В каналах темная вода, вязкая вода. Может быть, и не вода это, а нефть. Нефть повсюду. Необходимо срочно сократить добычу. Заткнуть. Об'явить,

что нефти больше нет. Нигде. А то сегодня — Венецуэла. Завтра — Колумбия или Урал. Цены летят. Империя рушится. Зачем он жил?

Но постойте! Нефть — это энергия мира. Нефть нужна всем. На благо потребителям. Пароходы, автомобили, аэропланы. Кружитесь! И скорее! Почему они сидят за шторами? Они обязаны нестись. Дом, взлетай! Мост, отчаливай! И бросьте библию! Я ее прочту за вас. Потом. Когда-нибудь. После смерти. Я вам приказываю: мчитесь! 100, 200, 300 в час!..

А вдруг устанут? Вдруг взмолятся: «Зачем же так быстро? Зачем? Куда»? Человеку ведь легче остановиться, нежели нефти. Нефть течет. Ее станут продавать за гроши. Акциями «Роял-Детч» станут растапливать камины. Нефти так много! Это нефть в каналах. Или не нефть — кровь. Все равно! Тогда слишком много крови.

VI. Биржа

1

— Ситроен — 1841!.

Это Акрополь и собор святого Петра. Здесь почитают единого бога, имя его неизреченно, а поклоняются здесь трем тысячам святителей. Их имена, звонкие и загадочные, заполняют высокие своды; они выливаются на площадь, растекаются по узким улицам Парижа; они затопляют банкирские конторы, где рябь бухгалтерии, горе клерка и окурок сигары на стеклянном прилавке; они повсюду просачиваются: в редакции газет, в кабинеты министров, в спальни содержанок, просыпая там на ковер пудру или жемчуг; легко взлетают они на Эйфелеву башню, чтобы стать волнами божественного эфира, который, растекаясь по всему свету, обволакивает и нормандскую ферму, и палубу трансатлантического парохода, и автомобиль Ситроена среди песков Сахары. Великие имена, пот пряный и тяжелый, как мускус, вязкость крови, духота снов, память, благотворное отчаяние: «Роял-Детч», «Рио-Тинто», «Томсон-Устон», «Канадиан-Пасифик», «Малопольска», «Санта-Фе». Нет, не медь это, не нефть, не грубая плоть вселенной,— это имена святителей, колебания цифр и волн, богомольный трепет человечества.

Где-то далеко анонимные люди уныло умирают, даже не догадываясь, что здесь, в этом храме с непременными колоннами, ежедневно от двенадцати до двух верующие истово за них молятся.

Румыния. Черная земля. Ни дерева, ни травинки. Только вышки промыслов, зной и смрад. Верноподданные сэра Генри копошатся среди труб и цистерн. Они угрюмы, грязны и они пропахли нефтью. Здесь же только нежное имя.

— «Астра-Романа»! Даю 80 по 376!

Возле Пенгама, как всегда, сочатся гевеи. Воняет, скисая, молочный сок. Мистер Девис мечется на сырых простынях, скошенный приступом лихорадки. Кули кружатся и падают, как комары.

— Беру «Малакка» по 311!

В Капштадте негры ищут алмазы: «Иогансбург» — 295. В салоникском порту грузят листья нежного табака: 1 117. В Индо-Китае — фосфат: 310. Сентиментальные министры спешат со своими половинами в Европу: «Спальные вагоны» — 674. «Шведские спички» — 2 895. Кому же не нужны спички?.. Доктора прописывают больным печенью минеральные воды: «Виши» — 2 645. Больные печенью дуют втихомолку ликеры: «Кюзенье» — 2 850. В Польше стучат кирки рудокопов «Домброва» — 1 948. Вот входят в гостиницу блистательные молодожены. Шесть рослых швейцаров едва тащат длинные сундуки, все облепленные пестрыми, как глобус, этикетами: «Отель-Континенталь»— 655. В Женеве осуждают химическую войну, но остаются удобрения, но остается вся несовершенность человеческой природы: «Нитрат» — 323. На Монпарнас в кафе приходят туристы поглядеть, как это живут великие художники; туристы пьют, разумеется, пиво и приглашают недорогих девушек: «Ротонда»— 189.

Прихожане великого храма не видят ни нефти, ни девушек, ни цинка. Они не видят даже хорошеньких зеленых бумажек, на которых напечатаны гевеи, вышки, голые негры, трубы, поля пшеницы. Бумажки лежат в темноте несгораемого шкафа. Люди здесь передают друг другу только цифры, звук, легчайший эфир.

У них чуткие уши: они слушают, о чем говорит земля. Стоит только вспыхнуть пожару в Трансильвании или родиться новому мексиканскому генералу, как тотчас же вздрагивают колонки цифр. На выборах в Норвегии консерваторы провалились! Найдены новые залежи серебра! Дрожат цифры. Дрожит голос: даю, даю, даю!..

Экспорт каучука из английских колоний понизился в мае с 49 800 тонн до 43 960, а Форд снова открыл свои заводы. Акции «Паданг» подымаются.

Революция в Китае спадает. Можно везти товары... По дороге — застава: господин капитан, выкладывайте-ка 800 фунтов!.. За отчетный год — 6 084 судна. «Суэц» скачет вверх: 1 264. Беру!

Нью-Йорк отмечает переизбыток сахара. 145 000 тонн лишних. Держатели сахарных акций горестно вздыхают: «Пуант-а-Питр» катится вниз — 2 685.

Изобретен новый способ воспроизведения: «неогравюра». Это, разумеется, на благо человечеству, но акции «Пюбликасион-Периодик» тем временем сжимаются — 635.

Через две недели в Южной Африке выборы. Генерал Смутс?.. Или генерал Герцог?.. Шансы равны. Акции золотых приисков «Гольдфильд» и «Бракпан», то подымаются, то опускаются. Генерал Смутс?.. Генерал Герцог?..

Но вот все забыто: и победная медь «Рио-Тинто», и сахарная болезнь, и африканские генералы; забыт даже скандал какого-то «Коломб-Ойл»: там не оказалось ни нефти, ни денег, ни людей, которых можно было бы для отвода души заарестовать. Сейчас все забыто. Сейчас под сводами одно имя: «Ситроен».

— «Ситроен» — 1 840!

— 1845! Беру!

— 1860!

Как всегда, на заводах Клиши, Левалуа и Жавель уныло визжит железная лента. Пьер Шарден, как всегда, нацепляет серьги. Стучат машинистки. Ждут в гараже взволнованные заказчики. Г. Андре Ситроен подготовляет доклад о таможенных рогатках: автомобильная промышленность задыхается!.. Пресс «типа Толедо» штампует металл и мясо. Там — вторник, будни, работа.

Здесь же рев, восторг, отчаяние, катастрофа: «Ситроен»! Покупайте «Ситроен»! Только «Ситроен»! Скорее! Вы видите — 1 965! Это неслыханно! Отыграться! Разбогатеть! Спастись! Скорее! 1 880!

В тесных телефонных будочках потные маклера выкрикивают:

— Алло! «Ситроен»: 60, 65, 70, 65, 70, 80.

Там, где окурки на прилавке и рябь книг, директор маленького банка не выпускает из руки телефонной трубки. Он молчит. Он слушает: 65, 70... Потом он вытирает лоб рукавом и визжит:

— Это наверное синдикат!.. Мишо, алло, покупайте!.. до 90...

У прилавка толпятся игроки. С женских лиц слезает пудра: жарко. Мужчины тычут окурки в чернильницы. Спеша, выписывают они заказы. Руки дрожат и скачут буквы — семь заветных букв: «Ситроен».

Молоденький клерк срывается с места: у него, видите ли, желудочные колики, но бежит он в соседнее кафе. Там он не пьет кофе. Он телефонирует своему дядюшке, отставному швейцару лицея Мишле:

— Ты можешь купить десять «Ситроенов». Это вполне верно. Я видел заказы Колло. Значит — без риска... Только скорее!..

Газетчики мчатся с серыми маркими листками. В газетах, конечно, много страниц и много новостей. В Гренобле, например, подросток зарезал старуху. Испанский король сегодня разговаривал весьма холодно с Прима-де-Ривера. Эксперты отдыхали. В Словакии судят цыган-людоедов. Но все это пролетает мимо. Настоящая жизнь начинается дальше: биржа отмечает сильный спрос на «Ситроена». В осведомленных кругах утверждают, что эта ажитация связана с намерением одного крупного американского треста сосредоточить в своих руках акции предприятия. Статья: «Американская опасность». Справка: «Дженераль Моторс» идет на Европу. Заметка: по слухам, Ситроен ведет переговоры с «Дженераль-Моторс». Телеграмма из Москвы через Ригу. На этот раз не голод и не восстания в Грузии: Ситроен организует экспедицию на Кавказ. Ситроен подготовляет соглашение с Советами. Отдел промышленности: в виду расширения экспорта, Ситроен в ближайшее время повышает производство до 1 000 машин в день. Отдел спорта: как говорят, Ситроен скоро выпустит новую модель, обладающую всеми достоинствами прежних, но еще более дешевую. Биржевой отдел: 1 960, 1 975.

Визжит лента. Грохочут прессы. На Жавель и в Левалуа...

Маклер Шелоне бежит вприпрыжку по узенькой улице Вивьен. Он ничего не видит. Он полон высокого самозабвения. У него рыжие усы и глаза

вакханки. Он сбивает с ног какую-то старушонку. Он даже не успевает промолвить: «Простите». Как птица, взлетает он на ступени храма. Он кричит. Он кричит древнее «эвое»:

— 85! Беру!..

**
*

На маленькой улице, возле самой биржи, помещается, хоть и невзрачный с виду, но вполне достойный внимания ресторан под вывеской «Золотая утка». Там завтракают почтенные биржевики. Они расхваливают паштет из фазана и «Мексикан-Игль», они закусывают «Шелль» майонезом, они вспрыскивают падение электрической группы «Поммаром» 21 года. Время от времени в ресторан, запыхавшись, вбегают маклера. Те, что завтракают, смотрят на листочки блок-нота и, не дожевав куска, бормочут: «Продолжайте, до 425»... Маклера убегают. Они и сами надеются подработать на этом «Брекпане». Настанет час, они тоже будут здесь завтракать, отдавая между двумя глотками шампанского-брут веские распоряжения: прекратите, покупайте, стоп на 70.

Швейцар, разумеется, хорошо знает всех посетителей. Он тоже не прочь поиграть. Подавая пальто г. Леблуа, он почтительно, но с пониманием дела спрашивает:

— Как вы думаете, г. Леблуа, медь еще будет расти?..

Г. Леблуа, медно-красный от индюшки и от «Поммара», бодро гогочет

— Как тесто, мой друг! Можете не сомневаться...

Швейцар знает, кто пьет просто бордо, а кто лафит 78 года, кто играет по мелочам и кто составляет крупные синдикаты. Г. Обер дает ему на чай неизменно один франк: здесь не разойдешься, но г. Обер ворочает большими делами. Это он недавно организовал понижение «Кали». Он пустил слух о том, что найдены новые залежи поташа в Персии, а также в районе Мертвого моря и спустил курс на восемь пунктов. Швейцар свято верит в мощь г. Обера, восторженно поглядывает он на маленький столик в углу. Г. Обер сосет спаржу и равнодушно смотрит вдаль. Трудно сказать, весел он или печален, на что он играет — на повышение или на понижение, чем, наконец, занята его голова: медью или углем?

За всеми столиками сейчас только и говорят, что о «Ситроене». Услышав отдышку маклера, гости марают скатерть вином темным, как бычья кровь. Вот этот продал 80 «Ситроенов» два часа тому назад. Может ли он теперь спокойно обгладывать листики артишока?.. Только г. Обер невозмутим. Ему нет дела до «Ситроена». Может быть, он занят «Салониками»?.. Кто знает! Он меланхолично сосет спаржу. Вот подходит к его столику молодой человек с книжечкой. Он что-то показывает г. Оберу. Тот, не отрываясь от еды, роняет:

— Хорошо. Продолжайте.

Швейцар, сдувая пыль с котелка, шепчет:

— Что вы думаете насчет «Ситроена», г. Обер?

Г. Обер пожимает плечами:

— Я об этом вовсе не думаю. Позовите-ка машину!..

Г. Обер садится в автомобиль. Это не «Ситроен». Нет, г. Обер достаточно заработал и на меди, и на поташе, чтобы приобрести хорошенький «Бюик». Он едет, лениво покачиваясь. Он не смотрит в окно на другие автомобили. Он не читает биржевого бюллетеня. Спокойно нажимает он кнопку. На двери медная дощечка: «Редакция «Республиканского финансиста». Г Обер молча здоровается. Редактор, заикаясь, шепчет:

— Ну, что?.. Что?..

На редакторе вязаный жилет. Его усы смешно прыгают. Он похож на наседку. Г. Обер прежде всего вынимает папиросу, постучав ею о портсигар, он закуривает, потом садится на протертый клеенчатый стул и, лениво растягивая слова, говорит:

— В порядке. Последний курс 80. А теперь садитесь-ка за работу. Лучше всего клюет на консорциум...

Вытерев старое перо о жилет, редактор выводит крупными буквами, полными роскошных завитков: «Нам сообщают о переговорах Ситроена с «Дженераль-Моторс», а также с заводами Опеля и Фиата. Под'ем ценностей, таким образом, вполне законен, и мы можем только рекомендовать нашим...»

Старое перо скрипит. Редактор громко дышит: слов нет, он взволнован.

2

Г. Обер читает Марселя Пруста. Он живет среди сиамских котов, среди ландшафтов ван-Гога и старинных глобусов, один, с франтоватым и грязным лакеем Луи. Никто не скажет, что это — квартира биржевика. Годовые отчеты, бюллетени курсов, газетные вырезки — все засыпано стихами сюрреалистов, фотографиями марсельских притонов и серебряным пеплом сигар.

Не всегда г. Обер занимался фосфатом или медью. Прежде он был писателем, даже социалистом. Он хотел итти по стопам Эмиля Золя и бороться за справедливость. Он презирал тогда роскошь и «Красную Лилию», жизненный путь г. Мильерана и шакалий рев вокруг биржи. Он был молод и непримирим. Он снимал крохотную комнатку на улице Монж и ездил во втором классе трамвая.

Шли годы. Роман Поля Обера «История подкидыша», изданный на сбережения старой тетки Поля, разошелся в четырнадцати экземплярах. Никто не написал о нем ни единой строки. Не так уж плоха была книга, но в Париже, что ни день, выходят десятки новых романов, а у критиков всего две руки и один желудок. Обер обиделся; он обиделся не только на критиков, но и на человечество.

Он писал в левой газете задорные фельетоны. Он требовал революции: только революция способна проветрить Европу!.. Но вместо революции наступали муниципальные выборы, и социалистическая партия шумно праздновала победу: в Блуа она выиграла 68 голосов. Гражданин Обер не на шутку

затосковал. Тут-то он встретился с Люсьен. Люсьен была обыкновенной голубоглазой стенографисткой. Справившись деликатно о достатке своего нового поклонника, она разок с ним пообедала в дешевом кабачке, немного покапризничала, немного повздыхала,— как-никак у нее были голубые глаза,— а потом преспокойно вышла замуж за агента страхового общества. Тогда Поль сказал своему приятелю, студенту-медику, что у него старая слепая собака и что ему необходимо раздобыть стрихнин.

Он мог бы умереть. «Золотая утка» так бы и не узнала столь солидного клиента!.. Он не умер. Может быть, в то октябрьское утро была слишком хорошая погода, и солнце переспорило всех? Может быть, наш мизантроп неожиданно испугался желудочной рези? Он бродил весь день по улицам, потом он уснул, а, проснувшись на утро, с некоторой истомой потянулся. Ничего не поделаешь — надо жить, справедливость — ерунда, никакой революции не будет, Люсьен, да и всех их легко заполучить, для этого нужны только деньги. Что ж, друг Поль, мы будем зарабатывать монету!..

В душе Обер не мог, однако, избавиться от своего пристрастия к литературе. Он стал маленьким сотрудником одной из биржевых газет, но, сочиняя прославления подозрительного банка «Хутконс и К°» или же расхваливая акции фантастической «Гватемалы», он не раз повторял любимые слова Шамфора: «В жизни человека неминуемо настанет пора, когда сердце должно или разбиться, или окаменеть». Он спрятал склянку в шкап, следовательно, он должен теперь всучать наивным провинциалам эти бумаги несуществующих приисков. Выбор сделан!

Прошло два года. Журналист Поль Обер стал г. Обером, клиентом «Золотой утки», званым гостем лучших парижских домов. Вывезли его нефтяные акции. Он сыграл на повышение и он выиграл. Его лицо, бледное и меланхоличное, превратилось в барометр, и сотни людей, что ни день, гадают: грустен или весел сегодня г. Обер?..

Как-то он встретил Люсьен. Он предложил покатать ее по Булонскому лесу. Льюсен взглянула украдкой на «Бюик» и стыдливо улыбнулась: ее муж только мечтал о маленьком «Ситроене». Обер мог ее взять. Он не взял ее. Было ли это стыдливостью, или живым еще чувством, или только ленью?.. Предупредительно помог он ей выйти из автомобиля и, заметив в голубых глазах тихое изумление, усмехнулся:

— Видите ли, Люсьен, я теперь очень занят. Я ведь больше не пишу романов; я занят весьма грубым делом: я играю на бирже. Говоря иначе, мое сердце окаменело...

Г. Обер не случайно облюбовал «Ситроена». Он все учел: оживление на автомобильном рынке, естественный рост бумаг, слухи о переговорах с Америкой, соглашение с Польшей, наконец, близость годичного собрания. Предварительная работа была уже проделана за него самим г. Ситроеном. Ему оставалось закончить дело. Акции стоят 1 560. Их легко довести до 2 200. При умелой продаже они сдадут не больше 100. Таким образом, на каждой

можно заработать 500. Для операции нужен свободный капитал. Полтора миллиона. Следовательно, мы составим маленький синдикат! г. Пулейль, г. Кресильон, редактор «Республиканского финансиста», наконец, он, Обер. 500 000 на прессу. После покупки первой партии г. Пулейль получает под акции ссуду. Довести курс до 2 000. Дальше не зарываться. На каждого участника обеспечено 600—700 тысяч чистых.

Синдикат был основан в отдельном кабинете ресторана «Норманди» и освящен вполне достойным события «Мутон-Ротшильд» 1893 г.

***

Г. Андре Ситроен как-то утром неожиданно для себя прочел во всех хорошо осведомленных газетах, что он забивает своих соперников и что будущее принадлежит ему, только ему. Он удивился, но не обиделся. Он ведь знает, что такое шутка и что такое обыкновенный биржевой синдикат. В общем, он ничего не имеет против повышения курса. Только б эти неведомые благожелатели сумели остановиться!.. Если они разойдутся — может последовать резкое падение, и кредиту г. Ситроена будет нанесен чувствительный удар. Самое важное — уметь во-время расстаться с зеленым сукном! Г. Ситроен вздыхает. Он хорошо понимает, что уйти невозможно. «Прикупаю!» Г. Ситроен берет трубку телефона:

— Сколько?..

Он увлечен чужим азартом. Он сейчас не председатель административного совета, нет, он только игрок. Сердце стучит. Из трубки идет непонятный шум, как из раковины: это шумит время. Наконец: 75! Г. Ситроен усмехается: везет людям!.. Снова девятка..

***

В Париже около трех тысяч газет и журналов, посвященных бирже: «Экономическое обозрение», «За и против», «Маленький финансист», «Деньги», «Биржевой вестник», «Французский банк», «Маленькая котировка», «Тенденция», «Ведомости ценностей», «Портфель француза», «Финансовый голос», «Капитал», «Биржа и республика», «Аргус», «Кстати», «Вверх и вниз»...

У синдиката, образованного г. Обером, на прессу ассигновано всего 500 000. Что же, придется ограничиться немногими избранными. Кампанию начинает пайщик синдиката «Республиканский финансист». Его тотчас же поддерживают 36 газет. Остальные молчат. Они молчат потому, что все люди оптимисты, тем паче редакторы биржевых листков. Они надеются заработать своим вежливым молчанием.

Алло! Алло! В Париж приехал мистер Слоан, председатель «Дженераль-Моторса». Поездка мистера Слоана тесно связана с будущим заводом Ситроена.

Кстати, «Дженераль-Моторс» куда сильнее и проворней «Форда». «Дженераль-Моторс» продал в течение 1928 г. 1 842 443 машины, что составляет 42 процента всей американской продукции.

Заводы Ситроена снова подверглись коренному переустройству. Они готовы для усиленной продукции. Предстоящий сезон обещает быть особенно блистательным. С января кривая заказов резко подымается ввысь. 52 процента всех парижских автомобилей — это «Ситроен». В Мадриде таксометры — «Ситроены». В Японии открыто первое отделение...

Финансовая сторона предприятия «Андре Ситроен» заслуживает всемерного доверия. За спиной Ситроена стоит, как известно, могущественнейший банк «Братья Лазар».

Последний год дал 24.85 дивиденда. В этом году ожидается повышение как оборота, так и дивидендов.

Газеты пишут многозначительно и поэтично. Они ссылаются на национальные интересы и на торжество организации.

Дядя пронырливого клерка, отставной швейцар, не выдержал. Он получает крохотную пенсию. Денег нехватает ни на рюмочку рома, ни на понюшку табака с мятой. Он решил немного подработать: все наживаются на этих бумагах, чем он хуже других? Он купил десять «Ситроенов». Он перестал теперь спать. По ночам, стоя возле лампы, в сотый раз перечитывает он биржевой бюллетень. «Ситроен» растет, но старика смущают непонятные слова: «Общая тенденция скорее выжидательная вследствие отсрочки решения экспертов, а также предстоящих выборов в Англии». Старик громко и печально вздыхает: «Господи, при чем же тут Англия?.. Ведь заводы Ситроена не в Лондоне, а здесь, под боком, на набережной Жавель... Что-то будет завтра с этими экспертами? Хоть бы натянуть еще по сотне на акцию, а тогда можно продать их, все-таки без акций как-то спокойней на душе!..»

***

Г. Обер попрежнему невозмутим. Он читает на сон Поля Валери. Потом он выпивает стакан «виши», заводит часы и погружается в сон плотный и горячий. Ему снятся маклера, пресс-папье, платье Люсьен с глубоким вырезом и яркие крикливые попугаи. Все эти видения юрки и бессвязны. Надвигается ночь. Он больше ничего не видит. Но тогда неожиданно восходит огромное оскорбительное солнце. Оно из меди. Оно блестит, как кухонный таз. Оно заставляет г. Обера раскрыть глаза. Ну, да, все это очень просто: он забыл погасить лампу!.. Теперь он может спокойно спать. Но последний сон заставляет его поморщиться: солнце было из меди.. Сегодня на бирже никто не хотел слышать о «Ситроене». Все помешались на «Анаконде» или на «Фильс-Додж». Чорт бы побрал это медное солнце! Оно не во-время взошло...

В Нью-Йорке цены на медь резко поднялись. Вчера — 18 центов!.. Медные акции растут. По проводам, среди буколических ласточек, среди непо-

воротливых, сонных рыбищ, в небе, под водой несутся горячечные цифры: «Невада» — 46, и тотчас же парижские маклера начинают истошно вопить!

— «Рио-Тинто» — 6 700! Беру!

— 6 800!..

Г. Обер никак не может уснуть. Он слышит гудение проводов и скрип мелка. Это медь. Она громко растет. «Ситроен» затерт. «Ситроен» в стороне. Это не вина Обера. Он сделал все. Он не мог предвидеть медного солнца. Что если все дело сорвется?.. Г. Обер пьет «виши» и неуклюже ворочается.

Можно, конечно, завтра начать продавать. Акции слетят до 720—780. В итоге останется маленький выигрыш. Но нет, это невозможно!.. Лучше уж продуться до тла!

Много времени прошло с того дня, когда разочарованный Обер решил променять славу Эмиля Золя на текущий счет в одном из кулисных банков. Он заработал миллионы и он спустил их. Он убедился в том, что с деньгами можно получить все: Люсьен, автомобиль «Бюик», стихи сюрреалистов, почтительные поклоны, дружеские об'ятия, все, кроме разве счастья. Это — просто, как в старой мелодраме. Счастья вообще нет. Остается одно — игра, только она еще способна заставить это окаменевшее сердце усиленно биться. Г. Обер поставил на «Ситроена». Он должен выиграть. Медь — удар, но не смерть. Синдикат легко может переждать несколько дней. Лихорадка спадет. Г. Обер добьется своего. Обязательно добьется. Обязательно...

Г. Обер засыпает.

Утром Луи, почтительно и нагло улыбаясь, надушенный, с черными ногтями, приносит несколько писем и газет. Г. Обер прежде всего развертывает газету: здесь самое важное: медь. Гм!.. В Лондоне тонна — 76 фунтов. Отвратительно!.. Дождь, плохая погода... Рассеянно просматривает он газету. Что с этими экспертами?.. Вдруг он приподымается. Обычное спокойствие исчезло. Пальцы г. Обера злобно рвут мягкую бумагу. Он читает: «Рост акций «Ситроена» носит явно спекулятивный характер, и мы считаем себя обязанными предостеречь...» Луи стоит с купальным халатом наготове. Г. Обер кричит:

— Костюм! И живее!..

Он полон отчаяния, ярости, силы. Перед ним неведомый враг. Это почище меди!.. Дело ясное: кто-то играет на понижение. Здесь все может кончиться обыкновенной катастрофой.

Кофе? К чорту! Машину! Скорее!.. Остается одно: раздавить того или самому сдохнуть.

Стихи Поля Валери летят на пол.

3

Велика и прекрасна парижская биржа! Без нее не дымили бы паровозы среди аргентинских прерий, не горел бы газ в кухоньке рабочего, не сверкали бы бриллианты на мясах ростовщиц, не было бы без нее ни румынских

либералов, ни трамвая в Лиссабоне, ни автомобилей, ни прогресса, ни культуры.

Конторщик Жан Рене, впрочем, не думает о величии окружающего его мира. Послушно заносит он в огромные книги названия бумаг, имена клиентов и цифры. Одни из этих имен богатеют, другие разоряются. У них автомобили, дети, револьверы, слуги, слезы. Для Жана Рене это только имена. Он думает о том, что жена его больна плевритом, и что доктор прописал ей усиленное питание. Доктор просто выговорил эти два слова, как будто Жан Рене не скромный конторщик банка «Раймонд Барре и К°», а одно из великих имен, как будто он — г. Кресильон, против имени которого стоит: «3 000 «Ситроен» по курсу дня». Откуда Рене возьмет это «усиленное питание»?.. Рука конторщика дрожит. Он чуть было не поставил кляксы на восьмой заказ г. Матье: 425 — «Рио-Тинто».

Вчера на парижской бирже были перепроданы 2 980 008 ценных бумаг на сумму 1 621 864 425 франков. Миллиард шестьсот миллионов. Жан Рене получает в месяц 750 франков — 25 франков в день. Владельцы банка «Раймонд Барре и К°» заработали в течение последнего года свыше четырех миллионов. Банк участвовал во многих синдикатах: он вызвал понижение норвежского азота и на этом выиграл в две недели миллион. Г. Раймонд Барре купил виллу в окрестностях Ниццы: у него ревматизм, и он любит тепло. Жалованья конторщикам г. Барре не повысил. Кто может сказать, что готовит ему завтрашний день?.. Вдруг он сорвется на какой-нибудь операции? Надо быть бережливым! Вилла в Ницце — это капитал, а жалованье служащим — это только потерянные деньги. Притом некоторые банки платят конторщикам даже 600 в месяц. Зачем же ему заниматься благотворительностью?..

Иные из сотоварищей Рене живут припеваючи: они ездят в автомобилях, ходят в «Мулен-Руж» и покупают дорогие галстухи. Они получают те же 750 франков. Но они не выписывают тупо имена и цифры, как Рене, нет, они соображают, почему это г. Барре продает «Норвежский азот», почему теперь г. Кресильон отдал распоряжение купить ему столько-то «Ситроенов». Они знают вес и значение каждого клиента. Незаметно скрипя ржавыми перьями, они входят в святилище. Они начинают играть. Они то заключают сделки с мелкими игроками, то за несколько сотен франков продают «секрет». Небрежно засовывают они месячное жалованье в жилетный карман — это на папиросы! Но Рене честен и глуп. Он знает только свое дело: обтереть перо тряпочкой, наклонить вбок голову и тщательно выписать: имя человека, потом имя бумаги, потом цифру, все это красивым точеным почерком, без помарок. Когда ему говорят о «секрете», он недоуменно пожимает плечами: он ведь не игрок, он обыкновенный конторщик.

* * *

Это произошло так: сначала доктор сказал об усиленном питании, потом Луиза перестала есть, она даже отказалась от куриного бульона. У нее

сделался сильный жар. Доктор пришел и флегматично помахал трубочкой. Он прописал лекарство. Жар спал, и Луиза пошла на работу: она шила шляпы в мастерской на улице Пепиньер. Но она продолжала кашлять и все жаловалась, что у нее нет больше сил. Под вечер ее знобило. Рене послал ее снова к доктору. Луиза пришла домой с длинным рецептом и с заплаканными глазами. Доктор сказал, что у нее туберкулез и что ей необходимо поехать на юг, в санаторию.

Тогда Жан Рене шепнул одному из мелких клиентов:

— Я знаю верное дело. «Лиссабон» должен подняться. Купите акции и дайте мне четверть выигрыша. Я этим никогда не занимаюсь, но у меня заболела жена...

Рене плохо разбирался в биржевых комбинациях, хоть он и прослужил в банке «Раймонда Барре и К°» одиннадцать лет. Он дал клиенту опрометчивый совет. Правда, г. Коледо сдал большой заказ на «Лиссабон» и, слов нет, г. Коледо веский клиент. Но Рене не понял хитрой игры: г. Коледо состоял в синдикате, игравшем на понижение «Лиссабона», закупка была произведена для отвода глаз. Через несколько дней «Лиссабон» начал стремительно падать. Клиент скандалил. Он стучал набалдашником по стеклянному прилавку. Он кричал Рене: «Вы старый шулер!» Г. Барре отозвал Рене в сторону:

— Вы вредите репутации нашего банка. Если это повторится, я буду поставлен в необходимость вас тотчас же отослать.

Прошло еще несколько недель. Пришла очередь льда и подушек с кислородом. Луиза умерла рано утром. Она лежала, раскрыв рот, как рыба. Она задохлась. У нее не было воздуха. Воздух был где-то далеко, может быть, в Ницце...

Тогда-то и произошло в почтенном банке «Раймонд Барре и К°» неслыханное происшествие, о котором долго говорили все клерки квартала: Жан Рене, как всегда, сидел, склонив голову на бок, и писал. Но перед его глазами был раскрытый рот Луизы. Он спутал все: г. Кресильон отдал приказ о покупке «Ситроена». Рене занес его в графу «продать». Хуже того, он засунул в карман вместе с носовым платком приказ г. Кресильона. Он помешал г. Кресильону купить 3 200 акций. Он, может быть, задержал на день рост бумаг. Сам того не зная, он вдруг вмешался в жизнь святилища.

Г. Кресильон кричал:

— Этот конторщик подкуплен!.. Он наверное получил несколько билетов... Я никогда не думал, г. Барре, что в вашем банке могут находиться шпионы различных синдикатов!.. Я потерял 11 000. Хорошо еще, что я вовремя заметил...

Г. Кресильон рассказал г. Оберу о приключившейся неприятности. Но г. Обер даже не улыбнулся.

— В чем дело, г. Обер? Чем вы так озабочены?.. Я думаю, что медная горячка не сегодня-завтра спадет. А этот конторщик!.. Ха-ха!.. Как вам нравится вся эта история?...

— Я не люблю биржевых анекдотов. Что касается меди, то вы, конечно, правы. Но предвидятся некоторые осложнения: посмотрите-ка, что здесь написано... Это — или Фошар или банк «Делонне»...

Они беседуют в «Золотой утке». Г. Обер теперь перестал скрываться, он даже посоветовал швейцару играть на «Ситроена». Он подкрепляет дело своим авторитетом.

Подходит маклер. Г. Обер просматривает цифры. Вытирая губы, он говорит лакею:

— Хоть у вас и утка на вывеске, вы не умеете приготовлять руанской утки. Заберите прочь это!..

Потом спокойно говорит он г. Кресильону:

— Кампания начата. «Ситроен» сдал 60...

В это время за похоронной подводой покорно шагает Жан Рене. Он не плачет. Только время от времени он уныло сморкается. На гробу — маленький венок из бисера. Дома осталась двуспальная кровать. Вот и все. Из банка «Раймонд Барре и К°» Рене, разумеется, выгнали. Луиза умерла. Сейчас он вернется домой один. Даже без гроба. Что же дальше?.. В голове Рене мысли путаются, как нечесанные волосы. Это не жизнь, а колтун. Может быть, покориться?.. Церковь... Исповедь... Небо... Встреча с Луизой... Или записаться в коммунистическую партию, чтобы кричать на улице голосом горьким и сиплым: «Враги, враги, враги!»? Или, наконец, достать револьвер и забраться ночью в квартиру г. Кресильона? Там акции, бриллианты, деньги.. Потом — только есть и спать. Много спать, чтобы ничего не помнить. Чтобы не помнить о Луизе. Совсем забыть... Совсем...

Сторож, лениво зевая, открывает кладбищенские ворота.

— Направо, налево, и снова налево. 16 аллея...

Рене сморкается. Он ведь хоронит жену. Впрочем, это никого не интересует. Он даже не конторщик. Он теперь вне биржи и вне жизни. Лучше всего — умереть. На 16 аллее еще много свободного места.

4

Г. Обер не сразу узнал, кто же его враги. Правда, «Банк Делонне» был замешан в деле, но образовал синдикат г. Санду, хотя все и говорили, что г. Санду даже в Париже нет — недели две тому назад он уехал на отдых в Биариц. Г. Санду работал тайно. Он проводил свои дни у телефона. Он выложил на прессу больше, чем г. Обер, и вежливо молчавшие газеты теперь заговорили.

«Финансовое руководство общества «А. Ситроен» не заслуживает доверия. Всем памятны недавние затруднения г. Ситроена. Опасно вкладывать капиталы в дело, подверженное столь частым индивидуальным капризам.

Специалисты утверждают, что в отношении прочности автомобили Ситроен оставляют многого желать, в то время как маленькие машины Рено и Пежо выдерживают самые трудные испытания.

В связи с оживлением на бирже вокруг бумаг «Ситроен» мы можем напомнить нашим читателям о скандальной хронике довильского казино. Парижский заводчик, а именно г. А... С..., проиграл там в течение одной ночи двенадцать миллионов.

По слухам, Форд заключил соглашение с заводами Пежо.

Нам сообщают, что Форд начал постройку во Франции своего завода. Он предполагает снизить стоимость автомобилей, повысив в то же время заработную плату. Это, несомненно, чрезвычайно интересный опыт.

Перед французской автомобильной промышленностью стоит грозный вопрос о насыщенности рынка и о перепроизводстве. Затруднения, испытываемые одним из наиболее крупных парижских заводов, показывают нам, что кризис близок».

Г. Санду просматривал газеты небрежно и равнодушно. Он хорошо знал, сколько кому уплачено и кто о чем будет писать. Сам он не верил ни в Форда, ни в кризис. Игру он начал, заручившись хорошими картами. Главный козырь — это болезнь г. Фио. У г. Фио рак печени. Консилиум профессоров определил, что он протянет неделю-две. Кроме рака печени, у г. Фио 90 000 акций «Ситроена» и сын оболтус, который ждет — не дождется смерти своего родителя, чтобы вложить все наследство в конский завод. Он ничего не смыслит в бумагах и признает только одно: скачки. После смерти г. Фио его сын тотчас же распорядится продать все биржевые бумаги. В первую очередь он продаст «Ситроен», чтобы покрыть наследственные пошлины. Все это доподлинно известно г. Санду. Он не читает Поля Валери и не думает об афоризмах Шамфора. Он занят только своим делом. У него повсюду помощники. Скоро на биржу будут выкинуты 90 000 акций. Надо все подготовить: пресса, небольшие колебания, продажа мелких партий... Тогда акции г. Фио нанесут последний удар.

Кампания была начата удачно. Курс стал снижаться. Г. Обер дал газетам 200 000 дополнительно. Но г. Санду располагал куда бо́льшим капиталом. Удобный момент для повышения был упущен благодаря злосчастной меди. «Ситроен» то падал на 20, то 10 отыгрывал, но вместо резкого повышения г. Обер видел только мелкие скачки вверх и вниз. Г. Санду совместно с «Банком Делонне» выкинул еще несколько тысяч бумаг. «Ситроен» понизился на 80. Г. Кресильон начал роптать: в общем, это Обер вовлек его в невыгодную сделку! Он мог бы дать суточные деньги в Америку на хорошие проценты!.. Это куда вернее, да и прибыльней...

Редактор «Демократической биржи» неожиданно потребовал от г. Обера неслыханную сумму: 50 000. А не получив этих денег, он переметнулся и начал писать о «спекулятивной игре».

Г. Обер попытался достать ссуду под акции в одном из крупных банков, но банк отказал. И здесь сказалась всесущность г. Санду.

Капитал синдиката иссяк. Покупки прекратились. Акции стали таять, как сахар в горячем чае. Попрежнему визжала лента. Попрежнему толпились возле ворот нетерпеливые заказчики. Попрежнему задорно свистели новенькие автомобили. Г. Андре Ситроен обдумывал, как бы завоевать ему

восточные рынки. Ни один из его заводов не сгорел. Но г. Обер перестал читать Марселя Пруста. Он даже перестал завтракать в «Золотой утке»: у него пропал аппетит, и его мучили жестокие мигрени. Он все еще старался, встречая людей, улыбаться, но, глядя на его измученное, злое лицо, маклера говорили:

— Вы видали Обера?... Можете спокойно играть на понижение...

Отставной швейцар, пережив одну ночь, полную кошмаров, когда он уже видел себя возле кафе с шапкой: «Подайте старому человеку на хлеб», продал свои десять акций. Он потерял 1 360 франков. Что делать! Можно не нюхать табак и пить ром только по воскресеньям!..

Вдруг биржа дрогнула: с экспертами приключилось что-то неладное. Они не сговорились. Они и не могут сговориться.. Предстоит длительный кризис. В Нью-Йорке паника. Паника и в Париже. Все выкидывают на рынок десятки тысяч бумаг. Деньги! Только деньги! Вокруг храма стоит горестный рев:

— Даю! Даю! Даю!..

«Ситроен», ослабленный кампанией г. Санду, сдал. Перед глазами г. Обера мелькают цифры. Но он не может считать. Он больше ни о чем не думает. Он наверно зря возомнил себя опытным финансистом. Он всего-на-всего неудачливый литератор с посредственной фантазией и со слабыми нервами.

**
*

Под вечер г. Обер позвал Луи:

— Вы можете сегодня пойти в кино или в театр. Вы мне больше не нужны.

Луи почтительно поблагодарил г. Обера. В кухне он, впрочем, язвительно усмехнулся: плохи наши дела!.. Продулся на бирже и никого видеть не может... Продулся потому, что олух. Будь у Луи деньги, он тотчас же заработал бы миллионы. Надо не стихи читать, а шевелить мозгами!..

Луи пошел не в кино и не в театр, но в дансинг. Там весь вечер танцовал он с двумя белошвейками, которые восторженно прижимались к его манишке. Одна даже сказала:

— Вы пахнете, наверное, самыми модными духами...

Луи снисходительно улыбнулся:

— Особая смесь по заказу. Это гораздо моднее, чем, например, Герлен...

Луи мог бы поехать с одной из них, с веселой и миловидной брюнеткой в номера. Но для этого нужны были деньги: двадцать франков — бутылка шипучего, чтобы девушка не ломалась, тридцать — комната, автомобиль, чаевые,— словом, меньше, чем на сто не управишься. Луи про себя выругал г. Обера: вот таким болванам везет! Что для него сто франков?.. А Луи должен себе отказывать в самом необходимом. У него всего два галстуха и оба в полоску, а теперь носят в крапинку... Когда же он, наконец-то, разбогатеет?..

Несмотря на свои успехи, Луи вернулся домой мрачный. Сняв туфли, он прошел тихонько в столовую, чтобы взять из буфета бутылку портвейна. Он заглянул в щелку: работает ли г. Обер? То, что он увидел, его прежде всего озадачило: г. Обер лежал на ковре возле письменного стола. Неужто так надрызгался?..

Луи осторожно вошел в кабинет и с подобострастием начал допрашивать г. Обера:

— Может быть, вы позволите раздеть вас?.. Не угодно ли вам стаканчик «виши»?..

Г. Обер не отвечал. Продолжая все также униженно улыбаться, Луи оглядел комнату: где же бутылки?.. Он увидел на столе маленькую склянку и начатое письмо. Луи всегда грешил любопытством. Скосив глаза, он начал читать: «В смерти моей прошу никого не винить. То, что останется после ликвидации обязательств, жертвую на госпиталь для кошек. К сведению г. комиссара полиции могу добавить, что Шамфор не предвидел третьего исхода: сердце может сначала окаменеть, а потом все-таки разбиться».

Луи не стал раздумывать над значением последних слов. Он прежде всего побежал к себе и надел туфли: оставаться разутым казалось ему подозрительным: хотя записка и с подписью, мало ли что придумывают эти ищейки?.. Потом он вернулся в кабинет. Он посмотрел на г. Обера с интересом и в то же время с презрением: губы слюнявые!.. Он не мог отказать себе в маленьком удовольствии: носком ботинка небрежно толкнул он голову г. Обера. Он с завистью поглядел на галстух в крапинку: пропадет! Да и все пропадет!.. Кошкам!.. Ну, и подлец!.. Вздохнув, он побежал в ближайший участок.

5

«Эксперты вчера возобновили свою работу. Наконец-то компромисс найден. Само собой разумеется, что биржа отметила это счастливое событие резким повышением всех ценностей»...

Г. Обер так и не дожил до победы: у него нехватило ни денег, ни нервов. Г. Кресильон оказался куда счастливее: он сможет с лихвой покрыть все вложенные суммы. Акции «Ситроена» поднялись на 120. И г. Кресильон улыбается, кушая форель в «Золотой утке»: помирились-то, ха-ха!.. Но г. Санду не до смеха. Последние события его выкурили из мнимого Биарица, как зверя из берлоги. Все здесь против него: общая тенденция биржи, пресса, напечатавшая очередные сообщения г. Ситроена, наконец, сама природа: у г. Фио вместо рака оказалась невинная опухоль. Врачи, видите ли, ошиблись! Убийцы! Г. Фио поправляется, через месяц-другой он сможет вернуться к работе.

«Ситроен» бодр. «Ситроен» продолжает прерванное на время вознесение. Ведь заводы г. Ситроена не сгорели, заказы не уменьшились. Пьер

Шарден, как всегда, нацепляет серьги, а «Братья Лазарь все также всесильны и непоколебимы. Что им дешевые остроты редактора «Демократической биржи»? У редактора только ржавое перышко и четверо ребят, а у «Братьев Лазар» — капитал.

Г. Санду проиграл партию. Он продал 120 000 акций по самой низкой цене. Теперь ему нужно сдавать бумаги. Он должен платить по высокому курсу. Журналисты сожрали его личный капитал. У г. Санду нет денег для расплаты.

Дома ждет его жена. На ней вечернее платье. Она прекрасна и молода. Правда, эта молодость стоит не мало. Зато все знакомые г. Санду с завистью повторяют: «Поглядите-ка на г-жу Санду, вот вам, не стареет!..» Г-жа Санду оживленно смеется: сегодня премьера русского балета. Там будет весь свет. У них ложа. Все увидят, какое на ней чудесное платье. Она спрашивает г. Санду:

— Ты не устал ли, мой дружок?..

До сих пор кокетничает она со своим супругом, хоть вот уж четырнадцать лет, как они живут вместе. Г. Санду ничего не отвечает. Тогда она смотрит на него, и сразу с ее лица слезает улыбка.

— Что случилось?.. На бирже?..

Г. Санду молчит. Молча проходит он в кабинет и закрывает за собой дверь на ключ. Г-жа Санду стоит у двери и просит:

— Скажи же, что случилось?.. Пьер, дорогой, открой дверь! Открой на одну минуту! Я сейчас же уйду! Я так волнуюсь!..

Но г. Санду молчит. Она прилипла ухом к щели. Она слушает. Вот ей показалось, что он раскрывает шкап. Она падает на колени:

— Пьер, умоляю!..

С ее лица теперь сошли все кремы, пудры, белила, румяна. Сейчас никто не скажет, что г-жа Санду молода. Время взяло свое: ей, как-никак, 43 года. Она плачет. Она кричит. Вот он встал... Господи, что же он делает?..

Пожилая, уродливая женщина, в бальном платье, с припудренными, слишком белыми руками, с лицом, перекошенным и грязным от черных слез, как собака, визжит у широкой двери барского кабинета.

* * *

— «Ситроен» — 1 960. Беру. Беру!

Кричат маклера, скрипит мелок, скрипят в конторах перья клерков. Люди продолжают разоряться и богатеть. Те, что выбыли из игры, уж давно забыты. Здесь ведь нет людей: здесь только имена и цифры; имена высокие и нежные всех 3 000 бумаг: «Роял-Детч», «Рио-Тинто», «Малакка» — нефть, медь, каучук; имена и цифры; цифры роятся, кружатся, жужжат, как саранча. Цифры здесь всё решают.

Париж.
Февраль—июнь 1929 г.

Профессор

Як. Рыкачев

У профессора сложные и тонкие отношения с современностью.

Вплоть до Февральской революции профессор, разделявший в основном (деталям в области политики профессор не придавал значения) программу кадетской партии, был твердо убежден, что кадеты — самые левые политики в стране, а все прочие, мнящие себя левее кадетов,— смутьяны и анархисты. На исходе первой революционной весны, когда розовый исторический горизонт стал постепенно окрашиваться в кроваво-красный цвет и на нем проступили грозные очертания Октября, профессор стал уважать также эсеров и меньшевиков, о которых ему теперь твердо было известно, что и они стоят за парламентаризм и за всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное право.

Надо сказать прямо: профессор плохо разбирался в политике, хотя и не отдавал себе в том отчета. Если в области точных наук — профессор был физиком — он считал абсолютно необходимой величайшую осторожность в выводах и сам ввел в науку несколько весьма тонких методов исследования, доставивших ему европейскую известность, то в политике он вполне удовлетворялся тем, что именовал «здравым смыслом». Этот «здравый смысл», не отягченный никакими сомнениями, профессор благополучно пронес через все двенадцать революционных лет, и он поныне служит ему и компасом, указующим направление, и факелом, освещающим путь.

Парламентаризм! Профессор никогда не подозревал, что это есть преходящая форма государственного управления, исторически сложившаяся и отвечающая известному соотношению социальных сил. Парламентаризм представлялся ему некой вневременной социально-метафизической категорией, от века данной человечеству, как конечный идеал исторического его развития. Только парламент и ответственное перед ним министерство,— полагал профессор,— как идеальная форма народного самоуправления, в полной мере обеспечивают интересы всех слоев (не к л а с с о в — это понятие было чуждо профессору) населения. Для профессора это был закон, столь же незыблемый, как, скажем, второй закон термодинамики. Более того, если еще можно было с некоторым основанием предположить, что законы термодинамики, под влиянием каких-либо новых идей или открытий, могли быть поколеблены

в сознании профессора, то его взгляд на идеальное устройство человеческого общества — ни в каком случае, ибо социально-политические теории профессора обитали в том углу его сознания, который никогда не проветривался. Положение осложнялось еще тем, что он немного гордился постоянством своих политических убеждений, а гордость, как известно, подобно ее собратьям, зависти и гневу,— дурной советчик.

Вообще говоря, большого значения этому углу своего сознания профессор не придавал, но не считал его и лишним: ему казалось, что наличие у него, крупного ученого-физика, политических взглядов придает цельность и полноту его духовной личности. Иной раз, в дружеской беседе, он даже готов был допустить, что вся его ученая деятельность, в конечном счете, есть не что иное, как непрерывное общественное служение. Но это только так — общая предпосылка, абстрактная идея, которая отнюдь не давала психологической окраски трудам и дням профессора. На самом деле, действительную цель своей научной работы профессор полагал только в ней самой и в глубине души считал неискренними тех своих коллег, которые думали иначе. Если позволено будет привести сравнение из области техники, то можно сказать, что «социальная» энергия профессора питалась «штыбом», отбросом того высокосортного угля, который питал его «научную» энергию.

Профессор презирал царское правительство, считал его глупым и бездарным и даже находился, некоторым образом, в открытой к нему оппозиции. Эта оппозиция, весьма трудно поддающаяся реальному учету, но все же ощутимая, была причиной того, что профессор, имевший касательство к некоторым правительственным учреждениям и «ученым советам», так и не продвинулся в действительные статские и застрял на самом пороге этого высокого звания. Одно из самых ярких проявлений оппозиционного умонастроения профессора приходится на 1906 год, когда он, с университетской кафедры, во время лекции, узнав о прибытии в университет наряда полиции, сказал свой знаменитый каламбур о различии между «физическими методами исследования» и «физическими методами воздействия». Все это в высокой степени питало гордость профессора и позволило ему на другой день после революции считать, что в этом великом событии и его «меду капля есть».

Профессору, конечно, было известно, что девять десятых русского народа — рабочие и крестьяне — живут в великой нужде и угнетении. Профессор от природы был наделен острым чувством социальной справедливости. Не было случая, чтобы он не вложил посильной лепты в протянутую к нему руку нищего. Но — надо сознаться — бедственная жизнь всего остального народа, который не протягивал к профессору своей живой, из костей и мяса руки, не смотрел на него жалким, искательным взглядом — не побуждала профессора ни к каким конкретным действиям и почти не тревожила его воображения. Здесь его совершенно оставляла присущая ему способность к абстракции, хотя для живого постижения бедствий полуторастомиллионного народа и требовалась весьма скромная доля ее. Но на то у профессора имелась своя особая причина: он раз навсегда решил, что если у него, сытого

и обеспеченного человека, и имеется какой-либо «долг» перед народом, то этот «долг» вполне компенсируется тем, что он, профессор, придерживается самых радикальных взглядов в стране.

Понятие «родина» было для профессора понятием абсолютным, ибо локализировалось в том же непроветриваемом углу его сознания. Войну с Германией профессор принял сначала с горечью и внутренним протестом — он войну считал варварством, но уже через несколько дней после открытия военных действий, под влиянием патриотических идей из непроветриваемого угла сознания, он резко изменил свое к ней отношение. Он согласился — на время, правда, пока не минет угроза, нависшая над родиной, — протянуть руку помощи презираемому им царскому правительству, и стал деятельным членом нескольких высоко-авторитетных комиссий, ведавших орудийным снабжением армии. Легко поддавшись общей атмосфере, царившей в его среде, профессор быстро прошел школу ненависти к Германии — как к некоторому комплексу — и не видел ничего чудовищного, скорее, даже известную глубину мысли в метафизическом отождествлении Канта и Круппа. Профессор превратился в патриота-ригориста. Он вскоре позабыл об условном характере примирения своего с правительством. Он был захвачен массовым психозом бездумно и безраздельно. Он не замечал — или не хотел замечать — что, наравне со всеми своими коллегами, ввязался в сумасшедшую игру, в которой царскому правительству принадлежала ведущая роль. Да, профессор стал ригористом. Ему нипочем были «горы трупов и реки крови». Ему и в голову не приходило, перед лицом такого страшного мирового бедствия, грянувшего, словно гром с ясного неба мирного европейского п а р л а м е н т с к о г о жития, проветрить социально-политический угол своего сознания. Ведь он относился к своим общественным устремлениям, как к низшей функции своего психического организма. Со спокойствием маньяка, глубоко уверенного в правоте своего безумного дела, смотрел он, как миллионы человеческих жизней и колоссальные материальные ценности стремительно летели в бешено распылавшийся костер мировой войны. Ему не было дела до того, что умирали и несли материальные жертвы, главным образом, те, кому неинтересно было защищать родину, ибо, защищая ее, они только уже завязывали узел нищеты и бесправия на своем собственном горле. Профессор не допускал даже мысли,— он не любил, как сказано, в области политики вдаваться в детали,— что «простой народ» идет на войну, на смерть из-под палки. Для этого он слишком уважал народ. Он был убежден, что народом также руководят патриотические чувства и любил говаривать о «высоком духе», одушевляющем русскую армию. Этот храбрый и самоотверженный народ — размышлял профессор — заслуживает лучшей участи и лучшего правительства. Но надо ждать, надо запастись терпением. Перефразируя известную столыпинскую фразу, профессор сформулировал: сначала победа, затем реформы.

Но история решила иначе. Народ захотел «реформ», не дожидаясь победы. Грянула Февральская революция. Профессор не растерялся. Для того, чтобы ориентироваться в новой обстановке, ему вовсе не надо было про-

ветривать социально-политический угол своего сознания. А это главное. Профессор встретил революцию, как встречают гостя, который приехал ранее назначенного ему срока. Еще не все готово для встречи, гость несколько стеснит хозяев — но в конце концов все образуется, ибо гость этот хозяину приятен.

По правде сказать, профессор несколько удивился — хотя и не подал виду — не только несвоевременному приходу революции, но и тому образу, в каком она явилась. В сущности, он всегда был уверен, что «сильнее кошки зверя нет», что опрокинуть силой царское самодержавие невозможно, да, строго говоря, и не к чему. Профессор принципиально был против всяких «насилий и безобразий». В этом отношении он всегда порицал беспорядки пятого года. Именно беспорядки: профессор считал, что подлинное народное движение было тогда дискредитировано уголовными и анархическими элементами, и отказывался квалифицировать события пятого года, как революцию. Профессор был убежден, что достаточно лишь постоянно давить на царское правительство, выказывать ему свое недовольство, свою готовность вступить с ним в борьбу (никогда не переходя последней грани),— чтобы оно уже само пошло на уступки, дало народу конституцию и все сопряженные с нею блага. Вот этот самый момент, когда царское правительство дрогнет и вынуждено будет пойти на уступки, профессор мысленно и называл революцией. А на деле оказалось, что даже не тот полуметафизический народ, который жил лишь в непроветриваемом углу профессорского сознания, а самые обыкновенные петербургские рабочие и солдаты взяли да и скинули царя силой.

Никаких выводов из своего удивления профессор не сделал, тем более, что Февральская революция оказалась хотя и не такой, какую ждал профессор, но все же в высшей степени приличной и благонравной.

Революция сыграла для профессора роль землетрясения, в результате которого житель долины, проснувшись на утро, видит себя на вершине горы. Уже в первые дни революции профессор явно ощутил смещение социальных пластов: он сам и его коллеги и вообще все культурные люди, обладавшие, по мнению профессора, «здравым смыслом и политической честностью», выдвигались на передний план общественной и государственной жизни. Профессор, разумеется, ни малейшего понятия не имел о сложном классовом переплете Февральской революции. Он просто считал, что революция «сделана» для того, чтобы отстранить от власти людей бесчестных, бездарных и некультурных и поставить на их место людей честных, даровитых и культурных. Его социально-политические взгляды приобретали ныне реальный, действенный смысл. Теперь, наконец, великий русский народ получит такое правительство, какого заслуживает. Он получит парламент и ответственное министерство. Он будет наслаждаться благами истинной свободы и просвещения. Профессор был счастлив. Он почти без горечи вспоминал теперь о житейских невзгодах, которые ему пришлось претерпеть при отошедшем режиме из-за слабости своей к политике. Что делать, без жертв ничего не делается на этой земле!

И профессор принял власть, врученную ему революцией, как справедливое воздаяние за принесенные им народу жертвы.

Не следует понимать буквально: принял власть. Профессор не являлся непосредственным носителем власти. Для этого у него не было ни охоты, ни способностей. Пользуясь современной терминологией, следовало бы сказать: на другой день после революции профессор осознал свою принадлежность к правящему классу. Но это будет не совсем точно. Понятие класса было профессору чуждо. Не различал он теперь более и слоев. Он знал лишь «великий русский народ, охваченный единым порывом к свободе и братству». Понятие «свобода» профессор расшифровывал легко, в соответствии со своими политическими убеждениями, слово же «братство» казалось ему хотя и несколько туманным, но все же приятным и даже трогательным. Так вот: профессор ощутил себя в первых рядах правящего народа. Он был близким знакомым, другом и даже родственником многим из тех людей, которым народ вручил власть. Эти люди страдали при царском режиме, как и он, профессор. У него имелись с ними общий язык и общее мировоззрение, общий психический строй и общий бытовой уклад. Это были в полном смысле слова свои люди. Тем самым профессор был как бы сопричислен, приобщен к власти. Во всяком случае, ощущение власти и даже некоторой ответственности за власть было у профессора вполне реальным и отнюдь не призрачным. Следует заметить, что при самом обряде вручения народом власти указанным своим людям профессор не присутствовал, но это его не смущало: он слыхал, что именно так происходит дело при всех революциях.

Профессор принял от старого режима тяжкое наследство: войну. Он не задумывался ни минуты. Да и не к чему было задумываться. В непроветриваемом углу сознания имелись на этот счет вполне четкие и категорические директивы. Профессор решил поступить подобно тому благородному сыну, который всю жизнь платил по векселям, оставленным ему в наследство беспутным отцом. Профессор твердо решил воевать до победного конца, даже если бы пришлось воевать всю жизнь. Слово «родина» получило теперь в глазах профессора еще более высокий и безусловный смысл: это была свободная родина. Профессор удвоил, утроил энергию своей работы в комиссиях, ведавших снабжением армии. У него появилось теперь чудесное ощущение, что он работает на себя. Такое ощущение испытывает приказчик, сделавшийся хозяином.

Все шло прекрасно. Профессор впервые почувствовал себя тесно связанным с чем-то столь же мощным и захватывающим, как и всецело владевший им до сего интерес к научной работе. Социально-политический сектор его мозга стал приобретать значение самодовлеющее и значительно раздвинулся за счет сектора научного. Профессор стал убеждаться в том, что если его научная деятельность и не была до сей поры общественным служением, то теперь легко может стать таковым. Наука утратила в представлении профессора свой абсолютный характер, абсолютным стало ему теперь казаться лишь «общественное благо». Пределы его лаборатории, его квартиры, его

университетского и домашнего быта стали профессору узки. Владевшее им новое ощущение побуждало его к какой-то иной жизненной активности, чем привычная, до-февральская. Профессор вдруг утратил ту настороженность, какая у него всегда была в отношении к внешнему миру. Между ним и миром, тем многогранным человеческим миром, который жил и кипел за окнами его лаборатории — вдруг исчезло всякое средостение. Если до того профессор считал своею собственностью лишь свое личное достояние и свои научные достижения, то революция расширила его собственнические чувства до беспредельности. Разумеется, мы берем здесь это узкое понятие в самом его широком и высоком значении. Взглядом хозяина-правителя глядел профессор на доставшееся ему наследство. Россия, великая страна, лежала перед его хозяйским взором, как гигантский сырой материал, требующий творческой обработки. В своей науке видел профессор тот плуг, который подымет и вспашет эту целину. Пятидесятилетний ученый на тридцатом году своего пребывания в лаборатории неожиданно для себя открыл, что наука — средство, орудие, а не самоцель.

Иной раз профессор даже предавался мечтаниям. Перед ним носились видения будущего. Он видел колоссальный город, русский Париж, нарядную, богатую весеннюю толпу, прекрасных женщин, увенчанных живыми цветами, поток новых, блестящих, разноцветных автомобилей, огромные универсальные магазины, гранитные здания банков с зеркальными окнами, первоклассные отели и рестораны, из которых доносятся на улицу звуки изысканной музыки и звон дорогой посуды. За городом — до самого горизонта — профессор видел бесконечные красные дремучие леса фабричных труб, уходящие в неизвестность. И, наконец, на какой-то странной площади будущего, не похожей ни на одну современную столичную площадь, на фоне ярко-синего неба — гигантское, изумительной архитектуры, похожее не то на Реймский, не то на Кельнский собор, здание парламента.

Эти мечтания профессора могут показаться современникам пошлыми и вульгарными. Мы не будем спорить с современниками: поясним только, что эти видения будущего безотчетно сложились в непроветриваемом углу сознания профессора во время его многочисленных поездок в различные города Западной Европы, на конгрессы физиков, где он всегда был желанным и почетным гостем. Европейские впечатления были единственным источником, питавшим политическое воображение профессора, если не считать прочитанной им — в данном, частном случае — в одно воскресное утро, в иллюстрированном приложении к журналу «Нива», который он многие годы выписывал для себя и своей семьи и которому принадлежала немалая роль в удовлетворении интеллектуальных запросов профессора, стоявших за пределами его чисто-научных интересов — статьи под названием: «Наша столица в 1950 году».

Овладевшее профессором новое жизнеощущение возникло в нем стихийно, и приход его полностью ускользнул от контроля сознания. Источник этого странного, активного, восторженного состояния его психики был для профессора темен и непонятен. Профессор был даже в некотором недо-

умении. В конце концов — что ему революция и что он ей? Но скептицизм уже ничего не мог изменить и был бессилен, как бессильны в бурю слова заклятья.

Пользуясь марксистской терминологией, мы снова могли бы притти на помощь профессору. Мы сказали бы ему, что изменившееся его отношение к окружающему миру и внезапно захватившее его в преклонных годах восторженное, юношеское состояние психики явилось отражением подобного же состояния его класса, впервые пришедшего к власти и впервые получившего реальную возможность строить мир по своему образу и подобию. Мы сказали бы профессору, что им владеет никак не «общенародное» или «общечеловеческое», а чисто-классовое чувство.

Конечно, профессор не поверил бы нашему об'яснению. Больше того — он бы презрел его. Ибо он мыслил во всех областях, стоявших за пределами точных наук, хотя и более туманно, чем мы, зато более величаво и возвышенно. Профессор вскоре же разрешил свои сомнения: он пришел к выводу, что просто недостаточно ценил до сего присущее ему чувство социального альтруизма, которое-де ныне только, при благоприятных обстоятельствах, смогло распуститься и расцвесть, как цветок.

Но перспектива, представлявшаяся взору профессора, вдруг быстро и безобразно исказилась. Народ, тот самый народ, ради которого профессор самоотверженно пустил в ход свою, бездействовавшую до того машину социального альтруизма — обманул его доверие. Народ не захотел воевать. Народ дерзко нарушил одну из основных заповедей политического евангелия профессора: патриотическую. Мало того. Появились признаки, которые указывали, что этот народ собирается свергнуть правительство, которому сам же вручил власть в начале революции. Делу не помогло даже то, что правительство согласилось разделить власть с самыми левыми, но все же достаточно здравомыслящими — несмотря на странное их наименование — людьми: эсерами и меньшевиками.

Дурное поведение народа профессор приписывал деятельности разных смутьянов и агитаторов, действовавших, очевидно, по указке германского штаба. Смутьяны эти, неведомо откуда взявшиеся и носившие кличку «большевиков», профанировали самые высокие идеи из наиболее интимных закоулков непроветриваемого угла профессорского сознания. Этими высокими идеями, время для которых — даже для Европы! — наступит, быть может, через несколько столетий, смутьяны соблазняли несчастный, неграмотный народ, истомленный четырехлетней войной. Профессор сам стоял за вечный мир между народами, за уничтожение частной собственности, за социализм. Но это были его заветные мечты, это был туманный, внеисторический, волшебный идеал, осуществление которого грезилось ему чуть не за пределами земной жизни. Мечты эти были в сознании профессора неразрывно сплетены с внушенными ему в далеком детстве мечтами о небесном рае, и профессор, по совести, уже не мог твердо ответить, где кончаются одни и начинаются другие.

Войска побежали с фронта. Армия, одушевленная «высоким духом», обернулась для профессора сбродом взбунтовавшихся рабов, воспользовавшихся всеми правами, предоставленными им революцией и не пожелавших нести никаких обязанностей. Профессор был глубоко возмущен неблагодарностью этих людей, для которых он и его друзья жертвовали своей карьерой и подвергались порой жестоким гонениям. Делай после этого людям добро! Профессор горячо приветствовал жестокие меры — вплоть до смертной казни — принятые правительством против солдат-дезертиров. Но народ был уже слишком развращен посулами смутьянов. Фронт обнажился, армия неудержимо распадалась. Измена благородным союзникам — французам и англичанам — стала фактом. Измена! Страшное, позорное слово. Отныне оно вечным проклятием ляжет на каждого русского. Как теперь взглянуть в глаза культурному миру? Профессор был рассержен не на шутку. Дикари, азиаты! Кто знает, быть может, они еще не доросли до свободы, и царская нагайка им нужнее, чем конституция и парламент!

Здесь следует сделать оговорку. Профессор — как и в пятом году — отнюдь не приписывал всех этих позорных действий русскому народу, как таковому. Понятие великого русского народа оставалось для профессора незыблемым, как незыблемым остается и по сие время, и не к нему относился гнев профессора. Бежала с фронта не часть этого народа, одетая в солдатские шинели, а трусы и мерзавцы, недостойные своей родины. Жгла помещичьи усадьбы не часть этого народа, обутая в лапти, а лентяи и мерзавцы, желающие поживиться чужим добром и увильнуть от честного труда. Захватывала фабрики и заводы не часть этого народа, одетая в рабочие блузы, а опять-таки лентяи и мерзавцы (вкупе с уголовными элементами), развращенные вредной и бессмысленной агитацией. Народ, подлинный великий русский народ не шел на такие позорные дела. Этот народ относится с любовью и уважением к избранной им самим власти и поддерживает ее во всех ее делах и начинаниях. Этот народ готов стойко и самоотверженно — до победного конца — сражаться за свою свободную родину. Этот народ не поддается на посулы смутьянов и спокойно ждет созыва учредительного собрания, которое одно правомочно определить незыблемые формы государственного бытия страны. Этот великий русский народ из непроветриваемого угла сознания представляется теперь профессору чем-то вроде робкого, славного и старательного студента, вечно оттираемого невежественными выскочками и нахалами.

Где обитал — и обитает поныне — этот великий русский народ, в какой географической точке — профессор затруднился бы указать, но в его существовании он был убежден твердо. Ведь именно для блага этого народа приносили в былое время профессор и его друзья тяжкие свои жертвы.

Но как бы то ни было — то ли малым, то ли иным каким русским народом, — в конце октября 1917 года из рук профессора и его друзей была исторгнута власть. В этот день кратковременное общественное служение профессора было прервано на многие годы, а быть может — и навсегда. Это

был для профессора не только конец его общественного служения, в известном смысле это был для него — конец мира.

Около четырех лет не было жизни — был великий хаос и тьма безысходная. Профессор даже приблизительно не мог постигнуть того, что́ происходит. Он видел только, что все прежние нити, связывавшие его с внешним миром, вдруг и разом оказались перерезанными, и квартира его словно превратилась в остров, окруженный грозными, бушующими во тьме народными толпами. Даже молнии не прорезали этого мрака. Никакого ритма, никакой закономерности не могло уловить профессорское ухо, натренированное лишь на уловление законов природы, в этом мощном шевелении полуторастомиллионного народа.

Сначала, в первые месяцы после Октября, когда свет еще не совсем померк, профессору — так же, как и его коллегам, окончательно разочаровавшимся в революции — казалось, что Россия, еще не дозревшая до конституции и парламента, лишь переваливается с боку-на-бок, чтобы снова погрузиться в тысячелетний сон. Правда, это переваливание было страшно, земля дрожала и сотрясалось небо, гигантская государственная машина, сильно расшатанная Февральской революцией, но упорно державшаяся на основных своих скрепах, стремительно и неудержимо раскалывалась, и из зияющих ее трещин дули ветры небытия и смерти. Профессор ждал — скорбно и терпеливо. Еще одно, другое судорожное движение, еще один бессознательный, но страшный и разрушительный жест полусонного зверя — и настанут вечный сон и вечный покой. Ни о чем ином профессор более не мечтал. Бог с ним — с парламентом, с ответственным министерством. Только бы порядок и безопасность... Но ни порядка, ни безопасности не было. Разбив в щепы старую государственную машину, сорвавшись со всех якорей, новая рабоче-крестьянская Россия поплыла по бурному историческому морю навстречу новой судьбе.

Профессор — так же, как и его коллеги — остался на месте. Он ждал. За всякими общественными *беспорядками* — рассуждал профессор — неизбежно должна последовать *реакция*. Эту мысль профессор извлек также из непроветриваемого угла сознания. Все его коллеги придерживались того же мнения. Эта мысль была частным выражением их общего взгляда, состоявшего в том, что в социальной жизни существует известное равновесие, которое, будучи на время нарушено, с необходимостью закона природы восстанавливается вновь, под влиянием целесообразности, присущей развитию человеческого общества. Под *равновесием* они разумели такое соотношение социальных сил, которое характеризует капиталистическое общество и которое представлялось им столь же естественным и вечным, как соотношение звезд на небе.

Но *реакция* не наступала. За окнами профессорской квартиры шли годы и события. Сила внутреннего отрицания того, что происходило за этими окнами, была у профессора так велика, что его ни разу не посетил соблазн *подумать* над происходящим, *осознать* его, хотя бы для того, чтобы практически в нем ориентироваться. Правда, некоторые априорные сообра-

жения у професора имелись. Так, например, у него имелся вполне определенный взгляд на общий характер событий: он твердо был уверен, что они носят не политический, а уголовный характер. Расстрелы контрреволюционеров, шпионов и спекулянтов он воспринимал как убийства, национализацию имущества — как кражу. Здесь следует заметить, что профессор вообще никогда не делал четкого различия между рабочими и теми опасными, уголовными людьми, которые, как ему казалось, жили вместе с рабочими на окраинах города в домах-трущобах. По этой причине он никогда не включал рабочих в понятие великого русского народа. Последний всегда рисовался воображению профессора за плугом, в полях, в последних лучах закатного солнца.

Так вот: рабочие. Что иное могло получиться, если государственная власть оказалась в руках этих темных, кровожадных и алчных людей из городских трущоб? Разве для них звучат такие слова, как культура, родина, свобода, закон, общественное благо? Вон стоит один такой правитель — профессор глядит на улицу сквозь полузамерзшее окно — в каком-то жутком рубище, у костра, с винтовкой за спиной, в огромной папахе, надвинутой чуть не по самую шею. Профессор глядит на правителя и с горечью обреченного дивится: что мешает этому человеку перешагнуть через порог профессорской квартиры, приставить профессору к груди винтовку и распорядиться профессорским имуществом и профессорской жизнью по своему усмотрению?

Ах, профессор, профессор! Чтобы вам проветрить непроветриваемый социально-политический угол вашего сознания! Чтобы вам всю силу вашей мысли хоть на один миг переключить из области постижения мертвой природы — на постижение живой! Или она не стоит того? Или десять миллионов человеческих жизней — не слишком дорогая цена за вашу непроветриваемую идею «родины»? Неужто вы спокойно примете такую страшную жертву — и не усомнитесь в праве этой прожорливой идеи живьем заглатывать миллионы самых молодых и здоровых представителей вашего великого русского народа, наиболее покорно и безропотно — по вашему мнению — не в пример трусам и мерзавцам, идущим на заклание? Дайте себе труд: откинув всякие предубеждения, исследуйте понятие «родина» с той абсолютной тщательностью и тонкостью, какая свойственна вашим научным исследованиям. Вы придете к результатам, совершенно для нас неожиданным. Вы поймете, что стали жертвой грандиозного обмана, что вы были отравлены ядом, который, собственно, предназначался не для вас,— человека, стоящего в интеллектуальном отношении неизмеримо выше среднего уровня,— а для народа. Ведь нередко случается, что человек по недосмотру травится тем ядом, что разбросан для крыс!

И вот, когда вы убедитесь, что вас обманули, — вы, несомненно, потеряете всякое доверие и ко всем прочим понятиям из непроветриваемого угла вашего сознания. Вы посмеетесь тогда и над вашим заветным Парламентом, и над Ответственным Министерством, и над Конституцией и даже над Собственностью. Вы поймете, что вы, с вашими

достижениями в области физических наук и с полной слепотой в области наук и дел социальных, уподоблялись дикарю, который дома выделывает тончайшие изделия из мамонтова бивня, а на охоте той же рукой снимает скальп с поверженного врага.

Вот тогда, может статься, красногвардеец у зимнего костра вырастет в ваших глазах до размеров гигантской символической фигуры, стоящей на рубеже двух эпох человеческой культуры.

Да только — где вам!

Профессор терпел разные лишения, голодал и холодал. Он чувствовал себя пленником, упрятанным врагами в подземелье крепости, осажденной его соратниками. До него глухо доносились раскаты борьбы, которую «здравомыслящие» люди вели с «захватчиками власти» — большевиками. Чем громче канонада, чем слышнее топот подступающих к крепости дружественных армий, чем сильнее смятение в осажденной крепости,— тем больше надежд, что рушатся стены тюрьмы и возвратится ж и з н ь. Но канонада звучала все глуше, но соратники отступали все дальше, и великая уверенность победителей нисходила на стражей профессора.

Постепенно профессором овладела полная безнадежность. Он уже ничего не ждал. Он опустился, постарел, оброс грязно-седой бородой. Стали блекнуть в нем и научные интересы. Лаборатория вымерзала, стены покрылись густым, волнистым слоем сверкающего инея, гибла от холода тончайшая заграничная аппаратура. И бог с нею! Постоит профессор, посмотрит на стены, толкнет чашку проржавевших чувствительных весов, повернет с горькой усмешкой выключатель какой-нибудь навеки угасшей драгоценной лампы, некогда за большие деньги выписанной из-за границы, перекинется несколькими горькими фразами с таким же старым, опустившимся коллегой — и побредет домой. Последние могикане великой культуры! Что за вещие слова изрекли они в жуткой морозной тиши лаборатории, разоренной новыми вандалами?

— Слыхали? Говорят, что скоро в академическом пайке вместо муки будут давать селедку!

— Да что вы? Впрочем, это как кому. Вон Иванову, говорят, в Кремле роскошную квартиру отделывают — за то, что продался большевикам...

— Иванов всегда был подхалимом... Только ему не квартиру отделывают, а дали ордер на заячью шапку и на три сажени дров. Это потому, что его дочь с крупным большевиком живет...

Дома профессор целыми часами сидит за своим письменным столом в тяжелой шубе и стоптанных валенках и угрюмо листает иллюстрированное приложение к «Ниве». Все кажется ему тут милым и волнующим. И бесчисленные портреты поручиков, капитанов и полковников, погибших в японскую войну, с ухарскими лицами, с богатыми усами и в то же время с печатью какой-то грустной обреченности. И знаменитая волосатая женщина Юлия Пастрана, гвоздь мировых паноптикумов, от которой также горячими волнами исходит мощный аромат доброго, наивного старого времени. И могила Чингисхана. И зал заседаний дрезденского конгресса физиков, на ко-

тором профессор сделал свой знаменитый доклад, положивший начало его европейской известности. И президент Фальер, о котором, во славу французской демократии, было сказано, что он начал свою карьеру простым рабочим-плотником. И пребывание царской семьи в Кронштадте, среди колоссальных гвардейских матросов, стоящих правильным полукругом и будто бы умиленных тем, что царские дочери выряжены в такие же бескозырки с лентами и с надписью «Штандарт». Во взоре царя с прилизанной прической, одетого в белый китель, профессор явственно читает горький упрек: вот, мол, до чего довела ваша оппозиция! Профессор остро чувствует и горечь и справедливость этого упрека. Если бы только вернуть прошлое...

Да, если бы вернуть прошлое! Многое переоценил профессор в эти страшные, лихие годы. В октябре 1917 года его жизнь резко переломилась надвое. На черную и белую половину. Никаких оттенков, полутонов профессор в прошлом уже не различал. Это была чудесная, гармоническая система, в которую, не рождая никаких противоречий, входили на одинаковых правах и капитаны, и полковники, и Юлия Пастрана, и президент Фальер, и мечты о парламенте, и царь, и могила Чингисхана, и конституция, и конгресс физиков, и яхта «Штандарт» — и чего, чего только не было в этой системе! Тоже, случалось, горели костры на зимней улице — но какие веселые, уютные, жаркие, трескучие костры! Прыгали вокруг них извозчики на своих слоновьих ногах, какие-то веселые мальчишки совали в самый огонь красные, сведенные морозом пальцы, случайный прохожий, сняв галошу, зябко тянулся к теплу изящным ботинком, легко и кокетливо одетая девушка в кружевном капоре застенчиво и будто нехотя грела над пламенем опрокинутые вверх ладонями тонкие руки... Иной раз в этот чудесный, сказочный мир дореволюционного костра важной и чинной походкой входил городовой, краса и столп уличного мироздания. Какой знакомый образ! Вот он стоит, городовой — в черной шинели с красным галуном, препоясанный тяжелой шашкой, в сером казенном башлыке, почти закрывающем лицо: выпростаны только морозные, пушистые усы да красный нос... Профессор подкатывает в ладных казенных санях к под'езду своего дома. Широко распахивает двери швейцар: не дай бог заденет за что профессор полами обширной своей хорьковой шубы. И профессор входит в дом, в сложный и глубокий, десятилетиями слагавшийся уют своей квартиры, своей науки и своей семьи...

Боже мой! Разве можно было знать, что тут же рядом, за тонкой перегородкой привычного быта, бурлят и бьются страшные, бесформенные, хаотические силы, готовые при первом удобном случае перервать горло извечно установленному порядку, выбросить в мусорный ящик культурные навыки, создававшиеся тысячелетиями. Из всех известных профессору стихий именно социальная стихия представлялась ему наиболее кроткой и безопасной. И уж во всяком случае он был всегда убежден в том, что его личная судьба — крупного ученого и бескорыстного друга человечества — находится вне всякой досягаемости для этой стихии. И вот — русская история повернула вспять. По всей великой русской равнине, как тысячелетия назад,

в глухой исторической ночи, завывают волки и метут нескончаемые снежные метели. Будто и не сияли никогда в черном мраке электрические солнца городов — только дикие огни скифских кочевий от века блуждали по бескрайным степям. Ни следа не осталось от русского государства, от русской культуры! Профессору страшно глядеть на мертвенно-белые, мохнатые, морозные окна. Ему чудится, будто мировые пространства напирают на хрупкое стекло — и вот-вот ледяным потопом хлынут в комнату!

Странные, бредовые мысли бродят в профессорской голове. Хорошо бы взяться за руки с чадами и домочадцами своими, оставить опостылевший дом, уйти ночью в поле, в снег, в мятель искать новую судьбу, горячие румяные булки, хорошо поджаренный кусок хлеба, жарко натопленный камин. Итти год, два, три — пока придешь в какую-нибудь далекую, маленькую, культурную северную страну, в крохотный чистенький городок, укутанный в белый, сверкающий рождественский снег. Войти в домик, где в блестящем, желтом паркетном полу отражается разукрашенная и расцвеченная огнями елочка, где никогда не мерзнут окна и через белую улочку ясно виден такой же домик, и такие же окна, и такая же расцвеченная огнями елочка...

Старый, добрый, милый сказочник Андерсен! В твой белоснежный рождественский уют, где все острые углы прикрыты густым слоем ваты, где мороз столь же благодетелен, как и солнце, где счастье даруется за добродетель, а люди, независимо от их имущественного положения, делятся лишь на добрых и злых,— загнало профессора его отчаяние.

В эти дни страшных испытаний профессор окончательно раскаялся в своих оппозиционных грехах. Блудный сын готов вернуться в отчий дом, он не помнит нанесенных ему обид и просит лишь отпустить ему невольные его прегрешения.

Спасение пришло нежданно и негаданно. Декрет о продналоге! Новая экономическая политика! Признаться, профессор мало что понимал в этих терминах. Газет он почти не читал, а его отвращение ко всему «советскому» было так велико, что он из какой-то интеллектуальной брезгливости не допускал до своего сознания всех этих странных слов, за которыми, несомненно, крылось враждебное ему содержание. Но на этот раз слова были дружественны профессору. Он ощутил это разом всем своим существом и был потрясен почти до слез. Так бывает потрясен зверь, пребывающий в зимней спячке, когда случайный ветер занесет в его берлогу первые, едва уловимые запахи близящейся весны. Вот она, неизбежная р е а к ц и я! — ликовал профессор. Он был удовлетворен не только как гражданин, но и как ученый: незыблемые законы развития человеческого общества из непроветриваемого угла сознания не заржавели и проявили свое действие как раз тогда, когда профессор уже совершенно отчаялся в них. Под ногами профессора опять была твердая земля. Он скинул валенки и в первый же погожий день отправился попирать эту вновь обретенную землю из'ятыми из недр сундука старомодными, но ладно сшитыми по специальному заказу и начищенными до блеска штиблетами. В этот день профессор имел вид гордый

и демонстративный. Он проносил по улицам свои тщательно подновленные дореволюционные одежды и столь же тщательно подстриженные дореволюционные усы и бороду — как знамя, как гордое знамя, побывавшее во во многих славных боях и оставшееся невредимым. Разумеется, профессорские одежды и подстриженная растительность на лице были только символами: они должны были знаменовать незыблемость профессорских принципов.

Как тесно сплетены между собою природа и история! Над зданием университета — как, бывало, и в прежние годы — недвижно стоит огромное, курчавое, белое облако. Профессор смотрит на облако — и ему приходит на ум странная мысль: облако тоже томилось четыре года в плену и тоже впервые вышло сегодня на небо, как необходимый элемент в системе восстановленного дореволюционного пейзажа. Точнее будет сказать, что это не мысль, а переживание профессора. И уже все прежнее, относится ли оно к природе или истории, представляется профессору в этом странном аспекте. Вот университетская береза, которая не жила четыре года, а сегодня сыто и лениво колышет под солнцем густую свою, светло-зеленую листву. Вот издавна знакомый каменный лев на университетских воротах: вчера его не было или он был совсем другой, а ныне он подстать и облаку, и березе, и синему небу, и университетскому швейцару, все с той же — точь-в-точь — почтительной приветливостью встречающему профессора. Словно вся эта живая и мертвая бутафория — подобно профессорским штиблетам — четыре года пролежала в сундуках, пережидая грозу, и теперь вышла на свет божий, совершенно естественно и автоматически складываясь в извечно установленную систему.

Профессор нисколько не сомневался, что, в согласии с тем же законом восстанавливающегося равновесия, к власти снова должны притти здравомыслящие люди (теперь профессор значительно расширил это понятие — он включал в него не только деятелей Февральской революции, но и вообще всех тех, кто стоял за прежнее и считал необходимым держать страну в узде). Не могут же во время реакции стоять у власти те самые люди, которые делали революцию — если уж угодно так именовать истекшие четыре года общественного хаоса! Будет ли при этом парламент и ответственное министерство — к этому профессор относился теперь с глубоким безразличием. Эти некогда важнейшие элементы его политического миросозерцания перешли ныне в область деталей, которым, как известно, профессор значения не придавал. Существенно лишь, чтобы твердь была отделена от воды — чтобы была произведена нормальная расстановка сдвинутых со своих покоящихся точек общественных сил. Сначала порядок — затем реформы.

Но профессор, кажется, опять ошибся в своих ожиданиях. На его глазах феникс возникал из пепла — и без всякого участия здравомыслящих людей. Они попрежнему были не у дел. Их отсутствие в почти полностью восстановленном дореволюционном пейзаже было — на взгляд профессора — дико и неестественно. Ему казалось это каким-то недоразумением, которое вот-вот раз'яснится. Но недоразумение не раз'яснялось.

Солнце, впервые взошедшее для профессора осенью 1921 года, осветило странную картину. Огромные массы новых людей шли к власти. Эти новые люди были совершенно чужды профессору. Во всяком случае, по всему их облику и поведению он мог определенно сказать, что никакого отношения к великому русскому народу они не имеют. Но, с другой стороны, он не мог не отдать им должного: он находил, что они обладают, все же некоторой долей здравого смысла. В устах профессора это было серьезной похвалой. Этот взгляд профессора находился в непосредственной связи с его убеждением, что нэп явился своего рода реакцией здравомыслящих большевиков против большевиков-смутьянов, против бесчинств предшествующих годов. При этих — находил профессор — можно хоть жить и дышать, а те едва не довели страну до окончательной гибели. Но вскоре он стал замечать, что и эти начинают вести себя в высшей степени странно. Для чего нужны им эти вульгарные лозунги о мировой революции, о построении социализма? Почему не восстанавливают они свобод, уничтоженных теми? Почему не декларируют свободы печати, собраний, союзов, слова и прочее, и прочее, и прочее? Почему они, если уж не хотят отказаться от узурпированной власти, не зовут к себе на помощь подлинно здравомыслящих людей, бескорыстных общественников, людей науки и мужей совета?

По мере того, как профессор отходил, размораживался после пережитых им тяжелых годов, он пред'являл к новой власти все более и более суровые требования. Не единым хлебом сыт человек! Но власть — странным образом — по неспособности, по некультурности? — шла какими-то непонятными профессору и чуждыми ему путями к какой-то непонятной и чуждой цели. Мало-по-малу профессор стал снова замыкаться в себе. Внешний мир, на мгновение мелькнувший чудесным миражем, снова стал ему враждебен и непонятен. Прежнее не возвращалось, и никаких надежд на его возвращение, видимо, не было. Профессор оставался вне жизни. В научную работу входил он медленно: восстановление лаборатории требовало огромных усилий, больших материальных средств и — главное — новой заграничной аппаратуры. Между тем, средства власть отпускала скупо, а связь с заграницей все не налаживалась. Профессор не привык к такому отношению. В конце концов, он имеет теперь право требовать для себя всех благ нового государственного порядка! Он не купец и не помещик, он — ученый, не имеющий ровно никакого отношения к политике. Имеет он право на труд? Имеет. В таком случае потрудитесь поставить его в такие условия, чтобы он мог продолжать свою научную работу! Не надо забывать, что его с распростертыми об'ятиями принял бы любой европейский университет! Или теперь трудом почитается лишь тот труд, от которого появляются мозоли на руках?

Университетская жизнь также была потрясена до самых оснований. И здесь появились какие-то новые люди и новые порядки, к которым профессор не умел и не хотел приспособляться. Профессорский оклад был совершенно ничтожен и материально ни в какой степени профессора не удо-

влетворял. Придет ли когда конец этой смуте, уже который год терзающей несчастную страну!

Но тут, совершенно для него неожиданно, профессор получил весьма выгодное и лестное предложение принять на себя научное руководство по созданию новой отрасли промышленности, имевшей непосредственное отношение к его научной специальности. Профессор отнесся весьма пессимистически к возможности создания в разоренной стране, отрезанной от всего мира, столь сложной промышленности,— но предложение принял. Помимо высокого оклада, его соблазнила возможность приступить снова к научной работе по изучению тех именно проблем, которые занимали его перед октябрьской катастрофой.

К этому именно времени следует отнести подлинное воскрешение профессора к жизни, первым и главным показателем которого явилось то, что у него — подобно появлению аппетита у выздоравливающего от тяжелой болезни — появилось ироническое отношение к новой действительности. Эта условная ирония, весьма далекая от иронии подлинной, явилась для профессора сущей находкой: она позволила ему с легким сердцем перешагнуть практически через ту огромную пропасть, которая отделяла его от новой жизни и новой власти, и, отнюдь не признавая их и не принимая их внутренне, войти с ними в живой контакт.

Итак, худой мир с новой властью, которая казалась теперь профессору не столь страшной, сколь вульгарной и претенциозной, был налажен. Но ирония не могла заменить профессору идеологии.

Идеология вскоре же явилась. Заключалась она в том, что профессор, ни в какой степени не считая великий русский народ ответственным за действия большевиков, своей работой в их хозяйственных органах оказывал этому народу посильную помощь. Разумеется, эта помощь, из-за органического несовершенства большевистской хозяйственной системы — ничтожна, но в этом не было вины профессора. Он сравнивал свое положение в отношении к народу с тем положением, в каком находятся родственники томящегося в тюрьме узника, готовые на любые жертвы, чтобы скрасить ему его мучительное существование, но ограниченные в своем великодушии строгими тюремными правилами, держащими узника на полуголодном пайке. Эта новая идеология профессора была чисто рассудочной — от «общественных» увлечений профессор был излечен навеки — и являлась для него своего рода моральной рабочей гипотезой. На деле недовольство профессора «тюремными правилами» было так сильно, что совершенно затмевало сочувствие к «узнику», тем более, что и самый «узник» — великий русский народ — превратился за последние годы уже в совершенно абстрактное понятие. Тем не менее рабочая гипотеза профессора отнюдь не была для него бесполезной: она давала ему, как ему казалось, сильный моральный козырь против большевиков.

Мы начали с того, что у профессора сложные и тонкие отношения с современностью. Эти сложные и тонкие отношения стали складываться

именно теперь, когда профессор приступил к своей работе в одном из крупнейших хозяйственных органов республики.

В первый период его работы его отношения к власти и к окружающей жизни не отличались ни особой сложностью, ни особой тонкостью. Взаимные обязательства были вполне точны и недвусмысленны. Никаких осложняющих моментов еще не было. Жизнь в те годы была проста и сурова, как в девственной стране, где пионеры кладут первые вехи нового быта, новых жизнеотношений.

К тому же несовершенства самой системы — в частности, на том ее отрезке, которым ведал профессор, — проявлялись порой столь грубо и примитивно, что ирония профессора нередко утрачивала свою условность и переходила в искреннее ехидство. В такие моменты сквозь привычную сдержанность слов и жестов профессора невольно для него просачивалась какая-то презрительная развязность. Большевики терпеливо сносили развязность профессора: они отдавали себе ясный отчет в высокой научной квалификации профессора. Среди них было немало таких, которые никогда в жизни не слыхали о термодинамике и лишь вчера сошли с боевого коня. Все свои надежды они полагали на время и упорство.

Профессор работал с присущей ему добросовестностью и обстоятельностью, но работа его не удовлетворяла. Теперь только познал он в полной мере ту истину, что наука не является самоцелью, ибо даже чисто научная работа, далекая от непосредственных практических целей, уже не приносила ему былой отрады. Ему казалось, что его драгоценная энергия пропадает втуне, рассеивается в пустоте, уходит на дело непрочное и ненадежное. Особенно тяжело было постоянное сознание случайности того государственного порядка, в рамках которого ему приходилось жить и работать. Это сознание придавало всему его восприятию какую-то мучительную призрачность. Кто знает, если бы профессору удалось каким-нибудь путем увериться в закономерности или даже законности Октябрьской революции, он, быть может, разом изменил бы к ней свое отношение... Но едва ли существуют в мире какие-либо пути для того, чтобы его в том уверить.

По злой иронии судьбы учреждение профессора помещалось в том самом здании, где некогда имел пребывание Ученый совет, неизменным членом которого профессор состоял в течение многих лет. Иной раз случайная игра лучей, визг отворяемой двери, какой-нибудь затхлый запах из старого канцелярского шкапа, чудом сохранившийся после революционных сквозняков,— напоминали професору о былом и пронзали его сердце смертельной тоской.

Шли годы. Незаметно вокруг профессора разросся целый новый мир, буйным цветом зацвела новая жизнь. Это была новая вселенная, со своим небом и землей, своими людьми и своими учреждениями, своей наукой и своим искусством, своим мировоззрением и своим бытом. На том отрезке новой вселенной, где работал профессор, при непосредственном его участии, создалась новая, весьма ценная отрасль промышленности, находившаяся до

революции в зачаточном состоянии. Заслуги профессора получили высокую моральную и материальную оценку, которая, при переводе на прежний масштаб, едва ли теряла в своей значительности. Но профессор остался верен себе — он не принял новой жизни, не признал ее. Как раньше ее зеленые молодые побеги он считал ядовитой травой, так теперь ее буйное зрелое цветение отпугивало его неведомой ему странностью и причудливостью форм. Но уже не было места презрительной развязности. Профессор ощущал себя теперь лишь небольшим винтиком в гигантской машине новой жизни. Ирония уже не служила своей прямой цели — она только прикрывала растерянность профессора и его полное непонимание того, что происходит вокруг. Но непонимание профессора было — враждебное непонимание, и растерянность профессора — злая растерянность. Ибо жизнь брала от него знания и ничего не давала взамен. И не могла дать. Она не имела в своем распоряжении даров для тех, кого до слез волнуют затхлые запахи дореволюционных канцелярских шкапов и визги двенадцать лет немазанных дверных петель.

И все же новая жизнь все глубже и глубже вбирала, всасывала профессора. Он и давался, и не давался ей. Все, что она от него требовала, он выполнял без всякой взволнованности, как творят обряд неверующие люди. Он поступал так не от равнодушия. Он видел в этой жизни огромный для себя соблазн, как бы дьявольское навождение, от которого — во имя инстинной культуры прошлого — ему надлежало уберечь себя. Но с каждым днем все труднее становилось ему блюсти дореволюционную свою чистоту. Шум и грохот лихорадочного строительства оглушал его, спутывал все предосторожности. И если профессора что удержало от ложного шага, от того, чтобы отдать новой жизни не только свои знания, но и свои эмоции — отдать не по великодушию, а по закону психологической диффузии,— так это та моральная поддержка, которую он постоянно находил в некоторой части своих коллег, таких же верных паладинов отошедшей жизни, как он сам. Здесь эмоциональная измена прошлому считалась делом позорным и непотребным.

И вот профессор уже в сегодняшней, нашей современности. Он живет сложной, двойной жизнью.

Его задача — найти идеальную среднюю линию поведения: работая, общаясь и всячески сотрудничая с большевиками, внушая им полное доверие своей несколько привередливой и ворчливой, но будто бы глубокой и окончательной, лойяльностью, одновременно не давать ни кому из своих коллег ни малейшей против себя улики.

Вначале эта тонкая игра давалась профессору нелегко, но скоро стала едва ли не второй его натурой. Механизм действовал точно и без перебоев.

Да, профессор говорил о пятилетке, о новых технических кадрах, о недостатках прежнего высшего образования, о научной смене, об окружении советских республик (не империалистическом — просто окружении), о директивах партии в области промышленности, наконец; — но в речах его не было ни единого слова, которое могло бы послужить

уликой. Да, профессор употреблял иной раз сокращенные слова, но он не злоупотреблял ими. Он гораздо чаще говорил «высшее учебное заведение» — чем «вуз», пятилетний план строительства» — чем «пятилетка», «рабочий факультет» — чем «рабфак». Он делал это смело, не боясь косых взглядов, ибо в этом также была своя тонкость: он был глубоко уверен, что большевики не припишут это его нелойяльности, а лишь его педантизму старого профессора. Да что говорить! Не так давно профессор, по просьбе редакции одной центральной газеты, высказал свое мнение по вопросу об опасности новой империалистической войны. Его ответу, стоившему ему, правда, нескольких часов напряженной работы, мог бы позавидовать сам дельфийский оракул. Это был недосягаемый образец подобного жанра, это был тончайший юридический документ, составленный в таких виртуозно гибких выражениях, что целый синклит юристов не решился бы дать ему какое-либо одно толкование.

С такими документами профессор смело сможет предстать перед будущим судьей!

Кусок мяса

(Рассказ)

В. Уваров

1

Уткнувшись головой вниз, Андрей Копырин лежал поперек кровати. Назревшая тишина угнетала, и хотелось закричать — разрывая в клочья насторожившееся молчание. Вскочил, и злобно отшвырнул в сторону молодого красношерстного кота, который выгибаясь и облизывая сырые ноздри, подходил к его сапогу.

За столом, прикрыв лицо концом скатерти — Наташа. Она вздрогнула от неожиданного звука чего-то мягко шлепнувшегося у двери, и, оторвав от скатерти усталые заплаканные глаза, глядя на Копырина, заискивающе-виновато улыбнулась.

Чувство брезгливости при виде обмякшей, растрепанной женщины поднялось в нем; хотелось оскорбить ее, но не смог и, морщась, широко отмахиваясь, Копырин кинул: «А ну тебя к матери!..» и быстро вышел из комнаты на улицу.

Там он остановился у витрины галантерейного магазина, уставился на пришитые к картонке дутые пуговицы, напомнившие ему коровьи глаза, и вспомнил, как это случилось.

Наташа с первых же дней их связи, ласкаясь, просила: «Андрюшечка, проведи меня на бойню: я хочу посмотреть, как бьют животных»... И по-ребячески, широко моргая, улыбалась: «Проведешь?»

Обещался, но нарочно забывал ее просьбу: не хотелось итти к Ямову. В годы голодовок, в годы гонки за пищей Ямов работал в одной камере с Копыриным — заводным [1], и они «на пару» таскали мясо; в то время таскали все. Только с об'явлением нэпа начались попытки борьбы с хищничеством, а в прошлом году новым директором Кувшининым был издан приказ, категорически запрещавший брать не только мясо, но и жилы; замеченных в краже увольняли. В это же время Ямова партячейка выдвинула комендантом. Однако, как общее правило: «у воды быть да не замочиться?» — воровство продолжалось и Копырин попался впервые. Знал —

[1] Заводной—одна из квалификаций бойцов.

это дело рук новоиспеченного коменданта, и было обидно, что его «предал» свой же товарищ. Копырина не уволили, как старого квалифицированного бойца (работал на бойнях с пятнадцати лет), но с тех пор он стал чувствовать внутреннюю неприязнь к Ямову: «Шпионит, сволочь, а сам боится подойти, подсылает контролера»... Он знал, что комендант считает его от'явленным вором, и хотя больше не брал, но видел, что слежка не прекращалась, и от этого лишь сильнее назревала досада.

Вот почему Копырину и не хотелось разговаривать с Ямовым о пропуске, но Наташа с каждым днем все настойчивее просила, он уступил и сегодня утром повел ее на бойни...

Вспомнив сегодняшний день, Копырин судорожно вздохнул, переводя взгляд от витрины на прохожих, и вздрогнул: что-то знакомое почудилось ему в сутуловатой спине прошедшего мужчины, который, идя с девушкой и придерживая ее за кончик локтя, о чем-то хриповато рассказывал.

Копырин отошел от витрины и, обгоняя, быстро, не поворачиваясь, — покосился на них.

Смеялись: мужчина слегка наклонившись, заглядывая девушке в лицо, а она — откидываясь назад, как бы смотря вслед прохожим.

«Контролер!»

Сошел на мостовую и медленно, будто что-то стирая, провел по лбу ладонью. Потом долго ходил по мало знакомым кварталам, стараясь остудить ожог вспыхнувшей злобы.

Ночь, окутывая дремотой город, окутала и его. Постепенно от ходьбы начал уставать. Направился домой.

Промчавшийся рядом автомобиль скорой помощи обеспокоил его: «Не Наташа ли? Она ведь взбалмошная, натворит еще делов...» И ускорил шаги.

2

Еще ни один трамвай не потревожил воздуха, еще город погружен в безмолвие сна, а уже по улице тянутся подводы. Полки, обитые цинковым железом, с надписью на задних стенках — «мясо» — одиноко громыхают по мостовой, направляясь за заставу, к бойням, чтобы с утра на мраморных прилавках складов и магазинов дымилось парное мясо.

На бойнях у центрального входа, где напротив него продолговатой ковригой расположилось здание старой свинобойни, — контрольная будка с дощечкой: «Выдача пропусков».

В контрольной сидит Африкантов, облокотясь на стол. Узкие губы его — упрямы, у скул шевелятся желваки мускулов. Он только-что кончил составлять акты на пойманных возчиков. Испуганные булыжники лиц, просящие о «милости», еще до сих пор роятся где-то под сознанием, и от нервного напряжения — быть неумолимым — дрожат руки.

Упрямая дробь по стеклу. Это — за пропуском. Задерживать нельзя, и Африкантов встает и подходит к оконцу.

Маленький юркий мужчина просит пропуск.

— Вам зачем?

— Как зачем? Нужно. Не нужно б, не просил...

— Но зачем нужно? — настаивает Африкантов.

Мужчина тоскливо смотрит в сторону убойных камер.

— Зачем? — хмурится он, видимо что-то решая. — Человека надо увидеть...

— Вы его здесь не найдете.

— Я-то?!. Ну уж будьте спокойны, найдем-с!..

— Нельзя, товарищ, — на квартиру идите. Здесь частные встречи не разрешаются...

— А ежели я квартиры не знаю, как же тогда? — возмущается юркий мужчина и облизывается. — Не задерживайте, пожалуйста. Позвольте пропуск.

— Никакого, товарищ, вы пропуска не получите. Без дела мы не пропускаем.

Долго продолжаются подобные разговоры. Спекулянты и пройдохи разных окрасок просят, умоляют, ругаясь уходят, а через минуту, надумав новую причину, возвращаются — и вновь начинаются споры.

Андрей с Наташей, соскочив с трамвая, торопились. Копырин боялся опоздать на работу, а она, едва поспевая за ним, с любопытством оглядывала окружающих. По дороге крестьянин с какой-то суровой настойчивостью вел корову. Невольно подумала: «Вот оно, начинается». Но пришлось пройти более сотни шагов, пока мертвая суровость бульвара не заставила насторожиться.

У входа на бойню задержались. Смотрела, как гоняли непрерывно стада свиней, хрюкающих, распространяющих запах мочи и пота. Сгонщики, стуча длинными палками по земле, орали: «А-ца-ца!..», и от этого крика Наташе почудилась базарная толпа. Отдаленно мычали волы.

Копырин, получив пропуск, окликнул ее, и они пошли на свинобойню.

В полутемном, без окон, корпусе стрекотали жужжащие глушители; вдоль стен тянулись невысокие железные перегородки. Копырин, наклонившись над ухом Наташи, кричал ей, показывая в их сторону:

— Сюда загоняют свиней — партиями. Оттуда — видишь — перегоняют в те отгороженные квадраты и начинают бить: двое бойцов ловят и заваливают — оттягивают в сторону ноги, валят; третий режет в грудь кинжалом.

В это время в одном из отделений поднялся визг.

— Вон пойди, посмотри...

Наташа, поеживаясь, подошла.

Люди в белой спецодежде, обрызганной ржавыми пятнами, работали быстро. Остромордые пасти убиваемых животных широко раззевались, зрачки дико ворочались. Обычно, обливаясь кровью, свиньи жались друг к другу и, шатаясь, бегали, ища выхода. Убитых, похожих на громадных взлохмаченных крыс, на подвесных путях отправляли к ваннам, где, ошпарив, вырывали клочьями шерсть, а дальше насекалы (бойцы высшей квали-

фикации, они же и нутровщики), выпростав внутренности, разрубали тушу надвое.

Наташу охватил страх. Она окликнула мужа и ощупью поймала теплую шершавую руку. Оглянулась: улыбающийся высокий парень в поварском колпаке. Лицо и колпак — родинками — в крови.

— Где мой муж?

— Пошел, гражданочка, на работу. Приказал бойню вам показать... Ну, как — ловко у нас пыряют? — И парень смеялся, обнаруживая яркие десны с широкими плотными зубами.

— Пойдемте отсюда, — попросила Наташа.

Топая сапогами, голенища которых были выше колен, он повел ее к телячьей бойне.

— Овец бьют проще всех. Больно глупый народ эти овцы, недогадливый...

В просторном помещении работают двое. Овец кладут на скамейку, похожую на козлы — с впалым, полукруглым, в виде корытца, дном. Один затягивает им петлей задние ноги, а другой перерезает горло, после чего их вешают на общие крюки. Овцы, вися, раскачиваются, изгибаются, и слышен «харк» истекающих кровью животных. Остальные стадно стоят тут же и нюхают цементный пол.

Наташа заметила прохаживающихся в халатах молчаливо-спокойных людей.

— Кто это? — спросила она.

— А это — ветеринарный надзор. — У нас всю скотину выдерживают в карантинах, а опосля убоя осматривают. Есть и лаборатория — кровь там исследуют, мясо и соки разные... Идемте, а то до обеда не успеем. Время, чай, к полудню...

Вышла оглушенная, находясь в состоянии полуобморока.

Кирпичные корпуса убойных камер крупного рогатого скота, напоминая пакгаузы, вытянулись около разгороженных прямоугольных площадок, называемых «базами», где меловые, с широкими, дугообразными рогами украинские волы, из которых многие выше человеческого роста, хладнокровно ожидают смерти, повидимому, не предчувствуя ее.

Заводные, зайдя в базу, накинули на рога вола петлю и повели в убойную камеру. Один из бойцов (молодец) старательно отвешивал удары дубиной, ломая хрящи хвоста, и животное покорно заходило под станок, состоящий из двух параллельных столбов с перекладиной.

— Зачем они им вертят хвосты? — поморщилась Наташа.

— Хэ, — усмехнулся парень, — ловчей чтоб шли. С одним копаться долго не годится. А хвост — великое дело — сумеешь правильно заломить, и вол хорошо упадет; а без этого никак нельзя... Вона, где ваш муж — у осьмой камеры.

Копырин стоял у станка, слегка расставив ноги, и прикручивал к столбу голову вола так, что шея как раз приходилась под перекладиной. Лицо Андрея ожило: сквозь матовость зрачков пробивались стальные лучи. Вы-

нув короткий кинжал, он отвесным отрывистым ударом в затылок перебил животному становую жилу, разрушив продолговатый мозг. Тело вола омертвело, и он грохнулся. В глазах — выражение столбняка.

Второй удар Копырина был в сердце. Вол замахал ногами, будто побежал, подавая кровь, как из насоса, выплескивая ее толстыми, короткими струями в подставленный под горлю таз, напомнивший Наташе противень, в котором пекут пироги.

Из тазов кровь переливали в чаны, имевшие форму ушатов. В них застывшую, как холодный кисель, кровь на вагонетках перевозили на альбуминный завод, где она сушилась[1], и где из нее выделывали кровяной спирт, альбумин и пр.

Парень об'яснял Наташе:

— Этот убой называется русским. Существует еще и еврейский способ убоя; при еврейском убое скотине скручивают ноги и валят к востоку. Еврейский боец — резаками их называют — аршинной бритвой — чик по горлу; кровь шибко бьет, фонтаном, ажно жужжит. А добивают их опять же наши бойцы... Евреи толкуют, что при их убое кровь живая, алая, а при русском — мертвая. Только наш убой ловчее, проще...

Не слушала. Чувство страха постепенно притуплялось, и только нервная дрожь, рассыпаясь по телу, томила. Подошла ближе к станку и смотрела на снимающих с животного кожу.

Минут в семь разделав вола, тушу спускали на мясной двор, этажем ниже, и бойцы принимались за другого вола. Мясо, очищенное от кожи, уже вздрагивало поплавками мускулов, а из распоротого брюха, от кишек шел парной дух навоза...

Кто-то отбросил в сторону случайно отрезанный кусок мяса, и он шлепнулся, разбрызгивая брусничный липкий сок. Наташа ощутила солоновато-сладкий вкус и, облизывая губы, почему-то вспомнила своего рыжего молодого кота. «Теплюе, свежее мясо! Здесь двести грамм, не больше, возьму. Впрочем, неудобно... Но почему?» И она представила себе, как котик, фурча, теребит мясо, а она пугает его пальцем. «Ничего неудобного. Возьму открыто»... Но, все-таки, быстро оглянулась и, нагнувшись, как бы поправляя туфлю, подняла кусок мяса и спрятала его в обшлаг жакетки.

3

Ямов пришел на бойни к десяти. Спросив Африкантова, как дела, и узнав, что Андрей Копырин с женой здесь, он пошевелил бровями и, барабаня по письменному столу, сказал:

— За ними надо последить. Когда будут выходить, задержи, а я пойду по камерам...

Прогулки по камерам, приказы, почти ежедневные поездки за разрешениями на патроны для своего браунинга — вот основные занятия Ямова.

[1] Сушеная кровь идет на специальное удобрение земли.

Он хорошо умел учитывать положение вещей и, милостиво сваливая все обязанности на контролера, беседовал с приятелями, жалуясь на «незавидную» долю коменданта.

Пройдя на конебойню, расположенную в стороне от убойных камер крупного рогатого скота и обнесенную серым, с лиловатыми подтеками, забором, Ямов сосчитал лошадей, стоящих на очереди. Тощие, пугливо-настороженные, они нервно водили ноздрями, косясь на прохожих. Около гнедого жеребца толпились татары, щупая пах, брюхо, грудь. Лошадь знобило, она вскидывалась и тихо ржала.

— Вот это — хорош конь! — подойдя к татарам, похлопал Ямов гнедого. — Опять, небось, краденый?!

— Ну-у, зачэм краденый, совсем нэ надо. Копыты сломался, конь бэгать нельзя, хозяину все одно убыток — задаром сдохнэт, а наш такой покупай...

— Та-ак, — чистя в зубах спичкой, протянул Ямов.— А забыл, как этой зимой у вас краденую нашли, а?

— Опять — забыл? Совсэм не забыл, когда кичой[1] пахнет!.. Нэ такой я человек, чтоб забыть...

— Знаем мы вас — кичой пахнет!.. А ты кичу-то нюхал?

— Понухаишь — чыхать шибко будэшь. К шайтану кичу, и дома хорошо — табак нухат будэм...

На конебойне орудует боец-татарин. Лошадей бьют, как и коров «еврейским» способом.

Начался обеденный перерыв. Люди, как вода, прорвавшая плотину, наводняли выход, весело бунтуя говором, смехом.

Африкантов, выйдя из контрольной будки, следит. Каждый проходящий обшарен взглядом, в каждом движении он видит вороватость, скрытность и старается ее разгадать.

Обыскивать научился быстро: плотно прижимал к себе и — сверху, уверенно-точно — подмышки, живот, ляжки. Не найдя — отпускал, смотря вслед, в спину, как бы еще раз проверяя свой обыск. Лицо его спокойно, скорее — мертво. Он даже научился отвечать шутками на озлобленный мат рабочих, глотая обиду изжогой. Для него не было честных граждан, он в этом убедился: не берут — значит боятся; ослабни, не будь настороже,— и самый наичестнейший завтра захватит кусочек мяса в карман. Весь вопрос в том — опытные или нет. Первые — профессионалы, и это — его враги; вторые — глупые чудаки, проносящие мясо почти на виду.

Увидев Андрея Копырина с женой, Африкантов вспомнил — надо обыскать, об этом говорил комендант, и, выждав, когда они поровнялись, остановил их:

— Будьте добры, зайдите в комендатуру...

Копырин пожал плечами и, смущаясь жены, прошел в контрольную будку. Наташа испугалась, заторопилась к выходу, но вслед ей резкий, с трещинками окрик:

---

[1] Кича—тюрьма.

— Гражданка!..

Остановилась, соображая, что делать. Сбросить мясо? Взглянула на контролера. Рот его раздраженно перекошен, пристальные черные глаза прищурены, а рядом, подойдя к ней — милиционер, проверяя пропуска, особенно вежливо (так кажется ей) говорит:

— Вас, гражданочка, просят в комендатуру.

«Если б у меня не было мяса, — соображает Наташа, — я бы могла протестовать, что задерживают, могла бы даже не пойти. А теперь... притвориться?.. Нет, нельзя, надо итти. Но вдруг обыск и... там Андрюша, люди»...

Африкантов заметил сразу неестественность ее правой руки и растерянность в движениях. «Есть», подумал он и, опустив взгляд, глухо сказал:

— Пройдите вот сюда...

Копырин, продолжая смущаться жены, растопырил руки и брезгливо бросил:

— Пожалуйста, поскорее, товарищ контролер.

Но Африкантов медлил. Потом, будто что-то стряхнув с себя, он выпрямился и насторожился:

— Если есть мясо, прошу выложить.

— Можете обыскивать, если не верите, — поморщился Копырин.

— И у вас, гражданка, тоже нет?

Наташа терялась — что ей ответить. «Кусок мяса. Да, да — кусок мяса, но это так стыдно... Нет, не скажу, они не заметят, ведь такой не большой кусок»...

— Конечно, нет, — выдавила она.

— В таком случае разрешите обыскать. — Африкантов подошел к Копырину, но тот отступил и, будто приготавливаясь к прыжку, с'ежился:

— Как, вы хотите обыскивать и мою жену?!

— Да, придется.

— Я не разрешу.

— Мы обойдемся и без вас, товарищ.

— Я не раз-ре-шу!

— Успокойтесь, товарищ. Ее обыщет женщина, не я; можете быть спокойны.

Копырин устало, шумно выдохнул: «Все равно», и его длинные с большими кистями руки, похожие на головы зарезанных гусей, слабо повисли. Африкантов быстро обшарил его грудь, нагнулся, ощупал голенища сапог и, поднявшись — с помутневшими от прилива крови белками — еще раз к Наташе:

— У вас, значит, тоже нет мяса?

— Да, нет, — упрямилась она.

— Пройдемте в эту комнату.

В комнате, у коммутатора сидела телефонистка и напротив нее — участковый.

— Капа, будь друг, обыщи эту гражданку, — сказал Африкантов, обращаясь к телефонистке.

Телефонистка — бронзовая, веселая толстушка — сразу стихла, покраснела:

— Я, право, не умею...

— Ерунда. Посмотри рукава, грудь и вообще...

Он вышел с участковым, прикрыв за собой дверь, а телефонистка подошла к Наташе и ласково-виновато промолвила:

— Простите, мне никогда не приходилось...

За дверью настойчивый голос повторил:

— Посмотри в рукавах...

Наташа, защищая правый обшлаг жакетки, еле слышно, собираясь заплакать, прошептала:

— Не надо!

Чужие руки медленно приближаются. Вот они уже коснулись ее, и Наташа чувствует, как пальцы — словно толстые жирные черви — полезли к ней в рукав и растерянно выронили мясо...

Вернувшийся с конебойни Ямов застал ее в слезах. К нему подошел Копырин.

— Слушай, Ямов, отпусти мою бабу. Взяла кусочек для кошки... Экая оказия! Я ее не предупредил. Ведь для кошки, честное слово!

— Для кошки?! Вот как! Жен начали водить? Прекрасно! Самим воровать неудобно, так жен! Так, так... Африкантов, акт составил? Ладно, я сам составлю, а ты иди на ЦОМР [1] — там тоже следует пощупать...

— Да ведь, честное слово, Ямов, она не знала. Для кошки ведь взяла. Что ж ты мне, чорт тебя возьми, не веришь?!

— Верю, верю, голубчик...— Помолчал и зашипел, даже приседая, показывая язык. — Для кошки, говоришь?! Прекрасно! Берите всё, мать вашу в душу, для кошек. Тащите всё, дьяволы,— волов хватит!.. Нет, милый мой, нет, мы вашего брата учить будем, будем учить...— И он шлепнулся за письменный стол и вынул папку с актами.

— Да ведь вместе же с тобой раньше воровали, ведь это — пойми — случайность...

— Вот поэтому я тебя и притяну, что вместе мы раньше воровали, вот поэтому-то тебя здесь больше и не будет, да-с... А насчет случайности ты можешь закрыться... Как ее звать?

И карандаш заюлил, задерживаясь лишь над вопросом «где работает», но вскоре неровные буквы выстроились: «Безработная, жена Андрея Копырина, бойца крупного рогатого скота»... В графе «что предпринято с задержанным» украдкой, по-воровски, комендант написал: «Административным порядком».

4

Африкантов торопливо шагал около загонных дворов к ЦОМР'у. Он был угнетен слезами той попавшейся женщины и его охватило чувство стыда за нее.

---

[1] ЦОМР—центральный оптовый мясной рынок.

Стадо волов шумно, как обвал, двигалось на водопой к середине плоади, которая курилась пылью, пахнущей сеном. Африкантов, думая о Наше, смотрел в их сторону, не замечая, как рядом, пыхтя, бежал какой-то ыжий человек, и только когда волосатая рука рыжего тронула его за плечо, і оглянулся.

— У вас, товарищ, не найдется спичечки, прикурнуть?

Похлопав карманы, достал коробок и, безразлично осматривая широе туловище рыжего, подал.

Рыжий нарочито-медленно выбирал спичку. Щеки его вздулись, топя веснушчатых полушариях бугорок носа. Откашлялся.

— Ты наших не очень-то шарь...

Понял, но не растерялся:

— Кто это — ваши?

— Известно кто — цомровские.

— Пускай сами не попадаются. — И нетерпеливо, почти вырвав спички, фрикантов пошел дальше.

Рыжий стоял, раскуривая цыгарку, и, помолчав, вслед ему заорал:

— Эй ты, копченый, смотри — не сносить тебе гривы!

Уже не первый раз Африкантову грозили «подлить от вольного», предгали деньги — «не трогай», но он как бы любил эту игру...

Контора ЦОМР'а.

У входа толпятся поденщики, и Африкантов задерживается, стараясь таться незамеченным, и выждав, когда рбочие окружили кладовщика, оходит в соседние ворота, забирается в будку и прячется там за висящий ащ. Он видит, как выходит грузчик, который, постояв на улице и заглякв в окошко будки, возвращается в полуподвал первого пакгауза.

Скоро, окончив работу, один за другим — засаленные, с крюками для узки мяса, как бы нехотя — идут к выходу, переговариваясь, приземистые оди. Уже прошел первый, второй, приоткрыл дверь и третий, но спокойій голос задерживает:

— Разрешите вас осмотреть.

Кто-то шарахается в сторону, кто-то ругается. Молчаливая напряженсть угнетает; сквозь тишину слышатся лишь отрывистые слова, похоіе на рычание встревоженной собаки:

— Так, три куска. Пройдите в будку. Что в сапоге? Пройдите тоже будку...— И вскоре по коммутатору: — Пришлите милиционера. Четро, да...

А вечером, сдав пойманных участковому, выйдя из контрольной, Афринтов садится на скамейку и долго сидит, вслушиваясь в жалобный клекот ршунов, которые черными крестами, солидно поворачивая головы, плают в воздухе, смотря на кирпичные корпуса. Молчание. Только в базах даются волы и слышно щелканье их рогов. Усталость засосала... Каждый іг так тяжело сделать. Единственное желание Африкантова — не двигься.

Подсел пожарный:

— Пойдем в пивную, а?

— Пойдем, все равно. Только забыть бы эту сволочь!

— Кого?!

— А ту, жену бойца. Нейдет из башки.

— Да-а, хорошенькая бабёха.

— А, да ну тебя! Я не про то... Ну, идем...

Пивная пахнет кислятиной. Напротив — облитая пивом каряя борода с застрявшими в ней косточками воблы, выпирая вперед, трясется, а обладатель ее философствует, размахивает руками, задевает бутылку, и та летит на пол.

«Так разбивается наша жизнь, — думает Африкантов. Будущее пьет из нас, пьет все, а потом... Нет, только не это, только не это...»

Он придвигается к пожарному и шепчет, шепчет, задыхаясь, захлебываясь от прилива отчаяния и обиды:

— Комендант — сволочь, трус, лодырь. Он выезжает на нас, сам доносики пишет, называет всех плохими работниками и... Но я — ты думаешь — я контролер? Эх, ты! Я — человек, а не контролер... Но, вот тебе честное слово, я пропишу этого коменданта, так и напишу — «комендант сволочь», и он так и прочтет: «комендант сволочь»...

И Африкантов хватает оберточную бумагу и, написав на ней столбец коротких строчек, отдает ее пожарному, подымает ворот тужурки и уходит к Маруське, которая — он знает — ищет себе самца, не больше. Впрочем, ему все равно...

Гуляя с Марусей, Африкантов встретил растрепанного Копырина у высокой витрины галантерейного магазина, подумал «пьян», и ему еще больше захотелось забыть себя и хотя бы на время спрятаться от всех.

Пожарный под утро ломающимися шагами подходит к деревянному двухэтажному дому, останавливается, достает из кармана оберточную бумагу и, улыбаясь, блаженно раскачиваясь, оторвав от нее клочек, сворачивает цыгарку и стучится в калитку...

Дворник метлой сметает в мусорную яму все, что бросил человек: и окурки, и пачки и — стихи...

5

Копырин прибежал домой запыхавшись. Наташа спала, раскрасневшись, во сне она судорожно вздыхала.

«Все благополучно. Но куда же промчался автомобиль скорой помощи, и почему я его испугался? Какое, в конце концов, отношение имею я, Андрей Копырин, к этому черному, похожему на ботинок авто? Ах, это простонапросто нервы. Нехорошо!»

Он не верил, что жена взяла с целью воровства. Все это вышло по ее глупости. Но от этого не легче. Директор, вызвав к себе в кабинет, катего-

рически заявил, что его увольняют и что он завтра может притти за расчетом.

Подал заявление в РКК.

И опять, вспоминая, как это случилось, Копырин не раздеваясь сел на кровать и уткнулся подбородком в колени. В это время Наташа, повернувшись и собирая губами слюну, хлюпнула. Взглянул на нее: к вспотевшему виску прилипли волосы, а у раковины уха — присосавшийся клоп. Отвернулся, смутно понимая, что начинает ее ненавидеть.

Заснул Копырин, когда комната уже наполнилась молоком рассвета. Луч солнца вцепился в грани зеркала кровавыми полосками. Где-то ударил церковный колокол, зыбкие звуки которого наплывали волнами.

Проснулись поздно, с болью, с какой-то внутренней тяжестью, и пили чай, стараясь не глядеть друг на друга: было неприятно встречаться взглядами. Когда же Копырин собрался итти за расчетом, Наташа встала в дверях и еле слышно прошептала:

— Андрюша, прости. Я не хотела, я...

Он грубо снял со своих плеч ее руки и поморщился:

— О чем ты еще говоришь? Не понимаю...— И вышел.

Приехав на бойни, он начал бродить около забора, заходя в соседние переулки, оттягивая время расчета. Казалось — расчет будет еще тяжелее, несносней.

6

Телефонный звонок судорожно забился, наполняя комендатуру дребезжащим звяканьем. Ямов, отложив газету, снял трубку.

— Комендатура. Да, комендант... Куда? А в чем дело? На втором загонном?.. Что? Да кто говорит?.. С восьмого поста? Что, что!?.. Я не пойму, что на втором загонном? Ну, ладно, хорошо... Да, да, сейчас вышлю. Пока.— И Ямов, повесив трубку, обратился к контролеру: — Скорей иди на второй загонный; там что-то случилось: кража, кажется. Иди, а я пока буду выдавать пропуска...

Африкантов молча, не торопясь, отдал карандаш и вышел. Изнутри его давила какая-то пустота; знал, — это вчерашнее пиво, Маруська. Не раз он давал себе слово оставить ее, а все-таки шел, наперекор брезгливости, шел, чтобы унизиться перед самим собой, чтобы после издеваться, изводить себя сознанием, что стал ниже, безнравственнее.

Выйдя за ворота боен, он остановился, вздернул ворот пиджака и ускорил шаги.

У первого загонного двора Африкантова встретил грузчик:

— Сюда, в этот проулочек. Бежим скорее. Прямо беда, полчаса ожидаем. Целая туша, понимаешь!

Лицо грузчика — в морщинах.

Завернув в проулок между загонными, Африкантов остановился: впереди никого не было.

— Где же туша?

— Тут вот, сейчас за выступом...

Пошли тише: Африкантов — сзади, смотря, как у его провожатого с каждым шагом вздрагивают икры.

У выступа грузчик задержался, пропуская контролера вперед, а когда Африкантов, пройдя несколько шагов, оглянулся, — увидел оскаленный смуглый рот, влажные желтые зубы и — крюк.

Сзади кто-то, подставив ножку, ударил его по шее, и Африкантов, вжимая голову в плечи, вытащил наган и старался взвести курок, но большой палец при нажиме все время соскальзывал. Кто-то ударил его кулаком по переносице и сверху, чем-то острым, по черепу. Револьвер звякнул о булыжники, и, шатаясь, Африкантов попятился, силясь рассмотреть лица, но не мог.

Падал упрямясь. Он не чувствовал боли, только глухие звуки удара доходили до его сознания. И он медленно, с трудом, подумал: «ведь так, черти, еще убьют».. Но сейчас же все забыл, впав в беспамятство.

Потные грузные люди кончили бить сразу, как и начали. Отвращение к избитому перешло в страх: было жутко от кровавых, лопающихся из носу пузырей, от шевелящихся пальцев, теперь уже слабо ласкающих булыжники.

Кто-то крикнул:

— Бежим!

Но рыжий остановил:

— Нельзя. Ежели очнется — выдаст. Меня знает, да и вас тоже. Ты ведь только вчера еще попался!

— Не-е, струсит...

— Держи карман шире — струсит! Ходу не даст, знаем мы этаких-то...

— В колодезь его, на биологичку!

— В сам деле, даешь! Там без нас вонь доканает. Тащим, ребята...

Подошли и, прикрыв Африкантова засаленным, заскорузлым плащем, потащили к шоссе, где была проведена от боен своя канализационная линия на биологическую станцию, обезвреживающую фильтрами рабочую воду.

Омертвевшее, избитое тело контролера выскальзывало и гнулось. Кто-то пошутил:

— Еще, видно, просит. Ничего, милый, сейчас мы тебя спустим.

Шоссе. Навстречу, с немного приподнятыми плечами, поворачивая медленно голову, как бы что-то высматривая, шел Копырин.

Поровнявшись с грузчиками, он остановился.

— Здорово, ребята.

Замешкались, но в это время худой, с впалыми глазами, выйдя вперед, вызывающе ответил:

— Здорово. Что это ты здесь прогуливаешься?

— Да так себе, от нечего делать.

— Ну и проваливай, канай не к нашей матери...

Копырин слабо усмехнулся, он понял, что ему погрозились, и почти безвольно проговорил давно заученную фразу:

— Хорошо вы поете, только — интересно — где вот сесть придется...

— Ты у нас еще погавкаешь...

Положив Африкантова у канавы, грузчики обступили Копырина, а он, стараясь выйти из рычащего кольца грозящих ему лиц, разглядывал шевелящегося под плащем человека. Копырин даже отшатнулся, увидев зеленоватое от припухших отеков лицо Африкантова, и инстинктивно приподняв кулак, словно для убоя быка, задыхаясь, проронил:

— Так это вы его, вы!

Худой, отклонившись от удара, прыгнул к Копырину и повис на нем, но тот мотнул головой, тряхнул плечами и, сбросив с себя худого, завертелся вставшим на дыбы конем среди ловящих его с хриплой ненавистью людей, сшибая их с ног и падая.

Копырин дрался не с целью защитить контролера, который вчера еще уличил его жену. Он дрался против закладок и крюков, тянувшихся к нему.

Когда начались свистки — в тот ли момент, как он их услышал или раньше, когда собралась толпа — Копырин не знал, не заметил. Он знал, что одному переломил руку, что ему в плечо, около лопатки, всадили нож, он знал, что надо защищаться.

Вдруг перед ним вырос Африкантов: он бежал, как пьяный, падая вперед, и наотмашь, широко размахнувшись, старался ударить Копырина. Копырин зажмурился, пригнулся, и кулак Африкантова резко шлепнулся по лицу стоявшего рядом милиционера. Больше Копырин ничего не видел: кто-то серый душно убаюкивал его, лишь до слуха доползла бесцветная спокойная фраза: «И ты туда же»...

А вечером — в комендатуре, в комнате телефонистки, Копырина допрашивал участковый:

— Кто был еще с вами?

— Я один.

— Признаете ли вы себя виновным?

— Нет.

— Почему же те двое говорят, что именно вы били, а они, идя на обед и увидев вас, заступились?

— Как то-есть — двое? Их было не меньше шести, и они несли его по шоссе, а я в это время им встретился...

— А вы где живете?

— В центре.

— Каким же образом вы очутились на шоссе?

— Я просто прогуливался.

— Причина вашей прогулки, цель ее?

Копырин замешкался. Нервы перетянуты болью, и движения наперекор желанию — неровные, прыгающие.

— Никакой цели, просто гулял.

— Хорошо. Но почему в таком случае при милиционерах Африкантов старался ударить именно вас?

— Право не знаю. Повидимому, он не соображал, что делал...

Участковый усмехнулся:

— Итак, вы говорите — их было человек шесть? Фамилий их вы не знаете?

— Нет. Но почти все были грузчики.

— Указать их вы нам не сможете?

— Думаю. Хотя, навряд ли!

— Напрасно... Значит, вы утверждаете, что вы Африкантова не били?

— Да, не бил.

— В таком случае расскажите, как было дело.

Начал говорить — путаясь, заикаясь. Участковый что-то записывал, изредка почесывая концом ручки между бровей.

— Минуточку, — остановил он Копырина. — Вы говорите — он был прикрыт плащем какого-то грузчика?

— Да. Плащ, кажется, остался.

Участковый подошел к двери:

— Товарищ Эльянов!

Вошел полный милиционер с кронциркулеобразными ногами:

— Слушаю, товарищ участковый.

— На месте драки вами был обнаружен плащ?

Милиционер посмотрел на потолок, как бы прислушиваясь, и сделал шаг назад:

— Кроме как на задержанных не оказалось, товарищ участковый.

— Так. Можете итти, товарищ Эльянов. — Помолчал, достал папиросу и, разминая табак, прикусил нижнюю губу и медленно процедил: — Как видите, товарищ Копырин, показания не сходятся. Ну-с, продолжайте дальше.

7

Наташа металась. Муж находился два дня под арестом и только сегодня вернулся.

Поздоровался броско, не сказав ни одного лишнего слова, не подойдя к ней; и она, сдерживая слезы, выбежала в уборную и там заплакала: «Ах, зачем я сошлась с Андреем, зачем сошлась».

Ей вспомнились их первые встречи, когда Копырин первый подошел к ней без мягких и теплых пожатий руки. В его словах, в действиях не было того «культурного» наигрыша, «ухаживания»: он резко и прямо говорил ей, что любит ее, и несмотря на то, что Наташа уделяла больше внимания его товарищу, чем ему, он был настойчиво уверен в себе, и с первых же дней как-то странно она подчинилась его силе.

В ней не было чувства страха к нему, было что-то другое — только похожее на страх, и она не могла долго протестовать; как женщину, он

привлек ее красивой силой, и лишь позже — смутно — Наташа начала понимать, что Копырин — человек не ее тона, что он внутренне грубоват.

Постепенно, вспоминая прошлое, она перестала плакать: лезвие обиды притупилось, и только ноющая резь под ложечкой, какая-то сосущая боль мутила Наташу и, успокоившись, она стала искать оправдания перед мужем.

Из состояния задумчивости ее вывел дергающий за ручку двери жилец. Она расслышала, как он ругнулся:

— Чорт знает что, заснули там что ли!

Выждала, когда тот отошел, и выбежала с желанием помириться, успокоить Андрея, сказать ему, что все пройдет и что она его еще любит.

А Копырин в разорванной косоворотке лежал на кровати и глядел в раскрытое окно на голубой кусок неба, по которому одуванчиком плыло небольшое облако; белок разбитого глаза, подживая, темнел очищенной от кожицы вишней. Он ни о чем не думал, ему хотелось немного соснуть.

Вернувшись в комнату, Наташа, подойдя к Копырину, осторожно обняла его за шею. Он вздрогнул и, вскочив, закричал, мучительно приподымая брови:

— Ну, что тебе надо? Что тебе надо?

Наташа, опускаясь на кровать, хрустнула пальцами:

— Андрей!..

8

Как огромные белки, лампы-отражатели — в зеленоватых волокнах табачного дыма. Говор плотным гулом ворочается, колокольчик настойчиво-задорный, призывает к порядку, и председатель кричит, стараясь прервать шум:

— Товарищи, собрание не кончено. Мы должны разобрать дело Копырина, чтобы иметь свое мнение на показательном суде. Кроме того, от нас должен был выдвинут общественный обвинитель... К порядку, товарищи.

Постепенно гул растягивается, как зверь: ниже, ниже, и только у дверей все еще ерошится, ворчит.

— Слово имеет комендант Ямов, — говорит председатель.

Ямов подходит к столу и, пощипывая короткие усики, начинает:

— Перед нами, товарищи, факт неслыханного преступления: избит контролер почти до полусмерти. Оставлять это дело так, ничего не делая, ничего не предпринимая, не годится. Мы должны активно ответить на подобное явление... Каждый из нас стоит на страже социалистического строитель...

— И ты стоишь? — насмешливо бросает кто-то из толпы, и говор, смех опять поднимаются косматым зверем и виляют довольным хвостом.

— И я стою... — отвечает комендант, ища глазами прервавшего. Молодой слесарь с острыми красными ушами приподнимается:

— Где стоишь?

Ямов топчется на месте и под общий смех хмурится:

— Товарищи, довольно шуток. Все мы стоим на страже...

— Надо не стоять, а делать! — язвит остроухий слесарь. Ему аплодируют, поднявшийся председатель призывает к порядку, а Ямов, безнадежно отмахнувшись, отходит.

Слово просит высокий парень. Грузно ступая, он подходит к столу председателя и, тиская в руках кепку, показывает яркие десны с широкими плотными зубами.

— Товарищи говорить я — можно сказать — не умею, так што зубы промеж себя не скальте... На мой взгляд так: може, Копырин вовсе и не бил нашего ищейку — другие отдубасили, а може, и лупил. Тута трудно разобраться, потому Копырин, все знают, свой парень, хороший: никогда даже под мухой не залезал, чтобы значит по уху, а однако ж и ручаться тоже нельзя, потому бабу засыпали, так може — с обиды. А што касается мяса, так она, баба, не воровка, сразу видать. Я с евонной бабой по бойням ходил, показом займался; так хорошая баба, без гонору... И мяса она взяла — коту наплакать, с тютельку. Я кончил, товарищи... — И пошел, теряясь у дверей в толпе.

Следующий взял слово старший боец — коротконогий, толстенький сибиряк, член бюро партячейки. Говорил он торопливо, и слова, налезая друг на друга, кучно толпились:

— Товарищи! Копырин — старый боец, цехделегат, стало быть, доверие имеет, если выбрали. Воровал, когда и мы воровали; попался — один раз, теперь жена его. Здесь мы должны вести карательную политику — никому спуску! Хоть для цыпленка взял, все одно: для всех цыплят мяса нехватит...

— Птички мясо не кушают!

— Глядя какая птичка, а то так тебе налопается, и не обрадуешься... Но не в этом дело. Я про цыпленка для примера сказал... Все равно, сколько ни взял, а раз взял — крышка, вплоть до увольнения. А со стороны завкома — как он, да ведь еще и не он взял — следует к делу пришить... Насчет же драки — так мы не эксперты, а на роже не написано, чьими кулаками разукрашено... Теперь насчет общественного обвинителя: мое предложение — секретаря завкома Шубина...

Раздались хлопки, заглушая следующие слова...

Копырин, сидя в стороне, слушал и не понимал: о ком это говорят, за что и кому хлопают. Он рассматривал говорящих и старался вспомнить, когда он с каждым из них беседовал и когда видел в последний раз. Ему казалось странным: почему не увольняют, почему теперь, когда на него взваливают еще новое, большее обвинение, с ним возятся, ищут в его прошлом для него оправдания и вызвали на делегатское собрание. Даже директор задержал распоряжение о расчете и за час до собрания беседовал с ним, спрашивал о его семейном положении, а прощаясь, похлопал по плечу: «Ничего, Копырин. Мы еще разберемся. И если вы здесь не при чем,

то... — Он сделал внушительный жест и понюхал воздух. — Пока всего наидоброго, товарищ Копырин. Главное — не волнуйтесь...»

Последним взял слово председатель собрания. Он придерживался мнения старшего бойца. После слов председателя начались предложения.

В первом, выдвинутом завкомом, говорилось об об'явлении Копырину за кусок мяса общественного выговора с занесением его по профлинии в личное дело, предоставив администрации поступить, как она найдет лучшим. По отношению же к драке — пока до суда воздержаться от всяких решений, выдвинув от себя в качестве представителя Шубина.

Второе предложение внес Ямов. Он требовал немедленного увольнения Копырина.

Слесарь с острыми ушами выступил с третьим предложением, сформулировав его так:

— Делегатское собрание боенского куста [1] считает возможным оставить Копырина на работе в качестве бойца, об'явив ему как через завком так и административным порядком выговор с предупреждением об увольнении.

Начали обсуждать каждое предложение в отдельности. Против предложения завкома говорил слесарь:

— Оно, пожалуй, и все правильно, и Шубин тоже хороший партиец, честный. А вот, что касается — как это вы там — ну, насчет администрации, то так, ребята, не годится, потому, что... — Он говорил горячо, рассуждая жестами.

В защиту предложения завкома поднялся рабочий фрейбанка, варивший парами в особых котлах зараженное туберкулезом и другими болезнями мясо, выбрасывая его на рынок уже обезвреженным.

Но в то время как высказывался рабочий фрейбанка, подошел Ямов:

— Я в порядке ведения собрания, товарищи. Пришли двое грузчиков, свидетели избиения. Так вот, давайте не замазывать, дадим им слово: тогда яснее нам будет, что это за тип, Андрей Ко...

И снова гул, крики: «Давай их сюда!» «Даешь им слово!» — прервали Ямова, и долго бессильно трепетал в воздухе колокольчик.

Копырин поднялся. Бледный, шатаясь, он уставился на пришедших грузчиков и надрываясь что-то им закричал. И шум, словно это был шум машины, окончился сразу, по какому-то неведомому знаку, каким-то механическим способом, выключившись как электричество, и неожиданная напряженная тишина была неприятной, неестественной.

Копырин кричал:

— Значит, что же, выходит по Ямову — я преступник! Значит, я, Андрей Копырин,— зверь, вор, а вы, грузчики и все остальные,— святые! Значит, по вашему, если моя тетка забеременеет, так рожай я!.. Кто докажет, что избил контролера, а? Почему мне не верите, почему?..

---

[1] Собрание боенского куста—собрание всех производств, находящихся на территории боен.

Резкий, в два пальца, свист разрезал воздух, и все, вздрогнув от неожиданности, повернули головы в сторону дверей, где шла уже возня: кто-то вырывался и, надрываясь матом, расшвыривал ногами хватающих людей. Толпа вокруг отбивавшегося становилась все плотнее и больше. Многие вставали со своих мест и втискивались в образовавшуюся кучу тел; даже председатель, бросив на стол звонок, побежал узнать, в чем дело, и скоро собрание, почти целиком, вырвалось на двор и потекло к комендатуре.

9

Африкантов пришел в себя ночью в больнице. Попробовал сесть, но не смог: резь в пояснице потянула обратно, — и он, прикрыв глаза, начал тихо насвистывать.

К нему подошла фельдшерица. Она заметила, что Африкантов очнулся, и, поправляя одеяло, мягко сказала:

— Вы бредили и, — улыбнулась, — ругались...

— Ругался при женщине, нехорошо...

Спросил, сколько времени.

— Два...

Отшатнувшись в прошлое, мысль покатилась дальше, под уклон к детству, и он стал говорить ей об одиночестве, о грубости создавшихся условий, о мечте учиться, о том, что все хорошие желания приходят тогда, когда они уже невозможны, и о том, что на бойнях воруют в большинстве не от нищенства, а ради водки.

Он говорил и, не заметив, приподнялся, взял ее тонкую, стройную руку и, пожимая ее, заплакал, смеясь сквозь слезы:

— Ведь этакий осел — разревелся, что бугай. Право, досадно, не умею держать себя...

Фельдшерица, слушая, осторожно высвободила руку.

В четыре Африкантов заснул крепко, не видя сна, как спят сильно уставшие люди.

На третьи сутки его выписали, и, не заходя домой, Африкантов отправился на бойню.

Он нарочно вошел во вторые ворота, стараясь не встречаться с рабочими. Чувствовал, что на него смотрят с каким-то любопытством, словно он стал новым, необыкновенным.

Проходя утильзавод — своего рода крематорий, где, однако, сожженные трупы превращаются не просто в пепел, а в так называемую мясокостную муку, употребляемую в корм птицам,— Африкантов встретил слесаря Бабушкина, который, сожмурив светлые глаза, цвета осиновой коры, пожимая ему руку, торопливо хохоча, заговорил:

— Как живем-дышем? Как наши синяки, ссадины? Ха — уморил! Понимаешь, если бы меня не вызвали на биологичку, капут бы тебе, брат.

Пришлось бы нам вашу милость в человеческий утильзавод с маршами отправлять... Ну, а как — ты знаешь, кто лупил-то тебя?

Африкантов, откидывая ногой валявшееся коровье ухо, поморщился:

— Одного, рыжего и... чорт их знает. Право не помню.

Бабушкин выругался:

— Это паршиво. Обвиняют, понимаешь, Копырина. А мне думается — зря! Его самого в тот раз грузчики отмутохали...

— А, все они хороши! В том числе и твой Копырин. Силы в руках — во, а здесь, в груди — с мизинец... Ненавижу я их!..

— Врешь! Я Копырина не первый день знаю. Врешь, товарищ контролер. — Слесарь похлопал Африкантова по плечу: — Ты вот приходи сегодня на делегатское собрание боенского куста. Будет доклад о работе производственных совещаний и о Копырине. Парня режут, понимаешь. — И Бабушкин торопливо, будто подпрыгивая, пошел к салотопенному заводу, приземистому, одноэтажному зданию, откуда шел пряный, удушливый запах шкварок.

Африкантов смотрел вслед худощавому слесарю, большие уши которого смешно, как круглые крылышки, торчали из-под кепки, и думал: «В самом деле, кто меня бил?»

Весь день Африкантов пробыл в конторе, дожидаясь заполнения больничного листка, а потом сидел в комендатуре, разговаривая с пожарными. Он забыл про собрание и лишь случайно, когда кто-то упомянул о его драке, вспомнил и побежал в контору, в зал заседаний.

На лестнице, подымаясь к залу, Африкантов натолкнулся на телефонистку; та, с каким-то особенным наслаждением оглядев его, поздоровалась. Он подымался, продолжая смотреть вслед уходившей телефонистке, и у самых дверей, все еще оглядываясь, попросил посторониться столпившихся рабочих.

Кто-то, вырываясь из гущи стоявших, испуганно крикнув: «Смотри, контролер!» — выбежал из зала, и Африкантов увидел рыжего.

— Стойте! — крикнул он, хватаясь рукой за наган. — Стойте, буду стрелять!

Двое, прижимаясь к стене, крались к выходу. Несколько бойцов обернулись к ним, и через несколько секунд на площадке лестницы поднялась возня: двое — рыжий с грузчиком — вырывались из цепких рук собравшихся вокруг них рабочих.

В комендатуру ввалилось человек двадцать. Участковый, возмущаясь, просил:

— Товарищи! Да нельзя же так. Будьте добры, выйдите. — И, обращаясь к первому попавшемуся рабочему, обиженно прищелкивая языком: — До чего же бестолковы мы, ужас!.. — Потом, глядя на рыжего он открыл рот, словно собирался произнести насмешливое: — «Э-э!», но только усмехнулся, проговорив: — А вы, дорогой мой заступник избиваемых, извольте-ка в эту комнату...

10

Поздно вечером вышел Копырин с боен. Воздух, после дождя словно парной, бодрил его и будто теплыми ладонями разглаживал кожу лица.

Он шел к трамвайной остановке и думал про жену, про Африкантова, но мысли скользили поверху.

У остановки его встретили несколько бойцов. Они улыбнулись Копырину, а один, похлопав его по плечу, с дружеской иронией сказал:

— Ну, как, герой, дела? Завтра, говоришь, опять на работу заступаешь?

Смеялся растерянно, стараясь быть ласковым со всеми, чувствуя бесконечную силу: его оправдали, и дело с куском мяса было почти улажено.

Подошел Африкантов.

Бойцы, увидев контролера, как-то сразу примолкли, и теперь шутили отрывчато.

Копырин пристально взглянул на скуласто-спокойное лицо Африкантова и в узком прорезе его насмешливых глаз уловил тоску.

Встретившись взглядами, они смутились и, поздоровавшись, старались найти завязь беседы, но не находили ее, и только когда подошел трамвай, Африкантов, влезая, прокричал:

— Ты, Копырин, требуй, чтобы тебе администрация за прогул заплатила!..

Копырин пропустил этот трамвай. Хотелось побыть одному, успокоиться от всего пережитого, хотелось не беспокоить себя разговорами с другими, сохранить лучистую радость для встречи с Наташей. Мысль о разводе теперь угасла.

Приехав домой, Копырин с силой нажал кнопку звонка, прерывая вздох. Ему отпер сонный щетинистый жилец, дыша винным перегаром. Пропустив Копырина, он подал ему ключ от комнаты:

— Наталья Александровна просила передать вам, — они уехали-с.

— Куда?

— Ничего неизвестно, подробностями не интересовался. — И повернувшись на каблуках, как бы по команде, жилец тяжело затопал по коридору.

Копырин, волнуясь, отпер дверь и порывисто распахнул ее. Пустая комната дохнула на него холодом, подушки были без наволочек, стол без скатерти, и на нем — письмо.

Нервно распечатал. Глаза спешно вбирали размашистые буквы:

«Андрюша, четыре вечера я мучилась, думала — мы найдем старую дружбу, любовь, но ты сам не хотел этого. Три раза я подходила к тебе, но ты оставался грубым, чужим.

Я не виню ни тебя, ни себя. Я привыкла с детства к ласке, а ты... По-видимому, кусок мяса нас подвел с тобой к той грани, откуда идет про-

пасть, это — наше воспитание. Ты более примитивен, чем я, более груб. Я не знаю, можем ли мы еще любить друг друга, а если и можем, то — как?

Прости меня за такую спешку, но иначе я не могла. Я уезжаю к брату в Ленинград.

Твоя Наташа».

Копырин скомкал письмо, хотел бежать на вокзал, остановить ее, но раздумал: «Зачем? И разве она меня любила?»

Заметил на стенке забытую ею открытку кино-актера и, сорвав, с силой швырнул ее на пол.

Красношерстный кот, выскочив из-под кровати, кинулся на упавший желтоватый квадрат картона и, понюхав его, прыгнул на стол.

Январь 1929

Анна Калымова

А. Поповский

(Роман)

Часть первая

В морозный февральский день к широкому крыльцу Курского вокзала под'ехали извозчичьи сани с большим чемоданом на облучке. Не успел еще носильщик сойти с места, как из саней выскочила среднего роста женщина лет тридцати, в короткой дохе из сайгачьего меха, и, подхватив чемодан, легко понесла его. Пока буфетчик подавал ей чай, она сняла свою обшитую каракулем шляпу, провела гребешком по подстриженным волосам цвета льна и стала просматривать газету. Время от времени голова ее судорожно вздрагивала, края губ подергивались, и черты лица мучительно искажались. Проходило несколько секунд, судороги прекращались, и лицо принимало прежнее выражение.

Прежде чем выйти на перрон, женщина остановилась у киоска, купила несколько журналов и роман в яркой обложке и направилась к дверям. В вагоне было тесно. Рядом на скамье сидел угрюмый мужик, то и дело расчесывавший пятерней свою большую рыжую бороду, у окна девушка-молочница, с бидонами из-под молока, жевала хлеб и гремела посудой. На противоположной скамье две женщины в одинаковых платках о чем-то шептались, и часто покрякивала старушка в ветхом бурнусе.

Женщина сняла доху и шляпу, поставила чемодан на верхнюю полку и негромко обратилась к молочнице:

— Я очень люблю это место у окна, уступите его мне.

Девушка перестала жевать и уставилась на соседку, затем быстро проглотила хлеб и спросила:

— А бидоны мои не будут вам мешать?

— Нет, нет... спасибо...

Мужик неодобрительно взглянул на висевшую доху, покосился на соседок и отодвинулся, чтобы дать женщинам разойтись.

— Чего несет тебя,— буркнул он, когда молочница села,— на месте не усидишь. Дура!

Девушка развернула бумажку с маслом и, не обращая внимания на своего соседа, продолжала есть.

Где-то далеко прогудел паровоз, и поезд тронулся. Медленно отодвинулась платформа с людьми, отошли железнодорожные здания, и замелькали вагоны на запасных путях. В вечернюю мглу уходили колокольни, главы церквей, радиомачты и шеренги фабричных труб. Внизу под мостом пробежал трамвай, мелькнул каток со скользящими по льду парами. Из-за крыш складов и фабрик ажурным полотном потянулись оголенные кроны деревьев. Город отступил, и нагрянула снежная степь.

Угрюмый мужик, перегнувшись к бабам, громко рассказывал:

«Прислали к нам позалетошним годом учительшу. Городская, известно какая,— грех, что божусь, а в дом такую паскуду не впустил бы. Сама с земли чуть поднялась, голова чисто обстрижена, юбчонка выше колен, смотреть тошно, упрется в книжку или газетку, обухом не дозовешь, а уж махорку тянет не похуже мужика».

Он взглянул на сидевшую у окна женщину, чему-то усмехнулся и продолжал:

«Ребятки ее хоть и полюбили и дело она свое знала, а нашим не по душе пришлась. Сперва думали, сама сбежит: деревня у нас глухая, народ озорной, за пять верст большака не увидишь,— нет, смотрим, сидит. Думали нашу учительшу — дьяконову дочку — заместо вертихвостки посадить, не трогается. Пробовали девку пугнуть, а кто посмелей — матюкнуть, — ничего: скалит зубы, и все. Другие попривыкали, за ручку с ней, а я как увижу ее,— ровно нечистого обойду, видеть не могу»...

Молодая женщина оторвалась от окна, внимательно посмотрела на мужика и стала прислушиваться. У нее было полное смуглое лицо, крутой подбородок и большие синие глаза. Она не была красива: нос ее казался не в меру широким, губы слишком полными, голова чуть сплюснутой у висков, но при первом же взгляде на нее как бы ощущалась ее внутренняя сила и крепость мышц.

«Теперь их сколько хошь шляется,— пренебрежительно махнув рукой, продолжал мужик,—в городе дураков мало, не берут их: кому охота такую сватать; они в деревню и подались — к мужику. Он, дескать, не разберет, все с'ест... Нет, брат,— ехидно подмигнул он,— на этом деле мы стреляны».

— Это верно,— поддакнула одна из баб, складывая на животе руки.— Уж что и говорить, пользы с них мало.

Молочница стукнула бидонами и, закрыв рот рукой, прыснула со смеху.

— А ты чего! — огрызнулся мужик, — тоже небось из таких?

Девушка низко склонилась над едой, изредка бросая взгляды по сторонам.

— Чем же вам учительница не понравилась?— спросила сидевшая у окна женщина.

Мужик недружелюбно взглянул на доху, словно вопрос исходил от нее, и ничего не ответил.

— Вы не сердитесь, что я перебила вас,— мягко продолжала она, откладывая в сторону газету,— меня очень заинтересовал ваш разговор.

— Не нравится, и все,— оборачиваясь за сочувствием к бабам сказал мужик,— что, не так?

Бабы молчали, но в глазах каждой можно было прочесть примерно следующее: «Не отступай, добрый человек, при случае и мы поддержим».

— Экий медведь,— вмешалась молочница, стряхивая с себя крошки хлеба,— к нему человек от души, можно сказать, обращается, а он...

Мужик устремил на нее свирепый взгляд и гаркнул:

— А ты, соплячка, молчи! Из земли не выросла, а других учить лезет... «За что, да почему не нравится»,—кривляясь и смешно выпячивая губы, передразнил он девушку.— Эка невидаль, крашеные морды, тьфу!

Поезд подошел к большой станции, постоял немного и двинулся дальше. За окном полетели светляками искры, защелкали под колесами стрелки, и на крутом косогоре развернулся город. Огни, синие, красные, зеленые, ослепительные и тусклые, звездами осыпали его. Город уходил, сияя витринами, окнами фабрик и светлыми уличками. Поредели бледные огоньки домов, пронеслись каменные заборы, и снова — поле. Закружилась снежная пустыня, потянулись одинокие избенки с мигающими оконцами и частоколы елей, закрывающие белое поле.

— Хотите, я вам газету почитаю,— неожиданно предложила молодая женщина.

Бабы мельком посмотрели на нее, переглянулись и ничего не ответили. Мужик погладил меховую оторочку шубы, нахлобучил шапку и, пожимая плечами, ответил:

— Читайте, послушаем...

Через некоторое время между сидевшей у окна пассажиркой и крестьянином шел уже оживленный разговор:

— Земли у нас больше чем надо,— уверяла она его, поднимая и опуская кулак, словно пригвождала им каждое слово.— На едока у нас в два, а то и в три раза больше приходится, чем за границей... И неплохая она у нас, в других странах земля похуже, а родит лучше нашего чернозема. И погода у нас не плоха, сами мы во всем виноваты. Поле унаваживаете? — неожиданно спросила она, устремив на своего собеседника строгий взор.

Мужик сдвинул на затылок шапку, почесал переносицу и несмело ответил:

— Как же. Другой раз возов десять, а то и больше свалим.

— А ради чего землю унаваживаете — не знаете. Вам ведь что? — селитра нужна, а посеяли бы клевер, до четырехсот пудов сена собрали бы, и все равно, что сто пудов навоза свалили. Вот вам и богатство: кормом богаты, землю удобрили и безо всякого лен, просо, что хотите, сейте.

— Это мы слышали...

— Слышали? А семена сортируете? Нет. Пока не научитесь семена травить, нищими будете. Что касается болота вашего, его осушить надо, дренажные работы проделать. Камня у вас много?

Под ее строгим взором и градом слов мужик смущался, беспомощно разводил руками и глазами упирался в пол.

— Да говорите же,— камень есть?— нетерпеливо повторяла она вопрос.

— Есть этого добра, сколько хошь...

— Значит дело у вас в руках. Пригласите специалиста и собственными силами управитесь. Сразу несколько сот гектаров получите, да еще каких. И не верно, будто у сыновей теперь больше прав, чем у отцов. По нашим законам дети обязаны уважать родителей, до смерти одевать и кормить своих стариков. Иначе их заставить можно. То ли было раньше!

Несколько минут оба молчали. В вагоне сразу стало тихо. Колеблющийся огонек стеариновой свечи затягивал тенями стены, бледной искрой отражаясь в окне.

— Теперь скажите, почему вы не любите учительницу вашу?— добродушно улыбаясь спросила она.

— За что же ее любить?— недоумевал мужик,— не по мне она. Не лежит к ней мое сердце, и все.

— Это я понимаю, но почему? Оттого ли, что она городская, или потому, что дурно ведет себя?

— За это самое и не люблю... Сами посудите, с нее всему селу бы пример брать, а выходит срамота одна... Того и гляди — девки от рук отобьются, по кривой дорожке пойдут. Нет уж, милая, к мужикам приехала, по-мужичьи и живи. Про вас ничего не скажешь,— разглядывая ее с ног до головы, смелее заговорил он,— одежей вы ничего, шубка не наша, ну уж не без того...

Он взглянул на доху, пощупал ее и спросил:

— Много отдали?

— Мне друзья ее из Сибири прислали.

— Ну вот,— он кашлянул, всунул руки в карманы и глубокомысленно добавил: — подарки присылают, значит любят...

Когда она вернулась после умыванья, мужик ближе придвинулся к ней и несмело заговорил:

— Вы вот, я вижу, все знаете: и по нашему крестьянскому делу, и про всякое другое,— хотелось бы вашего совета спросить. Дело есть.

Заключалось это «дело» в следующем. Десять лет назад он усыновил двухлетнего сынишку пастуха. Отец-пьяница никогда ребенком не занимался и даже на глаза не показывался. Теперь он грозит отобрать сына и под этим предлогом вымогает у приемных родителей деньги. Мужика интересовало: на чьей стороне право? Если на стороне пастуха, то лучше потерпеть, так как мальчонку он любит, как родного. Если же закон против пьяницы-отца, он — приемный отец — порвет с пастухом и прогонит его при первом же случае.

— Вот вы и скажите,— закончил мужик,— кого из нас суд уважит?

Женщина, не подумав, ответила:

— Никого.

— Как так? — удивился он,— никого?

— Никого,— повторила она.

Он перегнулся к ней, чтобы убедиться, не шутит ли она, и тревожно спросил:

— Куда же они мальчонку денут?

— Судьи оставят ребенка там, где ему будет лучше.

— Чем же ему у меня плохо?— горячо заговорил мужик, словно он стоял перед судом: — хозяйство у меня хорошее, детьми бог не благословил, а тот сукин сын бабу в гроб загнал, сына за ничто отдал, пьянствует, по чужим людям побирается...

— Значит, дело верное, ребенок ваш.

— Мой?

Крестьянин сиял; он с жаром стал рассказывать, как изводит его пастух, перечислял добродетели своей жены и с нежностью говорил о приемыше:

— Сам грамоте научился, рубанком, пилой, молотком управляется, с какой хошь работой справится. Хозяин, каких мало... Ну, спасибо, что успокоили, на душе отлегло... А вы давеча спрашивали про учительшу,— вдруг вспомнил он,— возьмем к примеру вас, хоть вы и не наша, городская, а прямо как мужик, и говорить приятно. Вы, может, яблочко скушаете, у меня свои, непокупные...

Он выбрал большое яблоко и, держа его кончиками пальцев, подал своей собеседнице. Женщина откинулась к стенке сиденья и задумалась. Целый месяц уже занимал ее вопрос: каким языком заговорит она с этими бородатыми людьми, суровыми, упрямыми и не в меру серьезными. Как одеваться, двигаться, обращаться с ними, чтобы заслужить их доверие? Сумеет ли она высказать им свои надежды и опасения? Первая встреча ободрила ее: крестьянин, видимо, поверил ей, но где уверенность, что в дальнейшем пойдет так же? Ведь она не может даже об'яснить, каким путем ей удалось расположить к себе мужика. Знать тайну покорять сердца, разве это не счастье? Что если поискать те слова, что легли гранью между его неприязнью и расположением к ней? Она напряженно перебирала в памяти каждое слово, произнесенное ею, вдумывалась в содержание беседы и мысленно следила за выражением лица крестьянина. Временами ей казалось, что она на верном пути, еще несколько напряжений мозга, и она разрешит волнующий ее вопрос. В эти минуты воображаемая грань овеществлялась и напоминала ей горную вершину, уходящую в облака. Вначале едва проступали ее контуры, затем они медленно таяли и, покрытые мраком, растворялись в нем.

Мысли женщины приняли другое направление. Она отчетливо увидела учительницу, о которой мужик рассказывал, долго разглядывала незнакомку и мысленно осудила ее. Платье, манеры, движенья и козья ножка, торчавшая изо рта — вызвали у нее неприятное чувство. «Нехорошо, бестактно,— несколько раз повторила она про себя,— нужно отказаться от всего, что кажется чуждым деревне... Нельзя, возбудив ненависть, ждать доверия». Через несколько минут она уже думала, что городская культура кажется крестьянину не менее предосудительной, чем короткая юбка и уроки гимнастики.

Мужик собрал узелки, встал и, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, произнес:

— Ну, прощайте...

Он несколько раз брался за шапку, перекладывал багаж с правой руки в левую и, пятясь, раскланивался. Она взяла его за руку, крепко пожала и сказала:

— Счастливо оставайтесь... Учительницу не обижайте...

— Спасибо. Не обижаем, это я так, про себя... Прощайте.

Поезд остановился. Кондуктор буркнул название станции и, оставив после себя запах овчины, стукнул дверью. В задернутое тьмой окно глянул бледный свет керосиновой лампы, послышались голоса толпящихся пассажиров, и пахнуло холодом.

Женщина вышла на перрон. Маленькая станция, занесенная снегом и мраком, едва заметно оживилась. Мелькнуло несколько фонариков; показалась сонная фигура дежурного по станции; выпятив грудь, прошел «главный». За освещенным окном телеграфа видно было, как томительно медленно тянется лента и вздрагивает на аппарате рука телеграфиста. Белая пороша густо облепила заиндевелые стекла, затянула раму и толстым слоем легла на подоконнике. Протяжно звякнула медь, и паровоз, слабо крякнув, тронулся. Снова замелькали снежные поля, окрашенные бледной синевой, и блеснула застывшая луна. Омертвелая равнина, скованная стужей, однообразная и бесконечная, как темный покров над лунным диском, монотонные щелчки колес о рельсы и мрачная завеса ночи — навевали тоску и уныние. В вагоне было тесно и душно. Люди спали на узлах, сидя покачиваясь из стороны в сторону, уткнувшись в угол, облокотившись о столик и склонив голову на плечо соседа. Полумрак напоен был звуками, слышалось ровное дыхание, храп, отрывистые всхлипывания и тихий, невнятный шопот.

Молодая женщина подняла полку, положила под голову маленькую подушечку и скоро уснула. Когда кондуктор разбудил ее, поезд стоял на полустанке. В промерзшее окно робко глянул синий рассвет. У деревянного здания, с темной облупившейся краской, мужчина в фуражке с красным околышем размахивал руками и что-то кричал. Она надела доху и вышла на площадку. Густой морозный воздух обдал ее, на мгновение захватил дыхание и скоро заиграл румянцем на ее щеках. В открытую дверь ворвался ветер, он шевелил ее платье, кружил выбившийся из-под шляпы вихор и колючими порывами студил руки. Со снежной пустыни отходила синева, в лесной чаще таял мрак, и серебристым блеском покрывались дали. Она ухватилась за поручни, высунулась за дверь и, подставив лицо ледяному ветру, закрыла глаза.

— Простудитесь, ветер какой злющий...

Женщина отступила от дверей, оглянулась и, увидев истопника, улыбнулась:

— Вы верхом ездили?

— Не приходилось, я фабричный.

— Жаль. Когда высунешься и крепко держишься за дверь, все равно, что галопом несешься.

Истопник, маленький человек с суетливыми руками, вытер пальцы паклей и с любопытством спросил:

— А вы верхом ездили? Женщине, должно быть, не того... не удобно.

Он хихикнул и подставил ладонь трубочкой к уху.

— Удобно, еще как... На войне не разбирают.

Поезд стремительно покатился под уклон. Поднявшаяся трескотня и грохот заглушили ее последние слова. Ветер застучал в окно, распахнул дверь и водоворотом закружился на площадке. Вагон раскачивало из стороны в сторону, колеса гремели на стыках и эхо несмолкаемым громом неслось вслед.

— Молодец машинист! — произнесла она над ухом истопника.— Смелый!

Он взглянул на ее блестящие глаза и писклывым голосом прокричал:

— Плохо кончит, запомните мои слова. Два раза его, упрямца, предупреждали. Выгонят, посмотрите...— Истопник глубокомысленно повел пальцем, словно хотел сказать: «Туда ему и дорога, чорту неспокойному...»

Стало светло. На ослепительно белой насыпи тающими тенями скользил дым, в мелькающих избенках погасли огоньки, и высунулся багровый краешек солнца.

— Далеко едете? — спросил он ее.

Истопник повернулся, и она заметила, что затылок его густо покрыт веснушками, а из уха торчат пушинки ваты.

— На первой остановке схожу.

Увидев ее с чемоданом в руках, он сделал движение помочь ей, но она слегка отодвинулась:

— Не надо, я сама.

У паровоза она остановилась, взглянула на высунувшегося из окна машиниста и улыбнулась. В буфете было грязно и шумно. Столы и стулья загромождали проход. На полу валялись окурки, об'едки, бумага и шелуха семечек. Всюду громоздились узлы, сундуки, корзины, и в повалку спали пассажиры. Люди с сонными лицами лениво потягивались, курили и грузными шагами двигались к прилавку и обратно. Все здесь было замызгано. Искусственные пальмы, серые от пыли и копоти, стояли на столе, покрытом грязной скатертью. Вазоны были полны окурками, бумажками и отбросами пищи. На медных канделябрах с незажигающимися свечами лежал густой слой зеленого налета. Стакан недопитого чая, коробки из-под консервов и огрызки хлеба не оставляли свободного места на столе. Со стен иронически глядели плакаты: «Воспрещается мусорить. Штраф один рубль», «Воспрещается отдыхать, лежа в буфете».

«Все по-старому,— удовлетворенно подумала молодая женщина, разглядывая зал первого класса.— Та же краска на стенах, потемневший и местами облупившийся потолок. Те же три портрета Ленина... Прибавился только шкап с книгами, вывеска: «Агентство печати» и вместо керосиновых ламп — одна большая газокалильная...»

Словно не замечая тесноты и грязи, она несколько раз прошлась по залу, разглядывая все уголки, надписи, афиши и мебель, затем вытерла бумагой краешек стола и попросила себе чаю. Затем, пропустив у дверей слегка покачивающегося парня в рваной шинели, молодая женщина вышла на перрон.

— Давно перекрасили вокзал? — спросила она, расхаживавшего по платформе сцепщика.

Тот махнул флажком и протянул:

— Давно.

«Вон там у тупика стоял эшелон,— продолжала она вспоминать,— по ту сторону депо — бараки, а в третьем классе был агитпункт».

— А баня здорово постарела...

Железнодорожник обернулся к покривившемуся зданию с каменными подпорами и неохотно произнес:

— Давно, видно, были. Вон рядом новая с навесом. В одно время с пакгаузом строили. Сгорел он у нас позапрошлым годом. А бане давно пора в отставку,— усмехнулся сцепщик,— она здесь с начатия века стоит.

Издали показался поезд.

По мере приближения к водокачке он замедлял движение, и казалось, что паровоз стоит на месте. На фоне утреннего неба белые клубы дыма принимали лиловый оттенок, алели и сливались с розовым небом.

Мальчишка-возница лет тринадцати, в длинной шубе поверх теплого пальто, заметив у дверей женщину с чемоданом в руках, бросился ей навстречу:

— Садитесь, сани самые первые, чего стали? Чего стали? Садитесь же, довезу в два счета.

— Мне на фабрику Дергачева,— сказала она.

Мальчик нахмурил лоб, обернулся и спросил:

— Как?

— На льно-ткацкую фабрику Дергачева.

Паренек задумался.

— Садитесь сюда, довезу,— крикнул пожилой возница в широком армяке.

Он схватил чемодан и сразу же подался всем корпусом:

— Тяжелый, а мне думалось — пустой... Вижу, легко несете,— оправдывался он, с почтением разглядывая пассажирку.— Вам в село Стеньково? Фабрика теперь не Дергачева, а Лассаля.

Возница напялил на нее тулуп и сел на облучок.

— Мы как — городом поедем или деревнями?

— Городом, городом,— кутаясь в меховой воротник, ответила она.

Мальчик, озлобленный своей неудачей, разразился упреками и бранью:

— Вы, гражданочка, на кобылку посмотрите, она трех верст не вытянет. В позалетошнем году ей пятый десяток пошел... Хромает она, ведьма, на все четыре, ей богу, правда... Поддерживать придется, увидите...

— Не верьте ему,— возражал возница,— это со зла. Кобыла первейшая, сами увидите,— и, словно, желая доказать, что лошадь действительно исключительная, он натянул вожжи, причмокнул и весело закричал:

— Господи благослови веселым гребешком печальную голову! Эй, козленок, козленок, вперед!

Козленок в яблоках, с большой гривой и крупом, закрывающим от седока половину горизонта, летел как вихрь, подымая тучи снежной пыли, а возница не уставал кричать: «Ну, маленок, беги, беги, лети, лети, родимый, показывай, показывай, прыгай!» Мелькнула девушка с коромыслом, пронеслись мачты радио, и деревня осталась позади. Побежали сосновые вехи, натыканные по краям дороги, и стоги клевера, покрытые снегом. Дорога резвилась, извиваясь между прогалинами, то проваливаясь в лощинку, то выныривая на холме.

— А чемодан верно, что тяжелый,— неожиданно вспомнил возница,— ровно золотом набит. Сильные вы... Может, вы из тех, что в цирках представляют? Приезжали к нам летошним годом, ловкие, черти... Одной рукой баба двоих мужиков выдерживала. Только, верно, и делают, что едят. Что, не так?

— Не знаю. Я в цирке не играю,— ответила женщина, еще более запахиваясь в тулуп.

— Вас на самую фабрику или в деревню свезти?

Она не сразу ответила:

— В деревню.

— К кому?

— А вы стеньковских знаете?

— Как же не знать. Сорок лет по соседству в Артюхине живу.

Женщина оживилась.

— Петра Калымова знаете?

— Калымова?..— Возница сдвинул шапку, словно она мешала ему размышлять и раздельно промычал:

— Что-то не слыхал. Он что, фабричный?

— Фабричный.

— Петька, Петька...— продолжал вспоминать возница, шевеля пальцами и почесывая себя за ухом.— Может, Илюхин? Бабу его не Анисьей звать?

— Анисья, Анисья,— неожиданно обрадовалась женщина.

— Так бы и сказали. Мы своих больше по прозванью знаем.

— Ну, как он, здоров? — торопливо спросила она.

— С чего бы ему болеть? сто лет проживет, бабка его все двести... А вы им что, родней приходитесь?

— Я сестра его. Зовут меня Анна, а по фамилии я Калымова.

Возница повернулся на облучке, засунул за ухо непокорный вихор волос и принялся вслух вспоминать:

— Сестра... Какая же это? Родная?

— Родная.

Он широко открыл глаза, вытянул руки, словно кто-то невидимый заслонил ему свет, и почти прошептал:

— Не та, что с красноармейцами ушла?

— Та самая,— улыбаясь ответила она.

— Бог ты мой,— всплеснув руками, завопил возница,— сколько тому ушло? Годов десять?

— Одиннадцать лет,— ответила Калымова, устремляя на крестьянина смеющиеся глаза.

Он стегнул лошадь и не меняя положения продолжал:

— Одиннадцать лет, одиннадцать... Подумать только. Вот уж радость, вот радость... вы письма писали?

— Нет.

Оттого ли, что радость была слишком велика, или ему хотелось скорее довезти девушку, возница еще раз хлестнул лошадь и закричал: «Ну, маленок, чорт полосатый! Ну, кобыла дохлая, ну!»

Дорога круто пошла вниз. Показались колокольня, главы монастырской церкви и, наконец, город. На базарной площади алело широкое полотно с надписью «Добро пожаловать. Да здравствует уездный с'езд советов», а чуточку дальше, у лавки пестрел лозунг: «Проклятье фашистам». Прямоугольный собор с широким крыльцом весь был утыкан красными флагами. Они торчали на колокольне, на главах, на крыше свечной лавки и на воротах. На ограде висел огромный плакат, и Анна успела прочитать на нем: «Бюллетень номер один... Предварительные результаты перевыборов... Явка 90%... Наказ... Единогласно... Закрыть казанский собор...»

— Сломали,— указывая на сброшенный колокол, сокрушенно покачал головой возница,— театр, говорят, будет...

Калымова не слышала его, глаза ее жадно ловили происшедшие перемены. «Как здесь все изменилось», подумала она. На лавках купцов Кленова и Корочкина висели вывески «Центральный рабочий кооператив». Там, где была мучная лавка Носкова, поместилось сельскохозяйственное товарищество «Коллектив». Улицы неслись одна за другой и она едва успевала узнавать их. На воротах беленького дома фабриканта Алтынова висела табличка «Ясли». Промелькнул дворец труда, исполком, и снова налетела степь. Город остался позади и дорога пошла между крутыми холмами. Плетни дворов, спускаясь со снежных вершин вкривь и вкось, переплетались как огромные змеи.

Небо прояснилось, и блеск снега стал резать глаза. Калымова зажмурилась. Высокий лоб ее покрылся морщинками, и, казалось, что она улыбается. У телеграфных столбов легли короткие тени. Каждый раз, когда сани от'езжали, они вытягивались и становились длинными. Анна ломала себе голову над этой загадкой и в то же время думала, что город ужасно изменился, словно после разгрома...

— Где же это вы пропадали? — не сдержав любопытства, спросил возница.

— А как вы думаете? — загадочно улыбнулась Калымова.

— Кто его знает... Может, самому Ленину помогали...

Он подмигнул, словно хотел сказать: «Чем чорт не шутит...»

— Работала я в ревтрибуналах и губсудах следователем, понял?

Крестьянин подобострастно взглянул на нее, покачал головой и тихо ответил:

— Понял.

Он вспомнил высокого широплечего человека с решительным видом и сердитыми глазами, приезжавшего много лет назад в деревню вести следствие, и недоверчиво усмехнулся.

— Вы, стало быть, и арестовывали?

Сама мысль об этом казалась ему дикой и невозможной.

— Арестовывала, когда надо,— спокойно ответила она, словно речь шла о самом заурядном деле.

— И допрос вели?

— Конечно.

— Значит, вам власть большая дана,— почтительным и вместе с тем недоверчивым голосом продолжал допытываться возница.

— Ха, ха, ха,— она смеялась звучным и раскатистым смехом,— была власть и нет ее. К своим еду, зачем она мне теперь?

Крестьянин повеселел. «Наверно пошутила»,— подумал он.

— Значит, бросили?

— Бросила.— Не переставала она смеяться.

— Навсегда? — Глаза его пытливо смотрели на нее, словно хотели из глубины ее сознания выудить правду.

— Не знаю. Думаю, навсегда. Хотите баранок,— вдруг спросила она, доставая из чемодана сверток,— возьмите, не люблю одна есть.

«Какой из нее следователь... Видали настоящих — те не такие»,— решил он, делая вид, что поверил ей.

Из дальнейшего разговора возница узнал, что она была на фронте, служила в кавалерии, жила в Сибири и надолго возвращается домой.

Дорога шла лесом. Порывы ветра стали сильней. Верхушки деревьев, покачиваясь из стороны в сторону, осыпались белыми хлопьями, как яблоня в цвету. Калымова пригнулась к вознице и тихо спросила:

— А что, Кандауров, женился?

Крестьянин исподлобья взглянул на нее и чуть-чуть усмехнулся:

— Женился, почитай, годков семь.

Она заметила улыбку возницы и решила его больше не расспрашивать. Лошадь бежала мимо высоких сосен, дерзких и могучих, как великаны. Изредка на пригорке из сугробов выглянет деревня, промелькнут избушки с окрашенными в яркие цвета фасадами, замысловато вырезанными наличниками и карнизами. Пронесется часовенка с четырьмя иконами за окошечками или покривившийся общественный амбар на краю села и снова кольцо соснового бора.

— Теперь, значит, только пять верст осталось,—сворачивая на шоссе, сказал возница.

— Ну, а Петр как живет? — не сдержалась Калымова.

— Ничего. Председатель фабкома он, кажись, у них, а жена ткачиха. Хорошо живут, грех сказать, детей только нет. Может, оно и к добру.

— Хотите еще баранок? — спросила она, передавая ему сверток.— Надоели.

— А вы что, замужем? — смущенный собственной смелостью, спросил крестьянин.

— Нет, засиделась,— пошутила Калымова, прикидываясь опечаленной.— Никто не берет.

— Вы скажете,— недоверчиво протянул он,— уж и детки, верно, есть.

— А у Кандаурова есть дети? — неожиданно вырвалось у нее.

Возница многозначительно подмигнул, потер руки и спросил:

— Это вы к чему?

— Так,— закрываясь воротником, чтобы скрыть выступивший на щеках румянец, сказала она.

— Было двое, да кажется, померли, болели долго. Баба крепко убивалась, думали, не выживет... Теперь страсть какая богомольная стала...

Из ямы вынырнула фабричная труба и показалось село. Лошадь свернула в узкую уличку и остановилась у дверей некрашеной избы. На воротах висела маленькая дощечка с надписью: «Село Стеньково, дом Петра Калымова».

2

Во всю ширину крыльца у самых дверей лежал большой козел и, лениво пожевывая, мечтательно смотрел вдаль. Анна сделала несколько шагов по направлению к дому, взошла на первую ступеньку, а упрямец продолжал лежать не двигаясь с места. Обойти его нельзя было, переступить через него с багажом в руках казалось делом трудным, тогда она поставила чемодан, склонилась к рогатому бездельнику и, поглаживая его лохматую шерсть, зашептала:

— Уступи, милый, уступи... Право же, прошу...

Козел замотал головой, и звоночек, висевший на его шее, тихо задребезжал.

— Какой ты нарядный,— продолжала она шептать,— у тебя и малиновая лента и колокольчик... Ну что же, пустишь?

Дверь открылась, и показалась высокая полная женщина в белой косынке, с подоткнутым подолом, румяная и потная. Первым делом она толкнула ногой козла, а когда тот проявил излишнее равнодушие к приказанию хозяйки, последовал второй более сокрушительный удар и весьма красноречивая фраза:

— Убирайся к лешему, бородатый чорт... Сатана рогатый!

Когда козел сдал свою позицию и с недовольным мэ...э...э отступил, хозяйка взглянула на женщину и, вытаращив глаза, заголосила:

— Анютка! Аннушка! Свет ты мой! Боже! Святые угодники! Царица небесная... Заходи же...

Она обхватила Калымову и, звучно целуя ее, повела в дом. Сени были узкие и длинные. В наполовину перегороженном хлеву жевала жвачку корова, резвился теленок и рылась в навозе свинья.

— Ах, боже, совсем растерялась,— вдруг спохватилась хозяйка, вырывая из рук Анны чемодан,— вот радость... Не ожидали... Ах, святители, угоднички... Петя! Петя! — закричала она у открытой двери,— где же ты там! Петя! Иди же сюда, смотри, кого я тебе привела...

Из соседней комнаты вышел среднего роста мужчина лет тридцати восьми, с крутым подбородком и приплюснутой у висков головой. Волосы на его голове стояли ежовыми иглами, густые, косо расположенные, как у филина, брови топорщились и буйно разрослись, а усы торчали словно щетина. Оттого ли, что он недовольно сдвинул брови и лицо его нахмурилось, казалось, что волосы на бровях и усах стали дыбом. Он остановился на пороге, вскинул свои большие добрые глаза на гостью и тихо, как бы про себя, произнес:

— Анютка! Какими судьбами?

Он обнял ее, поцеловал в обе щеки и сияющий взглянул на жену.

— Вот не ожидал... Десять лет ни слуху ни духу и на вот...

— А как подобрела,— снимая с Анны доху, радовалась хозяйка,— прямо барышня... Как есть барышня...

— Рассказывай, как жила, где была...

— Выкладывай ему скорей, молоко сбежит,— недовольно перебила его жена,— дал бы человеку передохнуть. Садись Аннушка, небось истомилась? Чего стал? — снова обрушилась она на него, — помог бы, чемодан или шубу хоть бы унес, рот разинул, ровно козел... Я, милая, только поесть сготовлю, потерпи малость.

У нее, словно было два голоса: один громкий, визгливый, а другой — тихий, молящий. Переходы от одного к другому были так резки и внезапны, что, как Анна ни крепилась, она разразилась смехом:

— Не хлопочи ты так, Анисенька. Ведь не чужая же я.

— Ты посмотри здесь за ней, я только тарелочку борща принесу...

Анна сняла шляпу и, поправляя волосы, торопливо сказала:

— Не надо, милая, я сыта. Всю дорогу баранки ела...

— Рассказывай там...— уж на пути к кухне бросила Анисья.— Вон рукомойник, а вот полотенце, а я пока приготовлю.

— А ты, братец, похудел,— разглядывая его, произнесла Анна,— рано поседел, забот верно много.

— Ты бы на себя поглядела,— смеясь сказал он,— тоже ведь не помолодела... И морщинки завелись и лицом не та, загорела.

— Я — другое дело,— оправдывалась сестра,— ты вот в покое жил, по фронтам не носился... А я часто о тебе думала, Петя...

— Думала, а писем не присылала, — упрекнул он ее.

— Там не до писем было. Первые три года себя не помнила. Не думала, что и выживу. Потом ушла в работу, болела и работала без передышки. Два тифа перенесла, разных осложнений не запомню сколько, так

здоровье и проматывала... Думала другой раз: сяду и напишу им, потом позовут на заседание, или отошлют в командировку, неделями без отдыха с поезда не сойдешь, разве до того было? Потом я, по правде говоря, боялась. Придет письмо и еще больше заскучаешь, не легче, а тяжелей станет... А ты вспоминал обо мне?

— Вспоминал,— со вздохом проговорил он,— и плакал, тяжело мне было. Никого ведь кроме тебя не было. Одни мы. Андрюша Кандауров с ума чуть не сошел. Не мог я его горя видеть. Так в другой раз сядем с ним, как о тебе заговорим, и не увидим, как ночь пробежит. Больше всего мне жаль было, что портрета твоего хорошего не было... Уж как я себя пробирал за то, что не снялся с тобой. Вот только в последние годы о тебе забывать начинал.

Пока Анна мылила лицо и шею, Петр в нерешительности то направлялся к дверям, как будто намеревался уйти, то останавливался посредине комнаты и со светлой улыбкой смотрел на портрет сестры, висевший на стене. Он положительно не знал куда деть себя от счастья; одно время ему хотелось шагать без конца, затем его стали тяготить руки; он закладывал их назад, заламывал, всовывал в карман и, наконец, опускал их. Неожиданная встреча с сестрой пондяла в голове Петра вихри мыслей, в груди давно забытые чувства, и вместе с наплывом смутных воспоминаний пришли думы о прошлом. Пришли на память годы, проведенные с Анной — далекие, нуждой окутанные годы. Отца своего, чахоточного ткача, Калымов не помнил. Ему исполнилось восемь лет, а сестре шел десятый месяц, когда тот умер. Спустя два года похоронили и мать. Его отдали на фабрику, а Анну приютил двоюродный дед Антон. Девочка росла без внимания и ухода, как чертополох. Дикая и нелюдимая малютка сторонилась даже брата. Иногда она вдруг исчезала из деревни и неделями не давала о себе знать. Люди рассказывали, что видели ее в соседних селах верст за десять; бывало, что девочку находили в лесу или на железнодорожной станции. Ко всему этому скоро привыкли и перестали удивляться. Восьми лет Анютка уже лазала по деревьям, мчалась во весь карьер на неоседланной лошади, плавала и дралась с мальчишками. Зимой еще удавалось за ней уследить, но летом ни увещевания, ни угрозы не могли удержать девочку на месте. Ночевала она под открытым небом: в лесу, на скирде, у речки или посреди двора. Десяти лет Анютку отдали в школу, а в одиннадцать — она уже стала фабричной.

— Давно пора угомониться,— говорил дед Антон,— годов пяток лямку потянет, поумнеет, а там и невеста.

Так оно и вышло: девушка и поумнеть поумнела и невестой стала.

Когда Петр женился и Анна поселилась у него, ей пошел пятнадцатый год. Она работала на банкаброше, зарабатывала восемнадцать рублей в месяц и слыла примерной девушкой, хоть и нелюдимой. Ее никогда не видали ни на посиделках, ни на свадьбах, ни в церкви, ни даже у соседей. Во время работы, пока катушки на веретенах набухали ровницей, она смотрела в окно, либо с опаской заглядывала в книжку. Дома она помогала Анисье по хозяйству, а в свободное время вышивала, либо читала. Книжки ей доставлял

подмастерье ткацкого цеха Кандауров — сын деревенского сторожа. Фабричные девушки первые с завистью заметили, что «красавец» (как между собой звали они Кандаурова) увивается за «сознательной» (это была кличка Анны за ее склонность к чтению книг и нелюдимость). Некоторые попытались уже сделать из этого тему для двусмысленных шуток, как вдруг стало известно, что после покрова состоится их свадьба. С покрова венчание отложено было на рождество, а в один морозный день, когда Петр вернулся с ночной смены, он узнал, что сестра дома не ночевала. Прошла неделя и, наконец, прибыла весть, что девушка ушла с отрядом красногвардейцев, квартировавшим в селе.

Анисья внесла тарелку борща, положила на стол деревянную ложку, ломоть ржаного хлеба и принялась торопить гостью:

— Станет тебе к зеркалу тянуться, садись ты бога ради... Зря только волосы срезала,— сокрушалась она,— хороши были... Теперь верно на полу волочились бы.

— Меня обстригли в больнице, когда я лежала в тифу.—Анна воткнула в волосы гребень, сняла пушинку с черной шерстяной кофточки и добавила,— думала, головы не снесу, не то что волос.

— Бог милостив, что ты,— замахала руками Анисья...— Да кончишь ты себя гладить, все остыло!

Анне не хотелось есть, но чтобы не огорчить золовку, она решила проглотить несколько ложек борща.

— Что у вас нового? — спросила Калымова,— вытирая губы и отодвигая тарелку.— Спасибо, Анисья, я хоть и сыта была, а поела с удовольствием... Теперь дайте оглянуться.

Она встала из-за стола и принялась рассматривать комнату. В шкафчике между стаканами, блюдцами и тарелками стояла гипсовая статуэтка не то Пушкина, не то Ибсена. Анна несколько раз отводила руку со статуэткой и приближала ее к глазам, тщетно пытаясь разгадать тайну скульптора.

— Кто это?

— Не знаю,— ответил Петр,— говорят известный коммунист.

— Ему что скажешь, во все поверит,— подхватила Анисья.— Сотни раз говорила ему: выбрось этого идола поганого, смотреть на него тошно, разве его сшибешь!

В комнате было чисто и уютно. На полу лежали половики, на стенах были развешаны простенькие коврики, картины и фотографии. В одном углу за положком на полочке стояла потемневшая икона и светилась зеленая лампадка; в другом уголочке висел портрет Ленина в кумачевой рамке. Рядом с иконой была прибита картинка «Преподобный старец Серафим и его сотрапезник — медведь», а на противоположной стене висело изображение Ворошилова. На большом ларе, выкрашенном в зеленый цвет, стоял маленький ларец, обитый железом. На столике блестели стеклянные подсвечники с красными кручеными свечами; в горшках росли осока, герань, красногорка, розан.

— Люди посоветовали косточку апельсиновую посадить, — сказала Анисья, подвигая горшочек с невысоким стебельком,— два года растет, а выше нейдет, должно быть, таким и останется.

От бумажных розочек, безделушек и картинок веяло сладким покоем, безмятежным и устоявшимся. После томительной дороги и бессонной ночи, Анна чувствовала приятную сладость...

— Хорошо у вас... Так я себе все и представляла. Славная у тебя хозяйка, брат, редкая...

— Ну тебя, ты наговоришь,— улыбалась Анисья.— Скажет же... Тут забота как бы в грязи не потонуть.

Она с благодарностью взглянула на гостью и добавила:

— Бывает и похуже, где детей куча... Мне ежели не хозяйничать и делать нечего.

— Разве ты не работаешь на фабрике? — спросила Анна.

— Как можно, только на фабрике не век живешь. Восемь часов отбарабанила, а другое время куда деть? Совсем забыла, — вдруг спохватилась хозяйка, — деда Антона сейчас приведу.

Анна вспомнила о своем приемном отце и ей стало стыдно, что она забыла о нем. Чтобы загладить свою вину, она спросила брата:

— Как живет папаня?

В детстве брат и сестра называли приемного отца «папаней», позже, когда ему минуло восемьдесят лет, сперва сноха, а затем и Петр стали его именовать, как и все, «дед Антон».

— Ничего. Не болеет, ослабел только.

Анисья открыла дверь и в комнату медленно вошел старик. Он опирался на палку, тяжело дышал и при каждом движении всем телом подавался вперед.

— Здравствуй, папаня!

Не дожидаясь, пока дед приблизится к ней, Анна пошла к нему навстречу, обняла его и поцеловала. Старик взглянул на нее своими маленькими глазками, почесал жиденькую бородку и сиплым голосом спросил:

— Анютка?

— Я, папаня, Анютка.

Он подвел ее к окну, долго разглядывал черты лица и, перекрестившись, тихо произнес:

— Слава богу... Она. Не поверил Анисье, смеется, думал. А я все за упокой души молился... Не забыл... Ну и слава богу, что жива.

Старик поцеловал ее в щеку и растроганный сел.

— А ты такой же. Вот только палка другая, та была длиннее и толще.

Анна говорила мягко и непринужденно, но голос ее скакал вверх и вниз, иногда падая до полушопота, словно она теряла власть над ним.

— Помнишь, какую я тебе палку срезала?

— Помню, помню... Все помню,— ухмылялся старик.— Как с дерева упала да за сучок рубашенкой зацепилась, помню...

— То было давно,— улыбалась дочь.

— Помню, как тебя в болото втянуло, чуть живую вытащили...

— И то было давно.

— Помню, как с солдатами ушла и старику слова доброго не сказала.

Это прозвучало упреком, и Анисья отвернулась.

— А ты не сердись,— мягко просила его Анна.

— С чего же... Такая уродилась... Только сильно меня тянуло после того... Забыть не мог...

На глазах у него навернулись слезы, и, чтобы переменить разговор, Анна спросила:

— А как твое здоровье, папаня?

Старик махнул рукой, взглянул на икону и нетвердым голосом прошептал:

— Мне не долго. Дальше девятого десятка не протяну... Пора... Теперь легче будет... Бог послал тебя увидеть...

Она обхватила его, поцеловала и стремительно отошла на другой конец комнаты. Все это произошло так неожиданно, что старик испугался и растерянный выпустил из рук палку. Когда она вернулась, голова ее судорожно вздрагивала, углы губ подергивались и черты лица мучительно искажались.

— Что с тобою? — испуганно вскрикнула Анисья,— Аннушка, милая, родная, успокойся... Чего же ты стал как пень,— обратилась она к Петру,— неси воду скорей...

— Ничего, ничего... Сейчас пройдет... Это часто бывает.

Лицо ее все еще мучительно перекашивалось, глаза страдальчески глядели из-под нависших бровей, а на губах уже вилась слабая улыбка. Она закрыла лицо руками, и когда отняла их, судороги прекратились.

— Выпей водицы, родная, выпей,— упрашивала ее Анисья.— Вода она сразу все с души смоет, как рукой снимет.

Несколько минут Петр стоял испуганный, не смея заговорить. Анна сделала глоток, встала и, взяв старика за руку, уже спокойно спросила:

— Теперь, папаня, рассказывай, сколько свечей ты за упокой живой дочки поставил?

Она рассмеялась и у всех сразу отлегло от сердца.

— И напугала же ты меня, Аннушка, тихо вздохнула Анисья,— от горя чуть не взревела.

— Давно это у тебя? — спросил Петр, участливо глядя на сестру.

— Лет восемь, с фронта.

— Контузило?

— Нет, на нервной почве.

Анисья молитвенно сложила руки и, все еще испуганно глядя на Анну, прошептала:

— Отец небесный... Святители-угодники...

Несколько минут было тихо. Хозяйка принялась почему-то наводить порядок в комнате. Она стирала пыль с рамочек, переставляла с места на место подсвечники, но с такой осторожностью, словно опасалась кого-нибудь разбудить.

— Ах, боже мой,—с трудом успокаивалась Анисья, — далось это тебе, родная. Разве это наше бабье дело? Мужчины с мужчинами воюют, ну и бог с ними, а нам что ж? Жила бы дома, давно замужем была...

— Ха, ха, ха,— громко смеялась Анна.— Мужчины, говоришь, с мужчинами воюют... Милая моя, Аниська, золото... Дай я обниму тебя, ах ты моя, душа родная... Ну как тебя не любить?..

— Люби ее да не очень, — с доброй усмешкой вставил Петр, — видала— на стене у нее что творится?.. «Одна половина, говорит, божеская, а другая — антихристова...»

— Врешь, это я к слову брякнула, — защищалась Анисья. — Кому что нравится, того к тому и тянет. Ничего я против твоего Ленина не говорила, а ты, бога, как антихрист, поносишь.

— Ладно, ладно, помиритесь, — снова, обнимая золовку, вмешалась Анна. — А ты, папаня, что молчишь?

Старик вздохнул и еще ниже опустил голову.

— А ты к нам надолго? — неожиданно спросила Анисья, убирая со стола посуду.

— Надолго, пока не прогонят.

— Кто же тебя прогонит? Живи хоть десять лет, — искренно произнес Петр.

— Боюсь надоем.

«Не стыдно тебе, Анюта, ведь ты у нас выросла», — говорили глаза брата. Он нежно гладил свои волосы и ей захотелось в эту минуту потрогать их. Она уже сделала движение, но спохватилась и сказала:

— А ты по-старому причесываешься. Помнишь, я любила дергать тебя за вихры?

— Помню, — ответил он, дотрагиваясь до ее руки, словно подавляя какое-то чувство. — Что же ты до сих пор делала?

— Разное. Была я красноармейцем, политруком, инструктором, комвзводом, следователем, председателем союза швейников, заведующим собеза, начальником политотдела дивизии, секретарем уездного партийного комитета, редактором газеты и уполномоченным по хлебозаготовкам. Училась в дивизионной школе, в губпартшколе, на краткосрочных курсах, только в университете не привелось. Понял?

— А теперь? — допрашивался брат.

— Теперь на фабрику вернулась — ответила она, вставая из-за стола.

— Значит, по-старому на банкаброш, — подхватила Анисья.

— Нет... — не сразу ответила Анна. — я назначена директором фабрики.

Анисья и Петр взглянули на гостью — не пошутила ли она, но когда встретили ее спокойный и серьезный взгляд, им стало неловко, словно их уличили в чем-то нехорошем. Брат мысленно представил себе сестру в роли директора и от удовольствия рассмеялся. О том же подумала и Анисья, но с присущей женщине подозрительностью переспросила:

— Это ты, Аннушка, будешь директоршей?

— Конечно, я,— просто ответила Калымова.

Анисья громко рассмеялась, взглянула на мужа и, растерявшись, встала, словно сообразив, что не полагается ей, рядовой ткачихе, сидеть рядом с директором.

— В добрый час, сестра. Не знаю только, управишься ли, тут инженерам не под силу бывало. Дело важное: фабрика пять тысяч человек кормит... Что же, раз послали, им виднее...

Петр говорил теперь сдержанней, — как будто сознавая, что он только председатель фабричного комитета — небольшая величина рядом с директором.

— Ты может быть передохнешь, Аннушка? — вдруг спросила Анисья,— иди, я постелю.

Анна представила себе мягкую постель, теплую и ласковую, и почувствовала, как слипаются у нее глаза:

— Я в самом деле устала.

Она кивнула головой брату и ушла в соседнюю комнату. О старике забыли, и он продолжал сидеть на скамье, сокрушенно покачивая головой.

3

Фабрика была большая, старая, с тесовыми складами, полными деревянных станов, чудом сохранившихся с давних пор, с развалившимися светелками и мыльной избой за древней баней. Баню часто чинили, подпирали столбами и утепляли, а от покосившегося фасада без крыльца, от дырявой, прогнутой крыши, бессильно припавшей к сгнившим подпоркам, и окошечек со вставленными кусочками стекла,—веяло тлением. Кривая и беспомощная, она стояла на пригорке между прудом и рвом, словно в грустном раздумьи: падать ли в ров или валиться в пруд.

Хозяева — помещики Дергачевы, как повествует семейная хроника,— «на седьмой пятнице после восшествия на престол Николая Павловича начало фабрики положили»... Двадцать шесть сел и деревень фабричной округи. Дергачевки, Дергачи, Дергачихи, Петровки, Степановки и Сидоровки — вотчины помещичьей фамилии, чесальщиков, прядильщиков, ткачей и шлихтовщиков рядили. Чесальщики сами гребни точили, прядильщики ручную прялку ладили, ткачи станы готовили, а шлихтовщики по дедовским заветам шлихту варили.

Работали от зари до зари, не покладая рук. Спали чутко, вставали под стук колотушки и не молясь садились за стан. Отдыхали в воскресенье, блюли праздники храмовые и двунадесятые. Ранней весной праздновали день сорока мучеников. Ждали прилета сорока птиц с жаворонком-вожаком. Плели сорок соломенных гнездышек, клали в каждом по скатанному из теста яичку и верили, что куры яиц своих не раскидают, хозяйское добро хозяину принесут. Потом пекли из теста жаворонков и детям раздавали, а те пели:

Жаворонки прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите,
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела...

Старшие пели·

Уж вы, кулички-жаворонки,
Солетайтеся, сокликайтеся!
Весна-красна! На чем пришла,
на чем приехала?
На сошечке, на бороночке,
На лошадиной голове,
На овсяном снопочке,
На овсяном колосочке,
На пшеничном зернышке!

На масляной шли селом на село, деревней на деревню, фабрикой на фабрику, без злобы — ради потехи. Сжигали «сударыню-масляницу» и катались на санях, чтобы блох от себя отвадить. Свято блюли посты, не жалея беременных и больных, морили голодом ребят и младенцам грудь не давали. В среду на страстной с серебра умывались — память Иуды берегли, ночью нитки пряли и руки ими повязывали — верили, пока не сносятся, все здоровы будут. Окуривали себя можжевельником, чтобы злую силу изгнать. В великий четверг на топор становились, чтобы самим крепче стать. В ночь под пасху стреляли из дробовиков, жгли костры и пели. К заутрени картежники с картами шли. На «христос воскресе» шибко отвечали: «Карты здесь, хлюст здесь, тузы здесь», — чтобы всегда выигрывать.

Клопов морили испугом. Из церкви в день светлого воскресенья прямо в дом не входили, а трижды в двери стучали. «Кто идет?» — спрашивала жена. — «Я, твой муж, — отвечали, — чем будем разговляться?» — «Мы пасхой и яйцами», — говорила хозяйка. — «А клопы?» — «Клопы клопами». Верили, что те от испуга перемрут или пережрут друг друга. Тараканов гнали приказом. Мели веником к двери, три раза им по дорожке стучали и приговаривали: «Прусаки и тараканы, выходи вон из избы,— пасха божия идет...»

На крещенье из реки крест ледяной вырубали, посреди села его ставили, кадки с водой привозили и святили. Избенку водицей окропляли, чтоб не горела, глаза умывали, чтоб не болели, шею обливали, чтоб простуды не знать.

Верили в знамения небесные, боялись чертей и молились святым. Пугались крестов вокруг солнца и луны, кровавых зорь, кликуш, колдунов, дурного глаза, людей, напускающих порчу, блуждающих огоньков и громовых камней... Рассказывали о кровавых снегах, поклонялись мощам и впрягали мужиков в соху, чтобы трижды село опахать и тем мор из села изгнать...

В день восьмого августа отправлялись в монастырь на богомолье. Плыли вниз по Волге на гусянках, на малых стругах, на лодках, а то и на плотах. Дорогой пели псалмы, блюли строгий пост и читали святое писание. Монастырь был древний, по свидетельству летописцев, за пятьсот лет до воцарения Романовых отшельником Исидором основан. Стоял он на берегу

реки, опоясанный глубоким рвом и обнесенный каменной стеной с тремя рядами бойниц, крытыми переходами и девятью остроконечными башнями. Над сводчатыми воротами высилась церковь с изображением Георгия Победоносца, поражающего змия, на шпиле, и развевался трехцветный флаг. От железных ворот, окованных стальными брусьями, тянулась деревянная мостовая вглубь монастырского двора. У правой стороны ограды расположился митрополичий конюшенный двор; в нижнем ярусе дома были стойла, каретные сараи, сбруйницы, а в верхнем — хранилища сена и соломы. Лошади с возами в'езжали под арки конюшни и по отлогим в'ездам взбирались до самого чердака.

Влево от ворот доживали свой век «красные хоромы» на случай «пришествия великого государя». От низенького здания с широким крыльцом и каменными шатрами, опаянными белым железом, от маленьких светлиц, окошек, заделанных гнутыми прутами, полов, устланных чугунными плитами, и выветрившегося кирпича стен — веяло глубокой стариной, древними, давно забытыми временами.

К левой стороне ограды как бы прислонился покосившийся дом монастырского управления строителей и заказников. У северной стены находились хозяйственные угодья: хлебня, кузня, швальня, кухня, плотничня, иконописня и печатня. За осиновой рощей, чуть в стороне от странноприимного дома и настоятельского корпуса, тянулось серое здание с кельями.

Церкви все были древние, с шестиярусными иконостасами и резьбой на фризах, сплошь покрытые альфресковой живописью, с солеями, поднятыми на восемь ступенек и отделенными от храма пятью арками. Церкви с деревянными клиросами и шатровыми верхами, чешуйчатыми барабанами, обширными трапезными, галлереями-папертями и древнейшими звонницами. Звонили на шесть настроев, положенных на ноты, вызванивая церковные мелодии.

Монастырь несколько раз сжигали, разрушали ядрами и разграбляли. На покрытых мохом памятниках сообщалось о Якове косноязычном, «коего литовские люди ссекли, а тело собакам бросили», о Симеоне Мутникове, «зарезанном ляхами безо всякой к тому вины». На часовенке под неугасимой лампадой значилось следующее: «Богомолец, преклони колени пред местом вечного упокоения сорока иноков, убиенных польскими душегубами».

На время праздника приезжали коробейники, торговцы и мастеровые. Настраивались лавки и рундуки, блинницы и квасные лари. Бойко торговали ситцем, кумачом, перстнями, горячими блинами, печеным картофелем и живностью. В монастырском дворе монахи продавали просфоры, тут же гусиными перьями надписывали «за здравие» и отсылали в церковь святить. Торговали крестиками, иконками, целительным деревянным маслом в пузырьках, изображавших внешность храма Исидора блаженного.

Встречали дергачевцев послушники в казинетовых и демикотоновых одеждах, подпоясанных ремнем, и плисовых скуфьях. Служил архиерей или архимандрит в торжественном одеянии. На клиросе пел хор монахов, одетых

в люстриновые рясы, и мальчиков в синих костюмах с откидными рукавами, шитых галуном.

После службы шли крестным ходом за десять верст в соседний скит и на Иордань святить воду.

В трапезной с утра до ночи суетились прислужники, кормили богомольцев борщом и кашей и вдоволь поили монастырским квасом. Именитым гостям подносили кедровые шишки из монастырской рощи и яблоки необыкновенной величины.

Два дня праздновали, а на третий спешили на Дергачевку.

Одного Дергачева прозвали «горе лютое». Людей он пуще чумы изводил, тиранствовал и кабальных два раза до бунта доводил. Секли при нем правых и неправых, на хлеб и воду сажали, а непокорных сквозь «зеленую улицу» прогоняли. Раздевали виноватого догола и пускали под визг зеленых лозин... Был Дергачев «сердешный». Прозвали его так потому, что на Пасху и на Рождество он вотчинным и кабальным людям по пятаку выдавал.

Запомнили и Сидора «благочестивого». Старшим рабочим из отставных унтер-офицеров он строго приказывал: «иметь неуклонное блюдение, чтобы люди от обедни не отлынивали и молитвы ко времени творили».

В церковь всегда приходил со старостой, первым делом головы подсчитывал, вторым — людей посылал, чтобы гнали всех встречных и поперечных на молитву. После службы на амвон всходил, крестился на образа и проповедь на два часа закатывал. Больше любил покойник «о необходимости непрерывного труда и умеренности в жизни» говорить.

После обедни старшие имели надзор, «чтобы фабричные не ходили ни поодиночке, ни толпами, дабы в первом случае всякий из них имел свидетеля своему вне фабрики поведению, а в последнем случае большинство партии не могло внушить им ни малейшей мысли о превосходстве пред кем бы то ни было в силе физической».

При Сидоре «благочестивом» фабричные аккуратно говели, по средам и пятницам постничали, на чужих баб не заглядывались, табаком не баловались и выше половины уха волос не стригли. При нем же крестные ходы по случаю покорения Казани и избавления Москвы от хана Махмет-Гирея на вечные времена установлены были. Фабрику в те дни закрывали, из церкви выносили хоругви, в окнах выставляли иконы, а на колокольне многоцветные огни зажигали. Два раза в году литии в притворе служили и «господи помилуй» хором триста раз повторяли.

Любил Сидор монахов, людей божьих, юродивых и церковников высшей иерархии. Зазывал он их к себе издалека, кормил, поил, деньгами и подарками задаривал. Раз в году собирал хозяин людей фабричных: называя по имени благочестивейших, иконы им в награду выдавал. За пять лет до смерти построил он церковь каменную, призвал мастеров из Москвы и заказал знаменитому маляру картину страшного суда на всю церковную стену. В день кончины Сидора «благочестивого» обновились купола и показались росинки на глазах иконы казанской божьей матери.

При Никите «нелюдимом» пошли притеснения и обиды. Сам хозяин на фабрику не показывался, и всеми делами управляющий-немец ворочал. Не у кого было искать управы. Тогда Илья Калымов, из кабальных помещика Козодавлева, подговорил вотчинных людей подстеречь Никиту «нелюдимого» у дома и слезно молить управы на управителя. Так и сделали. Помещик коечто пообещал, но ничего не исполнил, Илью выпороли, а в усадьбе железные ворота поставили. Калымов был мужик веселый, работящий, а после порки переменился. Говорить стал мало, глядел исподлобья и весь как бы зачерствел. Пролютовал немец еще немного, и нашли его в поле всего ножом истыканного. Пороли тогда Калымова в волости, пороли в уезде, били кнутом в городе и вечником на каторгу сослали.

Дергачевские были народ смирный, хозяевам оказывали уважение, согрешив винились, платили оброк, сами все домовитей делались, а кто посметливей—светелку строил. Бабы страдали в поле, хозяевали и детей рожали. Прадеды помирали за станами, деды обзаводились светелками, а отцы строили фабрички. Богатели и разорялись, начинали сначала и выходили в люди. Накопив толику ассигнаций, отсчитывали хозяину-вотчиннику девять тысяч и выходили на волю.

Дергачевки, Дергачи, Дергачихи, Петровки, Степановки и Сидоровки росли, разрастались, хозяйством полнели, строили церкви, обзаводились железными плугами и слыли пристойнейшими людьми в округе. Солоно приходилось им от посессионных буянов головленцев, но сколько те ни подзадаривали их, в драку заманить не смогли. Посессионная голытьба над соседями посмеивалась, а дергачевские жалобу за жалобой начальству посылали. Бумаги сдавал в волость дьячок, якобы от своего имени, с обязательной припиской на каждой из них: «слезно молю безбожников людей тех, что усугубляют над неповинными свои жестокости и через побойства многим причиняющих насильственную смерть, — казнить кнутом, чтоб другим неповадно было...»

После «воли» спальни опустели, построили новую прядильню, привезли заграничные машины и заработали «самоходы». Далеко над окрестностью выглянула фабричная труба и зачастили ревучие гудки. Помещик продал фабрику светелочнику Лукоянову, а сам уехал не то в Сибирь, не то за границу. Фамилию старого хозяина с ворот не стирали, а только сбоку приписали «бывшая». По старому рабочие назывались дергачевскими, на пакетах поминали помещика, в церкви молились за упокой души Сидора «благочестивого» и за здравие семьи Дергачева. Эстафетный почтарь так до смерти и не запомнил имени нового хозяина. Сам Лукоянов и сыновья его называли фабрику Дергачевкой, а когда пришло время писать новую вывеску, опять к фамилии помещика приткнули слово «бывшая» и по белому полю венцом рассыпали империалы-медали.

Пятнадцать лет спустя кругом расчистили лес и поставили кирпичную стену. Большой двор порос каменными корпусами, дверей цехов больше не запирали, а работали круглые сутки. С годами ожила округа; хозяева светелок понасажали, далеко им было с Дергачевкой тягаться, но росли они буй-

ным ростом. Из соседних волостей и уездов потянулись мужики в сермяжных кафтанах и лаптях, бабы, девки и дети с коробицами. Настроили хозяева изб и сумочникам-прохожим по рублю в месяц уголочки отдавали. Пришлые люди оседали, женились, хозяйством обзаводились и всей семьей работали на фабрике. Деревни скоро выростали, сливались и далеко отодвигали лес. Лукоянов завел при фабрике лекаря, построил большой каменный кабак и ряд деревянных лавок.

Пришел конец и бездорожью. В пятнадцати верстах проложили железную дорогу, а мимо самых ворот протянули большак. По шоссе загромыхали подводы, мужичьи возы, на крепких ломовиках возили лен, полотно, лес и кирпич. По ту сторону ткацкого корпуса к отлогому берегу Волги приставали баржи, груженые товарами и машинами, и уходили с полотном, мешковиной и очесом. Зимой из шпульного и ткацкого отделений далеко виден был снежный простор окаменелой Волги и едва синела зубчатая кайма холмов. Весной река близко подходила к высокому берегу и заливала левую сторону на много верст; под водой тонули долины, островки и старицы. Летом берега зеленели и с'еживалась ширь. Тянулись баркасы, плоты, юлили лодки и шныряли катера. Ночью фабрика зажигалась тысячами огней, пассажиры пароходов высыпали на палубу и долго смотрели на озаренный светом берег.

С революцией пошли перемены. Не стало Лукояновых, Захожаловых и Дорониных; вывеску фабрики Дергачева покрыли охрой и полуаршинными буквами написали: «Льнопрядильная и ткацкая фабрика имени Лассаля». На ворота повесили красный флаг, обшитый аграмантом, и вдоль фасада протянули полотнище с лозунгом: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». В революционные праздники вывеску окаймляли гирляндами хвои и поперек базара вывешивали несколько красных полотен с лозунгами. Ни полотен, ни хвои не снимали. Осенний ветер бил и рвал на части кумач с надписью: «Да здравствует первое мая», а с ворот сыпались желтые иглы некогда зеленой гирлянды.

У контрольной будки на месте пьяного городового Алексея Антипыча, известного своим крутым нравом и тяжелой дланью, появился милиционер, товарищ Кулогин; со всех вывесок на дверях цехов, конторы и уборных были стерты твердые знаки и неумелой рукой переделаны на них буквы «ѣ» на «Е», «I» на «И». В квартире директора поместились партколлектив и фабком. Ванную приспособили под ячейку комсомола, а кухню — под отдел охраны труда. На втором этаже все оставалось без изменения. В просторной конторе окруженные журналами, ресконтро, дневниками и копировальными книгами продолжали сидеть лысые, с лощеными лицами конторщики. На высоких вращающихся табуретах, болтая свисающими ногами, они напоминали простодушных лилипутов. Им не было дел ни до треплющихся полотен с лозунгами, ни до зеленых гирлянд на воротах.

Рядом с конторой был кабинет Лукоянова. Большая комната с квадратными окнами, громоздким письменным столом и неисправным телефоном на стене. Из этих окон хозяин мог видеть шоссе, реку с пристанью и наблюдать за тем, что творилось на фабричном дворе. В октябре семнадцатого года Лу-

коянов грозил арестовать сеющих слухи о якобы происшедшем в Москве перевороте, и сам поверил в это только когда из кабинета увидел, что по шоссе и по Волге движутся красногвардейцы.

4.

Когда звать к директору мастера ткацкой фабрики Андрея Петровича Кандаурова пришли, он ничего не ответил.

— Что ты сказал, Яков? — продолжал он прерванный разговор с подмастерьем, разглядывая катушки пряжи.

Телебукин, высокий, широкоплечий мужик лет пятидесяти, с большим рябым лицом, лысый, с рыжей бородой и пышными усами, улыбнулся и, подмигивая, сказал:

— Теперь не время, вам надо к директорше сходить.

Мастер не мог видеть усмешки помощника, так как весь был поглощен делом. Он подносил пряжу к свету, нюхал ее, брал в рот и тщетно пытался оторвать короткую нить.

— Ничего, я успею. Ты говоришь у троих галева порвались?

— Ну, да, порвалась, придется ремиза менять.

Из ткацкой конторы Телебукин спустился в нижний этаж. Там, где полотно водопадом катится меж валами, он остановился и низко склонившись к браковщице, прошептал:

— Что, Макеевна, краля Кандаурова привалила, га? К себе его призвала.

— Поздно задумала, — не оборачиваясь ответила она, — ничего не выйдет, женатый, что мертвый.

— Небось, попробует еще... Сама, почитай, не раз замуж выходила,— боком подталкивая браковщицу, усмехнулся Телебукин. — Теперь ее не то что Кандауров — Васька-пьяница обойдет...

Работница поправила платочек и с деланной строгостью огрызнулась:

— Ну тебя к лешему, старый чорт, о чем заговорил...

В шпульном отделении подмастерье неслышно подошел к полногрудой рыхлой шпульнице и вкрадчиво шепнул:

— Твоя пора, Манька, небось загордилась.

— Чего? — не поняла она.

— Теперь нам под вашим началом ходить, — кривя губы, об'яснил он ей.

— Чего ж под нашим? — останавливая шкив и набрасывая на шпульку узел, спросила баба.

— Не слыхала? Директорша приехала. Строгая, говорят, порядки наводить станет. Кутерьма пойдет...

— А нам что, — развела она руками, словно речь шла о совершенно неважном вопросе, — пусть. И не таких видали.

Телебукин шел от станка к станку, из отделения в отделение, на разные лады повторяя одно и то же. После Лукоянова на фабрике перебывало человек семь директоров. Обо всех он сперва говорил с язвительной насмешкой, доискивался, кто были их родители, собирал унижающие их сведения и как сейчас ходил от ткача к ткачу за сочувствием. Проходило некоторое время, к директору привыкали, и подмастерье немного успокаивался. Теперь ему казалось, что произошло нечто более важное, чем смена директора. Случилось нечто такое, что настоятельно требует его, Телебукина, вмешательства. Он не видел еще Калымову и не особенно хотел этого, но одна мысль, что на месте Алексеева, Болтина, Солодова и других будет сидеть Анюта Илюхина, положительно изводила его. «Пойдут попреки,—представлял он себе,—кривлянье да хныканье... То ей не так, то не по душе, ахи да охи... Наберет она себе кобелей, подмажется, расфуфырится, а ты смотри да терпи... Тьфу! — сердито сплевывал он, возбужденный собственной фантазией.—И до чего дошло, бабу в директоры сажать, неужели мужчин нехватило? Или голову им красотой своей вскружила?» Свет положительно свихнулся, он, Телебукин, предсказывал это, еще когда Лукоянова с фабрики выпроводили. Нет, подумать только: кого? Анютку Илюхину!

Моментами на подмастерья находило просветление. В самом деле, что ему до нее. Но заноза, видимо, сидела глубоко, и Телебукин думал, что бабы теперь поднимут головы, перестанут уважать мужиков, примеру жен последуют дети. Дочки забунтуют, кругом пойдут непорядки, и все прахом развалится. Ему мерещились ужасы, приходило почему-то на ум кладбище, заставленное гробами, и, чтобы хоть чем-нибудь облегчить душу, подмастерье продолжал злословить, ходил из этажа в этаж и широко улыбался, уловив сочувственное слово. Встретив председателя фабричного комитета Петра Калымова, Телебукин несказанно обрадовался.

— С гостем тебя, Петька! — стараясь казаться приветливым, произнес он.

— Спасибо, Яков...

Сообразив, что Петр должно быть рад сестре, подмастерье развязно ухмыльнулся:

— Молодец! Баба, а смотри куда выбилась...

Теперь глаза его сияли, а лицо выражало неподдельное восхищение.

— Да, назначили, — неохотно сказал Калымов, не особенно, видимо, доверяя своему собеседнику.

— Неужели замуж не вышла? — с тем же деланным восторгом продолжал допытываться Телебукин, — или развелась?

Петр сам впервые об этом подумал и поэтому не сразу ответил:

— Не знаю. Право слово... Не спрашивал...

«Врет, — подумал Телебукин, — дурачка корчит... Зазнался сволочь и говорить стал по-другому».

— Что ж, — протянул подмастерье, поглаживая усы, — давай бог. Баба бабе рознь. Другая двух мужиков стоит.

Когда Калымов ушел, Телебукин пожалел, что заговорил с ним. «Хитрая бестия, — подумал он о председателе фабричного комитета, — сам все время молчал да прислушивался...» Мысль об этом надолго отравила ему покой.

5

Посылая за Кандауровым, Анна долго думала над тем, как она встретит его, о чем заговорит и, главное, как он отнесется к ней. У него достаточно оснований при первой же встрече выразить ей свое презрение, наговорить много неприятного и, хлопнув дверьми, уйти. Он может вовсе не явиться или, наоборот, притти и сделать вид, что не знает ее. Это будет, конечно, хорошо, она тогда тоже притворится, что забыла о нем, а потом когда-нибудь, в другой раз, они спокойно поговорят обо всем. Если бы так случилось, она была бы ему благодарна... Нельзя будет, конечно, винить его, если он поступит иначе, она причинила ему много страданий, но в таком случае ей нужно показать пример твердости. Нужно владеть собой и не раздражать его новыми обидами. Главное, быть спокойной или хотя бы казаться такой. Это очень важно.

Мысленно обсудив самое трудное, Анна несколько раз прошлась по кабинету, вспомнила, что при Лукоянове в правом углу стоял ореховый киот с резной верхушкой. Хозяин фабрики был толстый и неповоротливый, с длинной шеей, и когда он откидывался на спинку высокого кресла, у него круглой шишкой выпирал кадык. Она вспоминала об этом и тихо рассмеялась. Однажды к старику Лукоянову явились злоумышленники, опорожнили несгораемый шкаф и, чтобы поглумиться над фабрикантом, надели на него вывернутый наизнанку пиджак. Анна была тогда в конторе и первая увидела хозяина с помятым котелком, в шутовском наряде. Воспоминания об этом еще больше рассмешили ее. От удовольствия она заложила руки за спину и потянулась.

«А как же с Кандауровым?»—вдруг спохватилась Анна и тут же удивилась. Разве не все решено? Она сядет за стол и сделает вид, что рассматривает бумаги, затем вскользь скажет ему, что хочет осмотреть фабрику. Самое главное — не говорить о прошлом, как будто они никогда не были знакомы.

Удовлетворенная своим решением, Анна лениво оперлась о подоконник и стала смотреть на двери ткацкой фабрики, невольно прислушиваясь к шагам в коридоре. От одного окна она перешла к другому, откуда видна была Волга, потом к третьему, что выходило на шоссе и, наконец, нетерпеливо принялась рассматривать диаграммы, развешанные по стенам.

«Никуда не годится,— упрекнула себя Анна,— я волнуюсь словно перед боем. Но почему он не идет? Изведешься, и время уходит...» Она приоткрыла дверь, осторожно выглянула и вошла в контору. Обрадованный ее приходу бухгалтер вытащил сводку и баланс фабрики за истекший год, что-то долго говорил о неустойке и размахивал бумагой, прыгая с высокого стула вниз и снова взбираясь на него. Аккуратно расчерченные листы и ряды цифр, рас-

ставленные по клеткам, заметно успокоили ее, она вернулась в кабинет и заняла прежнее место. Теперь Анна могла бы прождать так целый день, если бы ее не изводило тиканье часов. Маятник был большой, медный и двигался ужасно медленно.

Лицо Калымовой пылало, в горле пересохло, и болела голова. «Только бы сейчас не вошел»,— волновалась Анна, обмахиваясь платочком и наливая себе воду. «Нужно чем-нибудь заняться, вот хотя бы просмотреть балансы. Он не придет, наверно не придет...— твердила она про себя.— Далеко ли итти из ткацкой фабрики до кабинета — пять минут ходьбы, не больше... Сорок или пятьдесят шагов до дверей конторы, по лестнице шагов двадцать... Нет, нет, не придет... А что, если Кандауров в самом деле откажется притти? Об'явить выговор — неудобно, пойдут разговоры, пересуды... Смолчать — значит показать дурной пример...

Несколько минут Анна сидела, подперев голову рукой, затем встала и уже совершенно твердо сказала: «Так это оставить нельзя».

Он вошел, слегка тронул рукой шапку и, глядя на стул, спросил:

— Вы звали меня?

Она хотела опустить голову над бумагами, но подумала, что теперь это уже неважно. Кандауров был совершенно спокоен; зеленоватые глаза его смотрели без капли тревоги и смущения, движения были ровны и медленны, а на прямоугольном подбородке, казалось, застыло равнодушие.

— Садитесь.

Мастер снял шапку, положил ее на колени и провел рукой по растрепавшимся волосам. Анна с досадой подумала, что он наверное давно забыл о ней и напрасно она волновалась, приписывая этому человеку несвойственные ему чувства.

— Вы мне нужны.

Фраза вышла непринужденной и, ободренная удачей, она добавила:

— Я хочу осмотреть фабрику, вы проводите меня туда.

Кандауров покачал головой и встал.

«Нехорошо так,— подумала Анна,— нужно хотя бы о чем-нибудь поговорить».

— Сколько у вас ткацких станков? — заглядывая в баланс, спросила она.

— Тысяча шестьсот.

Ей показалось, что он подавил улыбку.

— А веретен?

— Восемьдесят пять тысяч.

Отвечал он холодно и оглядывался по сторонам, как будто скучал.

«А теперь о чем?» — теряя спокойствие, спросила себя Калымова.

— Да, вот что,— неожиданно обрадовалась она,— какие ткани вы сейчас вырабатываете?

Он пошевелил пальцами, внимательно осмотрел ладонь, словно читал по ним, и ответил:

— Мы вырабатываем тонкую парусинку, мешковину и подкладочную ткань.

— Отлично, пойдем,— решительно сказала она, как будто от его ответа зависело ее решение.

«Ужасно неприятно — повторяла про себя Анна, спускаясь с лестницы,— он наверно, бог знает, что подумал обо мне». И хотя она не могла вспомнить ни одного неуместного слова или поступка, ей казалось, что она натворила кучу глупостей.

Фабричный двор начинался от пруда, посредине базара, и кончался на опушке леса. Справа и слева от входа полукольцом стояла цепь каменных складов, куда свозили лен, пряжу и полотно. Целый день тянулись крестьянские розвальни с дровами, лесом и большими четырехугольными кипами. За складами полукольцом, замыкая круг, расположились фабричные корпуса. Справа налево следовали: чесальный корпус с ручной ческой во втором этаже и машинной в нижнем; прядильная фабрика, машинное отделение с огромным дизелем и паровой машиной, ткацкое и приготовительное отделения и, наконец, стригально-упаковочный корпус. За фабричными зданиями тянулись штабели дров, небольшие домики — жилища служащих, а у самой стены стояла деревянная каланча с подвешанной чугунной доской вместо колокола.

Едва Анна открыла дверь ватерного отделения и почувствовала запах сырой пряжи, она забыла о существовании Кандаурова. Грохот машин, жужжание веретен и пронзительные свистки бригадного подхватили ее, закружили и унесли далеко, далеко. Она шла между ватерами, жадно вдыхая сгущенные пары, вьющиеся над машинами. В голове ее вставали воспоминания, словно их разбудил вздрагивающий грохот, прорывавшийся со всех сторон. Каждый уголок, каждая шпулька, каждое веретено были до боли знакомы ей. Здесь работали ее друзья, школьные подруги, соседи и знакомые; она знала всех ватерщиц наперечет, помнила по имени бригадных, мальчишек и девочек-с'емщиц.

«Все попрежнему,— удовлетворенно подумала она,— та же веревочка над ватером с повиснувшим платком, расчетная книжка на гвоздике, валенки над корытом...»

Анна тщетно оглядывалась по сторонам, искала знакомые лица, останавливалась и шла дальше, встречая чужие, любопытные взоры. Ей становилось грустно, словно она углублялась в аллеи старого кладбища.

За крайним ватером стояла тоненькая девушка с длинными гибкими руками и завязанными в узел волосами. Она раскраснелась, лицо ее лоснилось от пота, пальцы проворно бежали вдоль сторонки, присучивая обрывающиеся нитки. Анна взяла девушку за руку и, чтобы преодолеть шум, наклонившись к самому уху, спросила:

— Почему вы ходите босиком? У вас здесь жарко, а пол цементный — холодный.

Ватерщица покачала головой и сказала:

— А вы похлопочите, чтобы обувь дали. Второй год не отпускают.

— Хорошо, похлопочу. Если я забуду, зайдите в контору и напомните мне.

Девушка с благодарностью взглянула на Калымову и спросила:

— Это вы директорша?

— Я,— просто ответила она.

Ватерщица еще больше покраснела.

— Верно, что вы были банкаброшницей?

Анна заметила, что две нитки оборвались и треплются в воздухе. Она быстро подошла, ухватила концы ровницы, быстро пропустила их под валики и присучила.

— Да, я была банкаброшницей.

— И стали директоршей?— продолжала удивляться девушка.

— Как видишь,— улыбаясь сказала Калымова, кивая девушке головой.

Послышался пронзительный свисток бригадного. Мальчики и девочки рассыпались между машинами, и послышался стук сбрасываемых катушек. Кандауров все время шел рядом, бросая по сторонам равнодушные взоры, изредка задерживаясь в проходе и отвечая на приветствия. Анна вспомнила о нем и, чтобы прервать неприятное молчание, сказала:

— Я никого не узнаю из моих знакомых. Правда, много лет прошло, но все же...

Она вдруг покраснела, словно сказала глупость, и отвернулась. Мастер неопределенно покачал головой и ничего не ответил.

На втором этаже Калымова решительно направилась в конец помещения и остановилась у банкаброшной машины. Здесь она работала восемь лет; из этого окна часами глядела во двор, сюда под кареткой прятала книжку и, утомленная беготней из конца в конец, отдыхала на подоконнике. За банкаброшем стояла низенькая полная баба с коротенькими толстыми руками и маленькой головкой без шеи. Она держала пальцы над веретеном, пропуская через них ровницу. Анна вспомнила, что любила делать то же самое и с трудом подавила в себе желание подставить руку трубочкой под струйку пряжи.

В ткацкой глухой рокот и жужжание веретен сменились трескотней и гулким верещанием вентилятора. Неудержимо сновали челноки, катились тележки, и трепетал стремительный разбег пасов. Оттого, что сотни машин бились и дрожали, оттого, что подпрыгивали ремиза и качались батаны, казалось, что само здание трясется из стороны в сторону.

Анне почудилось, что станки бьются единым ритмом. Она остановилась у входа и чутко прислушивалась. Сперва донеслись отдельные перебои, потом еще и еще, и, наконец, толчки, словно вспугнутые, рассыпались, образуя многообразный шум. От частых, отрывистых ударов сотен станков Анна чувствовала прилив возбуждения; она наливалась силой и смелостью, как будто шагала по краю бурного водопада. Кандауров шел рядом, видимо, занятый своими мыслями. Она взглянула на него и заметила, что крошечные морщинки в углах губ придают его лицу озабоченное выражение.

«О чем он теперь размышляет?» — подумала она, еще раз взглянув на мастера.

Он почувствовал на себе ее взгляд и спросил:

— Вы хотели что-нибудь сказать мне?

— Вижу, вы чем-то озабочены.

— Да, неприятности,— глядя на носки своих ботинок, сказал он.— Пряжи нехватает, особенно высших номеров. Из-за перебоев пришлось десять станков остановить.

Он рассказывал, что сновальные станки неисправны, уйма денег уходит на их исправление, и что ни день — простои. Нужны новые станки, а пока нехватает пряжи для ткацкого отделения. Анна внимательно выслушала его, задала ему несколько вопросов и сделала заметку в записной книжке.

Они стояли у прохода между двумя рядами ткацких машин. Парень с длинными растрепанными волосами и веселыми глазами резким движением остановил станок, обрезал узлы и стал собирать с пола угар. Отложив запасные челноки, он выпрямился и, не спуская глаз со скачущих ремизов, начал разглядывать свисающее полотно. Руки его лихорадочно бегали вдоль рядков, скользили по натянутой пряже и стремительно вязали узлы.

— А у тебя, Анисья, как дела? — кивая головой золовке, спросила Калымова.

Такая же подвижная и веселая, как дома, Анна хлопотала между двумя станками: выпрямляла полотно, вылавливала оборванные нитки и часто пускала в ход ножницы. Брови, плечи и платочек, сколотый булавкой на подбородке, были покрыты густым слоем пыли. Она открыла челнок, воткнула туда початок и, несколько раз стукнув челноком о станок, быстро сунула его под пряжу.

— Тебе что, отвечать некогда? — шутила с Анисьей Анна.

— Некогда, некогда,— ухмылялась та.— Зря вы меня, товарищ директорша, разговорами развлекаете, третью нитку пропускаю.

— Ткачихи жалуются, что уток плохой,— не отставала Анна.

— Жалуются, значит плохой,— следовал короткий, вразумительный ответ.

— А у тебя как?

— И у меня плохой,— прикидывалась она огорченной.

— Что-то не видать,— недоверчиво посмеивалась Калымова.

Анисья отложила ножницы, выпустила из рук батан и непринужденно рассмеялась:

— А вам шибко хотелось, чтоб я закричала: у меня, дескать, все хорошо! Тоже хитрые!

Кандауров стоял за чугунной решеткой, отделяющей шпульную от ткацкой, прислушивался к разговору Анны и в то же время ловил захлебывающуюся речь Телебукина. Тот стоял к нему спиной и горячо говорил:

— Запомни, Иван Игнатьич, мои слова, понаведет она своих кобелей, понасадит их, как идолов, только молись и кланяйся им. Всех к рукам приберет и нашего Андрея Петровича, грех, что женихом был. Только на крылечко конторы ступила, первым делом его, раба божьего, позвала. Не знаю, о чем говорили, а водит она его по цехам, ровно напоказ. «Вот, дескать, я какая. Что захочу, то и сделаю, нет на меня суда — и все. Захочу — будет в ножки кланяться, захочу — до самого тартарары уроню или до престола небесного подыму». Он дураком за ней тянется, а она и глазом ему не моргнет, дескать,

сказано: стой, а голоса поднимать не моги. Запомни ты, Иван Игнатьич, слово мое: язва она превеликая и от самого владыки небесного за наши грехи нам послана. Никакими водами не смоем мы ее.

Кандауров был бледен, глаза его казались необыкновенно зелеными, а в углах губ морщинки стали больше и глубже, — обратился он к Анне:

— Зачем вам понадобилось, чтобы я два часа ходил рядом с вами? Ведь вы не задали мне ни единого вопроса.

В голосе его слышалось раздражение. Она опустила глаза и извиняюще проговорила:

— Вы правы, Андрей Петрович, но войдите в мое положение, ведь вы здесь единственно знакомый мне человек. Не сердитесь же, я вас прошу.

Она ждала возражений, но вместо ответа он отвернул голову и вместе с Анной вошел в ткацкую контору.

«Не простил,— подумала Анна,— и не простит, должно быть».

Контора представляла собою небольшое помещение с тремя сосновыми столами и двумя длинными скамейками. Окно выходило во двор, и ничего кроме цистерн с нефтью из него не было видно. У дверей стояла маленькая беременная женщина с тупым приплюснутым носом и круглой спиной. Она несмело подошла к столу и, заикаясь от волнения, спросила:

— Вы вызывали меня?

Кандауров коротко взглянул на нее, и на его лбу отчетливо обозначился треугольник. Анна вспомнила, что мальчишки в школе называли его «треугольником» и усмехнулась.

— Да,— вспомнил мастер,— ты сломала челнок?

Она отодвинулась от стола, словно опасалась какой-нибудь неожиданности, и скривила лицо в улыбку.

— Челнок, Андрей Петрович, сам сломался, плохо вам переказывали... Из станка как выскочил, меня чуть не убил...

Кандауров близко подошел к ней и твердо сказал:

— Оставь эти разговоры, Маня, ни к чему они. Ты сломала челнок, чтобы получить новый, так?

Лицо ее сразу окаменело, но она продолжала отрицательно качать головой. Послали за Телебукиным. Он вошел, как всегда, боком, с тетрадью в руке, поддерживая очки, торчавшие у него на самом кончике носа. Увидев ткачиху, он сделал полуоборот, словно выбирал позицию, чтобы броситься на нее, и довольный хихикнул.

— Она отказывается, что сломала челнок,— сказал Кандауров.

— Что?—рассердился подмастерье. Он склонил голову на бок и, следя за ней поверх очков, как будто они мешали ему видеть ее, гаркнул:

— Говори правду, Манька, чего врать! Винись!

Анна заметила, что верхняя часть лица Телебукина покрыта мелкой рябью, а нижняя крупной, и почему-то вспомнила поверхность моря: вдали покрытую зыбью, а вблизи — волнами.

Женщина заплакала.

— Так бы и сразу, — торжествовал подмастерье,—рассчитают, и пеняй на себя.

— Я три дня мучилась,— сквозь рыданья жаловалась ткачиха,— надрывалась с ним... Добром просила: перемени, сделай милость... Второй день поденки не выгоняю, а он только смеялся... Что ж мне было делать?..

Она плакала навзрыд, краем фартука вытирая слезы. Лицо ее раскраснелось, на висках надулись синие жилы, и вся она дрожала от волнения. Кандауров держал столярный аршин и измерял им положительно все: пальцы рук, чернильницу, пресс и лежащий на столе челнок. Лицо мастера было озабочено, как будто ширина чернильницы и длина мизинца серьезно занимали его.

— Вы не плачьте,— беря ткачиху за руку, сказала Анна,— вам вредно теперь волноваться. После родов об этом потолкуем, успокойтесь.

Кандауров стремительно разложил аршин и стал изучать на нем каждую цифру. Женщина взглянула на него, затем на Калымову и сквозь новый поток слез стала изливать свое горе:

— Что ему наше несчастье, что ему чужая печаль, хозяин он, не то, что мы. У него и лошади, и коровы и земли сколько хошь, а у меня сруба своего нет, у чужих снимаю.

— Иди, Маня,— откладывая аршин, сказал мастер,— придешь после родов. А ты, Яков, подожди.

Ткачиха спрятала выбившиеся из-под косынки волосы, разгладила фартук и покачивающейся походкой вышла.

— Ты о чем сегодня с Иваном Игнатьевичем говорил?— измеряя длину и ширину листа писчей бумаги, спросил Кандауров.

Подмастерье сразу сгорбился, торопливо снял очки и стал усердно поглаживать рваную ноздрю.

— Не помню, Андрей Петрович... Всего не упомнишь...

Голос его был хриплым, и он два раза прерывал ответ, чтобы откашляться.

— Думал ты над своими словами?

Телебукин искоса взглянул на Анну, словно по ее лицу собирался определить, посвящена ли она в суть дела, и едва слышно промямлил:

— Виноват, Андрей Петрович...

Кандауров вскользь посмотрел на Калымову и продолжал:

— Берегись, Яков! Наживешь беду... Можешь итти.

Подмастерье боком попятился к выходу и, прежде чем закрыть дверь, бросил умоляющий взгляд на мастера. Анна догадалась, что речь шла о ней, и с благодарностью взглянула на Кандаурова.

Послышался протяжный гудок, трескотня за дверью вдруг ослабела и совсем замерла. Наступил утренний перерыв. Молодежь облепила умывальник. Все толпились, брызгали мыльной водой и перекидывались шутками. Вокруг полотенца шла настоящая война. Низкорослые подпрыгивали, чтобы подхватить высоко подвешанный конец, другие взбирались на лесенку и искали места посуше. Ткачи раскладывали свою скромную трапезу, ели и запивали моло-

ком. На опрокинутых ящиках в круг собрались землячки; они пили чай из горлышек бутылок и кусали зачерствелые краюхи ржаного хлеба.

— Ты чего стала, не ешь? — спрашивал мужской голос.

— Так, думаю,— отвечала молодая женщина.

— Думает тот, у кого голова большая, а у тебя она вон какая маленькая...

Анна рассмеялась. На душе ее было легко. Начиналась новая жизнь: тяжелая, но радостная.

Приезд Анны как будто перевернул всю жизнь Петра. На него неожиданно обрушились радости, заботы, а больше всего огорчения. Спокойная и ровная жизнь его забурлила и вышла из берегов. Уравновешанный и сдержанный Петр стал вспыльчивым, раздражительным и резким. Образцовый член партии и бессменный председатель фабричного комитета в течение шести лет, он стал вызывать нарекания ткачей, нарушать партийную дисциплину и, как человек, выбитый из колеи, делал ошибку за ошибкой.

Петр искренно и горячо любил свою сестру. При первой же встрече с ней он поверил, что она умело поведет дело и заслужит любовь рабочих. Он положительно потерял голову от счастья. Его одолевали мечты, бодрые и полнокровные, как юность, у него оживали надежды, и восторгом переплетались его дни. У Петра не было ни одной близкой души кроме Анисьи и, глядя на то, как другие проводят время в кругу родственников, навещают своих братьев и сестер и обзаводятся друзьями, ему всегда становилось грустно. Теперь и его жизнь станет полнее и интереснее; расширится семья, и в однообразных буднях зазвучит новый голос. На фабрике его поздравляли, расспрашивали о сестре и интересовались ее жизнью. Полный радостных мыслей и чувств, он не скоро заметил иронию и насмешки окружающих и спохватился только тогда, когда недовольство выпирало изо всех углов.

Появление на фабрике Анны в сопровождении Кандаурова вызвало ливень злых шуток и сплетен. Кто-то вспомнил, что вновь прибывшая директорша — та самая Анютка, что бежала из-под венца с солдатами, а Кандауров — тот самый жених, что три года кряду ждал свою суженую и, не дождавшись, с горя женился на Маньке Пестюхиной. «История» пошла гулять из цеха в цех, от машины к машине, и скоро не было уже ткача, который не знал бы ее. Мнения, как водится, разделились: старики и старухи отдавали свои симпатии мастеру, а о «беглой невесте» отзывались с презрением. Молодежь смотрела на Анну с восхищением и готова была перенести что угодно, лишь бы не дать ее в обиду. В этом полном важного содержания споре каждый, естественно, спешил определиться, и прежде еще чем Калымова переступила порог отделения, там уже бурлили страсти ее друзей и врагов. Вслед за Анной неслись «достоверные сведения». По одним источникам, она приехала, чтобы сойтись с Кандауровым и уехать с ним, по другим — она замужем за наркомом и прибыла только для того, чтобы показать себя «на зло врагам».

Впервые услышав пересуды ткачей, насмешки и грязные намеки по адресу сестры, Петр почувствовал себя глубоко несчастным. Он не верил ни

одному дурному слову об Анне, но его поразила внезапная неприязнь рабочих. Нужно было как-нибудь откликнуться: признать или отвергнуть эту ложь, но каким путем? Как вести себя по отношению к тем, кто злословит и роняет авторитет директора? Если бы Анна не была его сестрой, он сумел бы раз'яснить ткачам, как дурно они поступают, и, таким образом, положить предел этой распущенности, но при сложившихся обстоятельствах дело казалось ему нелегким. Станут говорить, что он защищает сестру, и, пожалуй, не послушаются. Мало того — его самого высмеют.

Петр решил поговорить о происшедшем с Анисьей. Она слушала его, растянувшись на полу, и усердно выметала пыль из-под шкафа.

— Ну, — каждый раз произносила она, когда муж смущенно не договаривал фразы или вдруг беспомощно умолкал. — Да говори же толком, наконец, — не выдержала она, — царица небесная, тянет ровно щипцами, делом говори!

Он еще и еще раз начинал о том же, все более убеждаясь, что говорить не о чем. На душе лежала безмерная тяжесть, а на словах ничего не выходило.

— Ну, сплетничают, каркают,— подытожила Анисья,— а дальше?

— Мало тебе этого, — сердился он больше на себя, чем на жену, — приятно слушать, скажешь...

Ободренный звуками собственного голоса, Петр разразился потоком жалоб. Теперь все шло у него на лад. Положение действительно казалось безнадежным, факты были убийственные. Наконец-то он заставит Анисью понять, что нельзя больше отмахиваться от этого вопроса, пора серьезно призадуматься над ним. Она отодвинула шкаф, протиснулась в образовавшуюся щель и спросила:

— Это все? Силы небесные! — я на самом деле думала, случилось что... И пусть себе говорят. Язык, что знает и не знает, все скажет. Анютка какой была, такой и останется... Сама сколько раз слышала — говорят, боже милостивый, что ж им другое делать?

— Не легко мне, Анисья, пойми ты...

— А мне ни капельки, все одно выходит, что собаки лают.

Она положительно не понимала его; ведь речь идет не об Анне, а о нем...

— И откуда здесь такая пыль набивается,— вслух жаловалась ткачиха из-за шкафа,— хоть лопатой сгребай.

— Послушать только, какие они гадости про нее рассказывают,— не успокаивался Петр.

— Подумаешь,— тем же тоном, словно речь шла о пыли, продолжала Анисья,—а что они про Солодова и Алексеева говорили?

В самом деле, не слишком ли он стал подозрителен; ткачи всегда готовы подтрунить над новым человеком. Пройдет немного времени, они привыкнут к ней, и все как рукой снимет. Не век же им болтать одно и то же, надоест.

— Нехорошо так,— с болью произнес Петр.

— Брось об этом думать... У меня вот мука на исходе, а на базаре, говорят, десять рублей пуд. Ты бы в кооперативе поговорил, может, отпустят.

Она вышла из-за шкафа и принялась выметать из-под комода сор. То, что Анисья второй раз переводила разговор на другую тему, еще больше усиливало его волнение. Он знал манеру жены перескакивать в разговоре с одного на другое, отвечать вопросом на вопрос, но теперь не было сомнений, что она сама не верит в то, что говорит, и притворяется равнодушной, чтобы успокоить его.

Петр стал придирчив к окружающим, ему всюду мерещились иронические взгляды, везде слышались намеки и, чтобы не чувствовать на себе внимания людей, он перестал являться в цеха и целыми днями просиживал в фабричном комитете, зарывшись в кучу отношений, циркуляров и приказов. С ткачами Калымов избегал заговаривать, а при встречах делал вид, что занят или очень спешит. С женой он о сестре больше не говорил, а когда Анисья, угадывая его тревогу, заговаривала об Анне, Петр умолкал или уходил в другую комнату.

Мучительнее всего была полная невозможность что-либо предпринять. С давних пор у него сложилось убеждение, что все можно уладить, переиначить и переделать. Нет ничего неисправимого, нужно только приложить руки. Разве он не ткал из пеньки полотна? Не он ли первый стал выделывать из пакли мешковину? Разве хилые, отработавшие свой век станки под его руками не оживали, как новые? «Нужно только захотеть, да покрепче»,— эта фраза казалась ему самой красноречивой, и вместо длинных об'яснений он часто прибегал к ней. Теперь ему страстно хотелось не слышать обидных сплетен о сестре, «уладить» недоразумения между ней и ткачами.

Поведение Петра было понято ткачами иначе: и сотрудники фабрики, и мастера, и Телебукин и тысячи рабочих решили, что Калымов возгордился, перестал интересоваться делами и «заделался» бюрократом. До того внимательный к нуждам каждого, он проявлял странное равнодушие к жалобам ткачей, слушая их, думал о другом, и, в конце концов, всех направлял к секретарю. На собраниях партийного коллектива все чаще стали обсуждаться поступки председателя фабричного комитета; за упреками последовали напоминания, угрозы, и, наконец, дело дошло до контрольной комиссии. Как затравленный, метался Петр по фабрике; отношения его с рабочими все более ухудшались, ему казалось, что все ненавидят его и хотят сжить со света. Злобу свою он уже не скрывал, и когда уездная контрольная комиссия об'явила ему выговор, для всех стало ясно, что дни его в фабричном комитете сочтены.

Прошла неделя, вторая, и насмешки над новым директором сменились недовольством. Первым распоряжением своим Анна перенесла ремонт машин с будней на воскресенье. Это вызвало возмущенье подмастерьев, механиков, слесарей и плотников. Пошли слухи, что Калымова намерена об'явить днем отдыха среду и пустить фабрику в воскресные дни. Петр поговорил с сестрой, но она категорически отказалась отменить свое распоряжение.

В другой раз Петр слышал разговор сестры со старой чесальщицей, прозванной за свой дикий нрав и злой язык — гадюкой. Она пришла жаловаться на мастера, который не переводил ее на ручную ческу. Работа на геклинг-машине считалась менее легкой и хуже оплачивалась.

Работница двумя узлами подвязала косынку на шее, застегнула всегда расстегнутую кофту и, сложив руки на большом животе, спросила:

— Скоро переведете меня? Месяц как жду.

— Не могу сейчас, Катя, повремени,— ответила Анна.

— Сколько ж временить? — иронически спрашивала она,— год, два, а то и все три?

Заметив Петра, чесальщица неожиданно добавила:

— Идешь в фабком, посылают к дилекторше, ровно одна рука. Жди да жди, неужели так и подохнуть придется у гекеля?

— Сейчас не время, Катя, понимаешь...

— Как не понимать,— не дала ей договорить работница,— все понимаю и все знаю, а уж что слышала — не забуду...

Она многозначительно подмигнула и передернула плечами. Анна строго взглянула на нее и спросила:

— Что ж ты слыхала?

Чесальщица сделала третий узел на подбородке и вызывающее ответила:

— Аришку Сербову перевели?

— Сербова — пролетарка, а ты связана с хозяйством,— тем же спокойным, но строгим тоном сказала Калымова.

Слова эти лишили работницу последней капли терпения, она переложила руки с живота на грудь, и глаза ее стали маленькими.

— Значит тем, что венские стулья да гардеробы припасают, им все подавай, а мы кто?

Анна встала и невозмутимо ответила:

— Ты крестьянка. Пять гектаров земли, лошадка, две коровы и дом — лучше всякой мебели.

Чесальщица подняла голову и возвысила свой голос с таким расчетом, чтобы ее услышали в конторе и на лестнице.

— Стало быть, те, что деньги на платья тратят,— те пролетарии, а те, что последний грош на хозяйство отдают — буржуи... Ежели в фабкоме свои подобрались, думаете, вам приволье, что хошь, то делай? Я этого не оставлю: в женотдел пойду, в совет, а ежели ничего не выйдет, на пороге здесь лягу и пока не переведете, не подымусь.

Она кричала, размахивала руками и было видно, что она готова сейчас уже осуществить угрозу и лечь на порог. За пять лет работы на фабрике она убедилась, что перед ее воплями отступали самые строгие директора. Два раза она уже ложилась на порог и небезуспешно. Петр с тревогой думал, что если сестра не согласится уступить ей, произойдет ужасный скандал. Он хотел уже предупредить ее об этом, как вдруг случилось нечто не-

предвиденное. Анна вышла из-за стола, взяла работницу за руку и мягко сказала:

— Садись, Катя.

Работница растерялась и несколько секунд беспомощно осматривалась по сторонам, а когда Анна придвинула ей стул — села.

— Вот что,— начала Калымова,— обманывать тебя я не стану, обещать того, что не следует — не хочу. Даю только слово на этот раз тебя не увольнять. Хулиганов и ослушников приказано с фабрики гнать без предупреждений. Придешь другой раз с криком или мастера облаешь — уволю... Сердись не сердись, от порядка не отступлю. Иди с богом... Да, мужа пришли, место на шлихтовке освободилось.

Чесальщица встала, некоторое время не знала благодарить или возмущаться, затем заискивающе улыбнулась и вышла.

Не успели еще улечься страсти вокруг вопроса о воскресном ремонте, как всех взбудоражило новое событие: мастеру чесального цеха был об'явлен строгий выговор. Вернувшись со с'езда фабричных комитетов, Петр узнал следующие подробности. Во время утреннего обхода фабрики Анна поднялась на второй этаж и долго ходила взад и вперед по отделению. Когда мастер Алексей Бурлаков подошел к ней, она взяла из кипы несколько мотков льна, прищемила их коленями и быстро стала перебирать спутанные космы.

— Вы принимали? — спросила она его, откладывая лен.

— Я, — несмело ответил мастер.

— Об'являю вам строгий выговор. Вы причинили фабрике убыток: путанку эту следовало бы забраковать.

Не дожидаясь его возражений, Анна взяла из рук чесальщика несколько прядей вычеса и предложила ему определить номер. Бурлаков долго гладил шелковистые нити, мял их и дал неверный ответ.

— Если вы в течение двух недель не научитесь определять качество льна, я переведу вас в подмастерья.

Бурлаков пользовался общим уважением, в чесальном отделении он работал двадцать пятый год, поэтому трудно было поверить, чтобы он не мог различить номеров вычеса. Когда на дверях конторы появился штрафной лист и в числе прочих оказалась фамилия мастера, во всех цехах заволновались. Произошел крупный разговор между Анной и секретарем парторганизации, не стерпел и Петр. Он явился к сестре и потребовал об'яснений по поводу случившегося. Вместо ответа она подала ему аккуратно сложенный лист бумаги за подписью заведывающего тарифно-нормировочным бюро с итогом из пятизначной цифры. Это была сумма убытка от неправильного определения пряжи.

— Можешь взять эту ведомость, я изготовила два лишних экземпляра: для секретаря парторганизации и для председателя фабричного комитета.

Анна, как и всегда, была права.

Недовольство ткачей с каждым днем возрастало, а она словно не замечая этого, продолжала раздражать их своими распоряжениями. После каждого обхода фабрики становилось известно о новых строгостях и наказаниях. Старшие рабочие переводились к станкам, рядовые ткачи вдруг дела-

лись подмастерьями, сыпались выговоры, предупреждения и увольнения. Ткачи с высокой оплаты низводились на низшую, с чистой работы на грязную, с внутрикорпусной на дворовую, причем категорически запрещено было принимать уволенных. Рабочие толпами шли в фабричный комитет, возмущались и недвусмысленно намекали на родство председателя фабричного комитета и директора. Скоро Петру начало казаться, что ткачи как будто опасаются его и не так, как раньше, откровенны с ним. Даже Анисья несколько раз заговаривала о происшедших переменах.

— А что, Петя, — спросила она однажды мужа, — не уйти ли тебе из фабкома?

— Зачем? — удивился он.

Она долго напрягалась, растягивая сбежавшееся после стирки белье, обернула рубаху вокруг качалки и, не глядя на мужа, ответила:

— Так лучше было бы. Чего же зря страдать? Не будут говорить, что ты руку сестры тянешь. Охота за ничто страдать...

После этого разговора Петр твердо решил поговорить с Анной. Он искренно скажет ей, что она взялась за непосильное для женщины дело, перечислит все ее нелепые распоряжения и как брат посоветует оставить должность директора. Если она вздумает отделаться шутками или улыбками, он заявит ей, что бросает работу в фабричном комитете и возвращается к ткацкому станку. Пусть она узнает все, что накипело у него на душе и не считает его своим покорным рабом.

Вечером, когда Анна вернулась домой, Петр вошел к ней в комнату.

— Хорошо, что ты здесь, — сказала она, — ты не был сегодня на фабрике?

— Нет, что случилось?

Она казалась спокойной, но в глазах едва заметно скользила тревога.

— Произошла авария в машинном отделении: лопнул главный вал дизеля. Я еду сегодня в Сормово, думаю, скоро вернуться, — сказала она.

Петр забыл о приготовленной речи. Ему отчетливо представился долговязый дизель со сломанной осью и безжизненно повисшим маховиком; мечущийся из угла в угол машинист и шеренга затихших станков. Он провел рукой по волосам.

— Как же это случилось? — едва произнес он, — двигатель работал исправно.

Анна пожала плечами и, как бы про себя, сказала:

— Ума не приложу...

Несколько минут оба молчали.

— Что же теперь? — спросил Петр, и лицо его вдруг стало хмурым.

— Посмотрим, — неопределенно поднимая брови, ответила она.

Он вспомнил, что хотел поговорить с сестрой и подумал, что момент наступил самый подходящий. «Если она еще немного помолчит, непременно заговорю».

— Как ты думаешь, они скоро исправят мотор? Вал весит четыреста пудов.

«Вот и не повезло» — мелькнуло в его голове.

— Полагаю, исправят...

— Нужно собираться, поезд отходит в одиннадцать часов.

Она взглянула на часы, но продолжала сидеть.

«Нечего откладывать, — решил он, — пора начинать».

— Я хотел поговорить с тобой, — начал Петр, но она перебила его:

— Главный механик завода мой хороший знакомый, придется попросить его помощи.

— А я собираюсь из фабкома уходить, — брякнул Калымов видимо опасаясь, что она его снова перебьет.

— Разве? — не поднимая головы, спросила Анна, продолжая думать о своем.

Равнодушный тон сестры покоробил его и, чтобы отомстить ей, он добавил:

— Думаю, и для тебя будет лучше.

Она вскинула свои прямые брови и ничего не ответила.

— Я даже думаю, что мой уход послужит на пользу дела, — уже не скрывал Петр своего раздражения.

— Для меня безразлично, кто будет в фабкоме. Я не ищу покровителей.

— Тем лучше, пусть другой отвечает за твои капризы, с меня достаточно.

Анна строго взглянула на брата и с упреком в голосе сказала:

— Зачем ты повторяешь чужие слова?

Он на мгновение смутился, но твердо произнес:

— Это мнение всех.

'Она отвернулась и Петр успел заметить, что голова ее судорожно вздрогнула и края губ задергались. Ему стало жаль сестру и, чтобы смягчить свою резкость, он сказал·

— Ты повела себя слишком строго. Надо щадить чужие взгляды и привычки.— Ему показалось, что мысль его слишком коротко изложена и он продолжал.— Нельзя так, установленные порядки нужно уважать ради людей, привыкших к ним.

— Уважать установленные порядки? — спросила она, — даже если они вредят окружающим?

Он не успел придумать ответа и смутился.

— Во всяком случае, не сразу. Нужно выждать.

— А я думаю, что сорную траву нужно рвать с корнем, прежде чем она разрослась.

Конечно, опять она права, а он неправ. Прислушиваться к Анне, значит отказаться от собственного мнения, немудрено, что ткачи избегают вступать с ней в об'яснения.

(Окончание следует)

Тимирязев и Анучин[1]

Андрей Белый

К. А. Тимирязев

Я вспоминаю лекции Климента Аркадьевича Тимирязева, представителя той дисциплины, которая стала мне самой далекой в то время, когда он нам начал читать: не интересуяся вовсе растением с первого курса, что мог я от лекции по анатомии и физиологии растений усвоить? И, кроме того: нагруженный весьма интересами литературы, искусства, методологией, и обязательными предметами ставимой мною себе университетской программы, ходил Тимирязева слушать я изредка, чтоб увидать прекрасного, одушевленного человека, метающего большие глаза голубые, с привзвизгом ритмическим вверх зигзагами мчащегося вдохновенного голоса, выявляющего фигурой и позой,— взлет ритма.

Я им любовался: взволнованный, нервный, с тончайшим лицом, на котором, как прядала, смена сквозных выражений, особенно ярких при паузах, когда он, вытянув корпус вперед, а ногой отступая, как в па менуэтном, готовился голосом, мыслью, рукою и прядью нестись на привзвизге,— таким прилетал он в большую физическую аудиторию, где он читал и куда притекали со всех факультетов и курсов, чтоб встретить его громом аплодисментов и криков; влетев в своем фраке, обтягивающем тончайшую талию, с острыми фалдами, он, громом встреченный, бег обрывал, и отпрядывал, точно танцор перед его смутившею импровизацией тысячного визави в сложном акте свершаемой эвритмии; стоял полуизогнутый, но, как протянутый, или притянутый к нам, взвесив в воздухе очень худую изящную руку; перепередволнованный, вдруг просветляясь, сияя глазами, улыбкой цветя, становился чуть розовым, кланялся; и протягивал, чуть-чуть потрясая, нервнейшие руки.

Приветственный жест этот нам, как ответ на приветствие, так к нему шел, так слетал безотчетно, что всякая мысль, будто бьет на эффекты (о нем говорили так клеветники) отпадала; перекид пониманием меж ним и собравшимися был естественен так же, как радость весенняя, обуревающая на заре: видел он в молодежи зарю социального взрыва; и видела в нем молодежь зовы зорь; манифестация жаркой волною охватывала. Но он вот начинал: поражало всегда расстоянье меж взрывом восторгов и темою после взволнованной паузы: о растворах, о соках растений, сосудах и плазме.

На первую лекцию к третьему курсу под топанье, аплодисменты, влетал он с арбузом под мышкою; знали, что этот арбуз он оставит; арбуз будет

---

[1]) Из главы «Университет» книга «На рубеже двух столетий».

с'еден студентами; он — демонстрация клеточки: редкий пример, что ее можно видеть глазами; Тимирязев резал кусочки арбуза, и их меж рядами пускал.

В Тимирязеве поражал меня великолепнейший, нервно-ритмический зигзаг фразы взлетающей, сопровождаемый тем же зигзагом руки и зигзагами голоса, рвущегося с утеса над бездной, не падающего, взлетающего на новый, крутейший утес, снова с него взвивающегося до взвизгов, вполне поднебесных; между взлетами голоса — фразу секущие паузы, краткие, полные выразительности, во время которых одушевление бурное, как бы бросалось сквозь лик молодеющий; и — падала непокорная прядь на глаза; он откидывал эту прядь рывом вскинутой вверх головы, поворачивая направо, налево свой узкий, утонченный профиль с седеющей узкой и длинной бородкою; то отступая (налево, направо), а то выступая (налево, направо), рисуя рукою, сжимающей мел, очень легкие линии, точно себе самому дирижируя,— он не читал, а чертил свои мысли, как «п а»; и потом, повернувшись к доске, к ней — бежал, чтоб неразборчиво ткани сосудов чертить нам.

Казался таким легконогим, безбытным; а для меня посещение его лекций было менее всего изучением физиологии тканей, а изучением жеста ритмического.

В эту пору такими же взрывами, взлетами ведь протекала борьба его с министерством; я помню, как бросил перчатку он — выходом из университета; и как он, гонимый, добился-таки своего; помню,— как покатила толпа со всех курсов, встречать его ревом; и он перед нею расцвел в той же паузе вытянутой.

Все, к чему ни касался он, символом пело: и красная лента, которая механически на профессора сваливалась и в которой был должен профессор на акте читать (с треуголкой в руке и при шпаге),— та красная лента пропела пред тысячной аудиторией знаменем красным, когда Тимирязев на кафедру встал.

Поражала в К. А. очень яркая сердечность порыва, соединенная с огромной культурою и с расширением интересов его (на искусство, общественность, музыку, литературу); я не говорю о науке, которой владел он; я — не специалист, лишь отсиживавший его лекции, да разве горе-участник практических занятий по анатомии, которые вел ассистент его, Строганов; знающие утверждали, что курс Тимирязева по физиологии тканей был курсом, им лично проделанным экспериментально; его общие статьи — верх изящества; его публичные лекции — блеск. Не ученый меня умилял в нем,— утонченный культур-трегер, умевший в каждый шаг силу чувства влагать; я не забуду профессора Тимирязева на юбилее Математического общества, превратившегося в чествование отца; он читал ему адрес; и в этот акт силу сердечности внес, когда голос его задрожал, и он рывом, бросаясь как бы, его подал — отцу.

Мои личные отношения к К. А., как студента — экзамен: он спрашивал — быстро, просто и дельно; увидев, что знаю, он не задерживал и не «м е м е н ь к а л», как некоторые другие, молчащие перед молчащим студентом, или высиживающие минут эдак десять вопросик (а время — идет).

Не помню, когда познакомился я с К. А.; только при встречах здоровались. Кончив университет и читая публичную лекцию в 1907 г. (в Политехническом) о Фридрихе Ницше, я был удивлен, пред собою увидев К. А.; зная, что стиль моей лекции очень далек ему, переконфузился перед «учителем»-слушателем; слушал — тихо, культурно, не так, как иные, которые, если сочувствуют, то из десятого ряда кивают, коль нет, то ужасные мины состраивают; К. А. слушал скромнейше.

Потом, вскоре встретив его, если память не изменяет, на выставке и, подойдя, я признался ему, как смутил он недавно меня:

«О, о,— что вы»,— пропел он изысканным жестом француза (в нем было французское что-то),— все с тем же, изученным мною: культурно-сердечным.

Позднее удар с ним случился.

В 1910 году мы встречались в Демьяновском парке, где жили, как дачники; он в коляске сидел в тени лип, иль прихрамывал, опираясь на палку; В. И. Танеев к нему каждый день заходил; они, кажется, в эту эпоху дружили; соединяла — культурность, начитанность, знание литературы и такт удивительный.

В 1917 г. я опять с ним встречался; в Демьянове же, где еще Тимирязевы жили; он двигался лучше, но был возбужден; мы согласно хвалили журнал, издаваемый Горьким (сотрудничал в нем он) и горьковскую газету «Новая жизнь», казавшуюся большевистской тогда (т. е. в июне 1917 г.). С Танеевым они сходились на критике Керенского.

Д. Н. Анучин

Дмитрий Николаевич Анучин,— два года я числился специалистом при нем; и, казалось бы, воспоминаний о нем живет рой; между тем,— никаких; каким виделся в 86 году маленькому, таким виделся в 902—903 годах; и таким же увиделся около 920 года, когда его встретил на улице; за тридцатипятилетие моей жизни, хотя б изменилось в нем что-нибудь; я же менялся: ребенок, отрок, юноша, муж, муж почтенного возраста; Анучин все — седенький до желтизны, размохрастый, с огромнейшим носом, но с маленьким лобиком, плачущим той же морщиной, в то время как рот под усами седыми до... желчи оранжевой, цвел той же лисьего вида улыбкою; плечи — покатые; впалая грудка; всегда в сюртуке; выше — издали; около — маленький-маленький; дико вихры жестковатые встали, как будто нацелясь; головка же — полувытянута, полуопущена как бы под тяжестью турьих рогов: турьерогий; по волосяному покрову, по козьей бородке — вполне дряхлолетнее козлище, очень спокойно копытце влагающее в сюртучок, чтобы из бокового кармана платочек доставши, схватиться за мясо могучего сизого носа, навислины очень достойной; «а н - ф а с» — хитрый лис; профиль же козерожий, с трибуны, из ложи мог в прежнее время и грозным казаться; на акте

университетском усевшись пред публикой на возвышенье, Анучин, увидя высокого и власть имущего чина,— так вскинул свой профиль пред тысячной аудиторией, что я подумал: с межбровья зубчатая молния, выпыхнувши, чина сразит; но электрического явления не было; истечения электричества были тихи; и профилем виделся Д. Н. издали; при приближении — фасом повернут он был: добродушной, лукавой-лукавой, улыбочкой: лис — лис ласковый, а не козел.

Очень добрый!

А говорят: было ж время такое, когда Д. Н. волосом черен был и выявлял, может быть, обитателя предараратской равнины; но верно, то было тогда, когда Ной выходил из ковчега, имея по левую руку клыкастого и многоглавого мамонта; правую же руку вложивши в ладонь Д. Н., им выводимого вместе с собою, представил его эриванцам; Д. Н., тотчас в поезд сев и прикативши в Москву, вышел седеньким, точно таким вот, каким видел его; и отправился, в шубу свою запахнувшись, к под'езду, глядящему в стену кремлевскую, к зданию Исторического музея, где он помещался с музеем своим, с кабинетами (антропологическим и этнографическим), как исторический памятник; к этому зданию бегали мы на Анучина, перебежав Александровский сад, с Моховой; вот, бывало, раскроешь тяжелую дверь: впереди ведет лестница в зал пустеющий этнографического музея, где и тряпками, и позументами ярко зыряне, мордва, вотяки раскричалися, выпучивши из витрин стекло глаз; что-то было здесь мне от «п а н о п т и к у м а»: неуютно; мы свертывали в дверь направо, пред лестницей; и попадали в парницу, имеющую назначенье скорей растить персики, а не Анучина греть (старичок, вероятно, был зябкий); раздевшись в передней совсем небольшой, попадали в теплейшую и небольшую, какую-то серую комнату; стол удлиненный — посередине; вокруг него — стулья; шкафы — по стенам; на столе: или череп с приобориком для измеренья угла лицевого, иль издание редкое, пышное, собрание дочерей праматери всех пяти частей света: фиджийки, зулуски, китайки, турчанки, швейцарки, француженки, но — без костюма (студенты любили альбом тот рассматривать). Между шкафом и столом, перед креслом, возглавившим стол,— очень маленький, очень спокойный Анучин с хронической улыбкою вечности, с бегающими зорко глазками плакал морщинами лба пред тремя-четырьмя обступающими его студентами, опередившими нас. Никогда не видал я уездов, или приездов Анучина в это теплейшее место; всегда он здесь был, как растение, с почвою связанное, между шкафом и креслом; пошамкивал, нас ожидая, о том иль о сем со студентами,— не торопясь, не сердяся, не радуясь.

Здесь он читал этнографию, антропологию и физическую географию: попросту, можно сказать,— по-семейному; приходили к нему человек, эдак, 20—15; и все умещались за длинным столом, возглавляемым им.

Он пождет-пождет; и — начинает читать, тут же, стоя, пошамкивающим тихим голосом около кресла при шкафе, и шагу не сделавши; как разговаривал,— так и читал; иногда даже трудно было понять, началася ли лекция курсовая, иль частная беседа продолжилась; так и оканчивалися лекции, про-

должаясь в беседу, о том и о сем; уходили: Анучин стоял в той же позе, схватясь за нос, и пришамкивал студенту; ни разу не изменилась картина; всегда он нас ждал — в этой позе и в этом же месте; всегда провожал нас глазами — от этого места; встречая позднее Анучина в разных местах,— ужасался; в моем представленьи он содержался, как персик редчайший,— в теплице своей исторической.

Лекции?

Не сомневаюсь: Анучин прекраснейший глубокомысленный, знающий, очень ученый; и кроме того — просвещеннейший, либеральнейший деятель; не сомневаюсь: скучал он читать то же самое кучке студентов — в десятилетиях времени; в силу почтенного возраста и неизменных седин доминировало надо всем представление, что нет нового ничего под луною; эта кучка студентов, которая чмокала соску, когда здесь Анучин таким же студентам читал,— та же кучка, забыв этнографию, пустится в жизнь, когда будет читать еще соску сосущим младенцам он; бремя непеременного круга вопросов, которого центр неподвижный — он, видно, давило почтенного старца; читал он пресонно, превяло, пренеинтересно, совсем о другом размышляя и зная, что слушающие — не внимая, не размышляя, для вида сидят; и чтоб не казаться смешным, он пример подавал; и подремывал между словами.

Лекция по географии — думы мои о Дионисе, об Аполлоне, об Архилохе, Терпандре; сквозь них раздается бывало — тишайшее, старческое:

— Берега бывают прямые, изрезанные, лопастные...

Молчание.

— Еще какие?

Молчание.

Кто-нибудь рявкнет:

— Полуовальные!..

Взгляд Анучина с хитрецой иронической выблеснет:

— Знаю, брат,— выдумал из головы: что ж,— сойдет!

Лекция по этнографии — думы мои в разморенье тепличного жара о том, что раствор, поди, выкипел; пора бежать в «о р г а н и ч е с к у ю»; Дмитрию Николаевичу пора бы тянушки свои перестать жевать.

Он же жевал:

— Религии бывают: христианская, магометанская.

Пауза.

— Еще какие? Кто скажет?

Молчание.

Кто-нибудь рявкнет:

— Китайские!

Взгляд — хитренький, но — безотзывный.

Возьмешь под шумок, да юркнешь прямо в дверь: Александровским садом — к Зелинскому.

Моя жизнь

С. Подьячев

(Продолжение)

В Москве мы долго бедствовали. Он все-таки, в конце концов, как хороший мастер, подыскал работенку — поступил к какому-то «хозяйчику», а я, не находя себе никакого «места», окончательно погрузился на дно, впал в нищету, обленился. Помню, ухитрился, написал небольшой рассказец и отнес его в журнал, носивший, как помнится, кличку «Радуга». За ответом, как и водится, велели наведаться недельки через две. Наведался и получил ответ, что рассказ «не подходит», об'яснять не стали. Это обстоятельство еще больше, так сказать, принизило меня и еще больше усугубило подавленность моего духа. Какой-либо помощи со стороны, от кого-либо ждать было нечего. Оставался один выход: отправиться домой, на родину к отцу. Но, как же я явлюсь домой в таком виде? Как покажусь матери, которая обольется слезами, увидев меня такого. Но другого выхода не было, и я, уставший, не только физически, но и душевно, грязный, приниженный, позабывший, что значит ласковое слово, отправился домой, надеясь и веря (заранее при одной только мысли задыхаясь от слез), что мать примет меня, «блудного сына», поймет и простит.

Отправился я домой на пасхе. Пасха в том году была в начале апреля. Еще в конце марта снега уже не было, и дни все время стояли теплые, солнечные.

Поля были еще голые. По низким местам стояли лужи воды, а по овражкам бежали звонкие, весенние говорливые ручьи. Колеи по дороге наполнены были мутной, густой жижей, и по дороге, кое-где, только по высоким местам начавшей просыхать, езды еще совсем почти не было.

Вышел я из Москвы рано утром за знакомую мне Бутырскую заставу, из которой выходил когда-то, тоже направляясь домой по приезде в Москву из училища.

Дойти до дому, в один день сделать семьдесят верст по грязной дороге я не рассчитывал, а решил, что переночую в деревне, а завтра вечером доберусь до места, спрячусь где-нибудь, подожду пока совсем стемнеет и потихоньку, никем не замеченный, прокрадусь домой, а там что будет!

Бесконечно длинен и утомителен был весенний день. Казалось, не будет ему конца. На душе у меня лежал камень, и весь я был переполнен каким-то особенным болезненным чувством стыда и страха при неотступно рисовавшейся картине встречи с родными.

За день прошел верст сорок пять. По селам и деревням по случаю праздника и хорошей погоды шло гулянье. На меня или вернее на мой костюм обращалось особое внимание. Не раз я слышал насмешливые и обидные замечания.

— Эй ты, дикой барин, — кричали мне — подбирай подметки-то, отвалились! Когда из тюрьмы-то убег?! Эй, землячок, к жене, знать, спешишь? Кланяйся ей от нас!

Вечером, перед закатом солнца, я не решился проситься на ночлег, зная по опыту с каким недовольством смотрят в деревне на таких оборванцев-ночлежников, как я, да еще и в праздничное время, а нашел себе ночлег в лесу под елкой, низко опустившей во все стороны свои ветки-лапы. Наломав веток, положив их толстым слоем на землю, я лег на этот матрас и долго не мог уснуть, вероятно, от сильного переутомления.

Лес был не старый, смешанный. Елки, осины, березы. Березы и осинки стояли еще голые, с набухшими почками. Какой-то особенный, чисто весенний запах сыростью и прелью шел от земли, а лес наполнен был различными живыми звуками, шедшими со всех стороны. То слышно было, как где-то вдали чуфыкает тетерев-черныш, то кричит заяц, то тянет над лесом вальдшнеп, как-то особенно покашливая: «хы!.. ка! ка! хы! ка! ка!» — то где-то, очевидно, над болотцем, вьется и блеет, точно молодой барашек, бекас-самец, а снизу слышно, как откликается ему самка: «ти, ти, ти! ти, ти, ти!» Изредка и неожиданно человеческим голосом аукнется сова и замолчит и ждет, когда ей откуда-то издали откликнется другая таким же странным, пугающим голосом. Но тихо, точно на цыпочках, крадется ночь. Делается все темней и вместе с темнотой постепенно замолкают звуки. Лес засыпает...

Утром проснулся, чуть брезжило и чувствуя, как весь дрожу от холодной сырости, пронизывающей меня насквозь, вскочил, побежал на дорогу («ночлег» мой был в стороне от нее) и, чтобы разогреться, быстро пошел в ту сторону, куда лежал мой путь.

К вечеру пришел в родные места и спрятался под горой в кустах, откуда, как на ладошке видно было село, церковь, огромный, спускавшийся на южную сторону, под гору к ручью, вековой барский парк.

Итти засветло домой я не хотел, потому что боялся попасться кому-нибудь на глаза. Дождался, когда совсем стемнеет и тогда, потихоньку, оглядываясь и крадучись, как вор, пробрался на задворки, к нашему сенному сараю, пролез под ворота и зарылся в оставшемся от зимы лежавшем в углу, сене.

Напротив сарая, где я спрятался, около старой полуразвалившейся кирпичной стены был пригорожен шалаш-хлев, в котором стояла корова, и рядом маленький шалашик для кур.

Я долго лежал, не решаясь выходить из сарая, и как-то незаметно уснул.

Утром проснулся от какого-то шума за воротами. Прислушался. Слышу, кто-то ходит, стучит и поет потихонечку что-то «божественное».

— Подоишь корову-то, дай ей сена!.. — услыхал я голос отца и весь похолодел, — рано-то не выгоняй, все равно взять нечего, травы-то нет. Голодные приходят к вечеру. Слышишь, что ли?!

— Слышу! — раздался голос сестры, как я сразу понял, доившей в хлеве корову.

— Ну, я пойду самовар ставить! — крикнул опять отец и слышно было, как он, стуча сапогами по утоптанной тропке, отошел.

В курятнике громко закричал несколько раз петух.

— Ну, не ори там! — крикнула сестра, — сейчас выпущу. Ишь, ты, распелся!

Немного погодя, подоив корову, в сарай, отворив настежь скрипучие ворота, вошла сестра.

Я притаился.

Она взяла, стоявший здесь, около сена кошель и начала набивать в него сено. Вытаскивала она сено совсем близко от меня, почти касаясь моих ног и вот, скорей всего, от поднятой сенной пыли-трухи, я как-то совершенно неожиданно поперхнулся — закашлялся и уже теперь, считая совершенно излишним скрываться, поднялся из сена и во всей красе встал перед сестрой.

Увидав меня, она испугалась, ахнула, заплакала.

— Пойду скажу дома, что ты заявился, — сказала она, — а тебе такому нельзя и из сарая-то выйти. Сиди здесь!

Она начала пропекать меня, что я явился в таком виде, что скажут люди и, главное, что будет, когда узнают «господа» о том, в каком виде явился «сынок Павла Афанасьевича».

— Скажи матери, чтобы пришла ко мне, — попросил я ее.

— Она и так об тебе все глаза выплакала, а теперь увидит тебя такого...

Она не договорила, еще шибче заплакала и ушла.

Я стал ждать.

Сквозь щели в воротах видна была тропка, по которой должна пойти мать.

Сердце мое усиленно стучало, и весь я переполнен был какой-то особенной, необ'яснимой словами, скорбью.

Ждать пришлось не особенно долго. Вскоре я увидел быстро идущую, в каких-то стоптанных галошках на босу ногу, по тропочке к сараю мать.

Увидел я ее и почувствовал, как комок слез подкатился к горлу и стал душить.

Она отворила ворота, вышла, увидала меня и с криком «сынок, батюшка», бросилась ко мне.

Не помня себя, захлебываясь слезами, я прижался к ней, и оба мы плакали и слезы эти были сладки, от великой любви, наполнявшей наши сердца друг к другу.

— Сынок-батюшка, голубчик,— шептала она, всхлипывая,— слава тебе, господи, жив-то ты! Как же это ты опустил-то сам себя? Пить, знать, стал? Слух прошел про тебя нехороший, будто ты гуляешь, с нехорошими

людьми связался. Богу ты молишься ли, сынок, батюшка, а? Поесть, небось, хочешь? Потерпи немного, затоплю печку, картошки сварю, помаслю, принесу тебе. А уж ты, сынок-батюшка, никуда не ходи!.. Так и сиди здесь... Не кажись пока на глаза людям-то... Чужим-то людям, сынок, про чужую беду-то узнать все равно, что медку слизнуть... Чужую-то беду руками разведу, сладко об ней чужому-то поговорить. Ох, царица небесная, матушка, заступница наша, что только и будет, когда господа узнают про тебя?! Ох! Огорчил ты нас с отцом, сынок! А мы-то об тебе беспокоились: где он? Как он? Думали: вырастешь, в люди выйдешь, нас обрадуешь, люди будут завидовать, а ты на-ко, поди... Ну, христос с тобой, не горюй уж! Авось, господь даст, поправишься, образумишься... Не горюй! Ох, одет-то ты как! Хуже-то последнего нищего? А все говорила я, когда еще говорила, брось читать книжки, не доведут они тебя до добра, вот по-моему и вышло! Слух дошел, что ты в Москве жил, сочинял ишь сказки какие-то, побасенки. Господа смеялись. Отцу выговор был сделан. Сам барин сказал: «А у тебя, Павел, Семка-то сочинитель, писатель», а сам засмеялся, засвистал, помахал палкой и пошел прочь. Каково было, сынок-батюшка, отцу-то такие речи терпеть. Пришел домой сердитый, пресердитый... На меня раскричался: «родила, говорит, сынка мама, да не приняла яма». Я же у него виновата осталась... О, господи помилуй! И не знаю, что теперь будет и не придумаю! Небось, вшей у тебя, сынок, прогребу нет! Ну, ты полежи, ляг, а я пойду печку топить, поесть тебе принесу. Ляг, заройся в сено-то. Рубашка-то на тебе, батюшки, огню присечь! Знать, никогда не стирана?!

Она ушла, вытирая слезы, а я опять зарылся в сено и вот немного погодя услыхал за воротами шаги и покашливанье. Отец?! — подумал я и не ошибся. В сарай вошел отец.

— Эй, приятель, — крикнул он, — вылезай! Ваня запечный приехал, обрадовал нас с матерью! Ну, куда ты теперь пойдешь-то, а? Кому нужен?.. Эх, Семка, Семка, не ждал я от тебя, что ты бродягой, пьяницей будешь! Не то думал, думал, человеком будешь, не будешь такую же лямку тянуть во всю жизнь, как я тянул, да и сейчас тяну. Эх ма! Горе мне с тобой! Попрекают меня тобой, глаза колют. Ну, куда ты теперь? В пастухи и то не годен. Трубы тобой затыкать только вместо вьюшки. Эх ма! Нехорошо, брат, нехорошо! Нас-то бы с матерью не срамил, пожалел бы, старики мы, мученики, радости у нас в жизни не было. Думали: авось, мол, он вырастет, в люди выйдет, обрадует... Ан нет! А что нам теперь с матерью осталось, могила одна... Так должно быть, в сыру-землю пойдем, радости не увидим. Видно, с лысинкой родился, с лысинкой и помрешь... Эх, ма!

Голос его задрожал, в нем слышались горькие слезы.

Я не мог больше терпеть. Бросился к нему, заплакал, закричал:

— Прости меня! Прости меня! Тятя, голубчик, родной, прости меня!!

Весь этот день пролежал я в сарае. Мать два раза приходила ко мне, приносила еду, а вечером, когда совсем стемнело и замолкло, она пришла в третий раз и потихоньку сказала:

— Сынок-батюшка, вылезай из сена-то, пойдем домой, теперь уж никто не увидить. Пойдем-ка, я тебе там чугун воды согрела, помойся, а то ишь ты, бог с тобой, какой пришел, глядеть страшно, пойдем.

Она пошла вперед, а я, как побитый кобель с опущенным хвостом, поплелся за ней.

Дома, в чуланчике, за печкой, в том самом, где когда-то мылся бродяга, дядя Никон, пришлось мыться и мне. Но прежде, чем мыться, мать заставила меня вычесать с головы вшей. Для этого дела она расстелила по полу лист газетной бумаги, как сейчас гляжу: «Московских Ведомостей», поставила на полу рядом с газетой лампочку и озабоченно сказала:

— Встань на коленки, сынок. На гребень-то, почешись! Небось накопил — конца краю нет.

Я, как малый ребенок, с радостным волнением выполнял ее ласковые приказы, произносимые голосом, в котором слышалась великая любовь к своему «сынку-батюшке».

Через час я вымытый, переодетый в чистую отцовскую рубашку, пил чай, а всю мою рваную одежду, — и верхнюю и нижнюю, — мать завернула в бумагу и вынесла на двор, сказав мне:

— Завтра утром, жива буду, сожгу, сынок, всю твою одежу в печке. Больше-то она никуда не годится. Нищему и то подарить совестно.

— Ухаживай за ним больше, баловница, потатчица, а ему это и на руку! — крикнул за перегородкой, очевидно слушавший наш разговор, отец. В тебе все блохи-то и сидят, баловница. «Сынок-батюшка», — передразнил он мать, — такой, сякой, не мазаный», а ему и ладно, где бы погонять хорошенько надо, голову намылить, а она «сынок, б-а-а-тюшка! Тьфу!»

— Что же теперь с ним, голубчик, Пал Фанасич, делать-то? С кем грех не бывает! Сын, вить, наш, не чужой. Чужова и то жалко. Авось, господь даст, поправится. Не такие столбы подламываются.

— Поправится! До-о-жидайся. Набаловала на свою шею, теперь вот и няньчишься с ним! Как говорил тогда: отдадим в мастерство, в слесаря, н-е-т, чорт понес, к господам полезла просить! Барчонок какой, подумаешь! В училище повезла... тьфу! Что вот теперь с ним делать-то?

— Пущай у нас пока поживет, отдохнет, в себя придет, а там что господь даст.

— Господь тебе ничего не даст, а вот, что господа скажут?!

Но мать не нашла, что ответить, ибо «а что скажут господа» ей было так же, как и ему, понятно и страшно. «Господа» для этих запуганных людей-рабов были все, и какой-то особенный страх-трепет овладевал ими при одной мысли только, что «господа» могут «прогневаться» на них.

— Ну, что господь даст, — опять повторила мать, тяжело вздохнув. — Не гнать же его в самом деле, как собаку бешеную. Сын, небось, — должны они понять.

— Поймут они, чорта с два! — сердито проворчал отец и оба они замолчали. Молчал, как пришибленный, и я.

И вот, невзирая на то, «а что скажут господа», я остался жить дома.

Было тепло и меня поселили на чердаке в чулане с тем условием, чтобы как можно реже показываться на улице.

Мать караулила меня, кормила и таинственно с испугом шептала.

— Живи, сынок-батюшка, потихоньку, не показывайся никому пока на глаза. Сиди здесь, будто тебя и нет, а там видно будет. Богу молись на досуге.

А то принималась, придя ко мне вечером, расспрашивать о том, как я жил в Москве, с какими людьми знался. Но пуще всего ее интересовало мое пребывание в монастыре и пребывание это, как я это заметил, было ей по душе, нравилось.

Выслушав мой рассказ про о. Савелья, она как-то особенно умилилась, перекрестилась и тихо сказала:

— Праведный человек, пошли ему господи, терпенья, воздай ему по делам его! Доброй он души человек. Помяни его, сынок-батюшка! Поминай его на молитве. Ох, мало, посмотришь, нонче таких людей стало. Мало! А монастырская жизнь хорошая, если кого господь укрепит. Святая жизнь!

Однажды пришла она ко мне особенно поздно. Дело было в мае месяце. Ночь была лунная, теплая. Свет луны заглядывал ко мне в маленькое оконце-гляделку, проделанную из чулана в крыше, и полосками ложился по горбатому, настланному из горбылей полу. Она пришла, села и как всегда, тяжело вздохнув, сказала.

— Все еще не спишь, сынок?

— Нет.

— Вот и мне тоже не спится. Блохи что ли кусают. Нет сна, хоть ты что хочешь делай!

Она помолчала, опять тяжело вздохнула и тихонько и как-то особенно задушевно-ласково, заговорила:

— А я все, сынок-батюшка, об тебе думаю. Ты у меня из ума не идешь. Думаю все, как он такой-то жить будет? Что его в жизни ждет? Горе, да слезы, слезы да беда. Ох, сынок, сынок, жизнь ведь она страшная, мачиха она для таких-то вот, как ты, горюн, и вот, что я тебе скажу: иди-ка ты в монастырь жить к преподобному отцу нашему Мефодию-чудотворцу. Там бы тебе и место и успокоил бы ты мое сердце. А как хорошо-то! Ты вот уж был, жил в обители и жить бы тебе, сынок, там. Напрасно покинул святое место. У нас, сынок, из роду нашего есть один, в монастырь ушел на Старый Афон, на святую Афонскую гору.

— Кто же это? — спросил я.

— Дядя твой, мой братец Иван Игнатьич. С детских лет он пристрастие к божественному имел. Большой уж был, вырыл взял в лесу землянку, спасался в ней, богу молился, а потом его в солдаты забрали. При Николае Павловиче, царе, двадцать пять лет отслужил, верой, правдой. В походах бывал, кровь проливал за веру христову. Медаль на груди имел за храбрость.

Дали ему отставку, отслужился — ушел на Афон в монахи. С той поры об нем ни слуху, ни духу. Небось, скончался теперь уж, царство ему не-

бесное! Шесть человек, сынок-батюшка, нас детей у матери было. Примерли теперь все. Все покойники! Ох, бедно жили мы! Мать-то моя красивая была. Купец один ее сватал, две тысячи за нее ассигнациями выкуп давал, только отдайте, а барин взял, да ее за пьяницу, за дедушку-то твоего Игнат Тихоныча, отдал насильно. Игнат-то Тихоныч, царство небесное, отец мой, пил запоем. Не в горсть, а в пригоршни мать-покойница жила за ним, слезы лила. А мы росли у родителей хуже щенят. Что было-то! Что было-то, сынок-батюшка, подумать страшно! Тетка твоя Акулина от вина скончалась. Ковшом покойница пила. Вся моя родня и с отцовской и с моей стороны пьющая была. Пили, да плакали, работали, да били их, так в этом жизнь шла. А ты вот, должно быть, в дядюшку в Иван Игнатьича вышел: то же, как и он, в монастыре жил. Вот, сынок, я и опять скажу: шел бы ты в монастырь жить, а? Иди-ка! Подумай хорошенько.

— И думать нечего — не пойду!

Живя дома, каким-то отщепенцем, спасаясь на чердаке, в чулане, я написал рассказ. Название рассказа не помню, забыл. Прочитав в газете «Новое Время», случайно попавшей мне в руки, об издающемся в Петербурге журнале (название тоже, хоть зарежь, забыл), адрес редакции которого был помещен в газете, я по этому адресу послал свой рассказ. Пакет отослал с почты уездного города, лично сходив туда сам.

Ответ-письмо, сверх всякого ожидания, пришел скоро. Письмо было от критика Скабичевского. Он писал мне, что «у вас несомненный талант, но рассказ, присланный вами (потому-то и потому-то), напечатан не будет». В конце письма он благословлял меня на дальнейший писательский путь и опять повторял, что у меня несомненный талант.

Письмо это меня обрадовало, но зато в сильнейшей степени огорчило родителей. Случилось вот что: за почтой ездил на станцию раза два в неделю кучер помещика и привозил ее прямо в «барские хоромы», где сумка разбиралась или самим помещиком или кем-либо из его близких. Как на грех, на этот раз сумку разбирал сам барин, конечно, нашел адресованное на мое имя письмо, на конверте которого сверху был адрес редакции журнала, запомнил это и вот на другой день, увидав отца, с особенным злобным ехидством сделал ему по этому поводу выговор.

Отцу, конечно, было неприятно это, но на мать, которую он упрекал по отношению ко мне «баловницей» и «потатчицей» господский выговор подействовал удручающе.

Перепуганная, встревоженная, пришла она ко мне в чулан и со слезами, жалобно заговорила:

— Ну, вот, сынок-батюшка, ну, вот и дождались! Дочитался до беды, дописался, прогневил господина! Отцу выговор через тебя сделан был. Письма, ишь ты, стал получать из ридакции какой-то, точно барин благородный. Каково отцу-то было слушать-то это, а? Когда же ты, сынок, опомнишься-то? Подумай-ко хорошенько, кто ты такой есть? Господ ты вот теперь прогневил совсем, на кого тебе надеяться-то? Покорности в тебе нет, смирения

нет, а господа-то нешто этого не видят, а? Видят, они все видят, не любят таких-то, непокорных-то.

Она долго причитывала, делала мне наставления, плакала, но и любя меня и жалея, все-таки, в конце концов, страх перед «господами» взял верх, и она сказала:

— Уходить тебе, сынок-батюшка, надо на место куда-нибудь. Нельзя тебе здесь оставаться, а то еще больше господ прогневить можешь.

«Прогневить господ», точно она напророчила, вскоре же пришлось мне еще раз и это «прогневление» ускорило уход от родных.

Дело было еще осенью, в начале сентября, но осень стояла хорошая и в лесу попадались еще в изобилии белые грибы. Я любил ходить собирать их по известным мне «местам», и вот однажды утром, возвращаясь домой с корзинкой наполненной грибами, наскочил на самого барина-помещика.

Я шел из-под горы, а он спускался под гору, как раз мне навстречу. Он шел посвистывая, помахивая тросточкой. Впереди бежала черная большая собака. Поровнявшись со мной, он как-то сбычился в мою сторону и злобно прохрипел:

— Ты что здесь шляешься? Чтоб духу твоего не было здесь! В двадцать четыре часа — вон!

Я почувствовал, как затряслось у меня «нутро» и как злоба к этому сытому барину-крепостнику, к этому и тогда уже чутьем понимаемому мной классовому смертельному врагу, каленым железом пронзила мое сердце. Об этой встрече я ни отцу, ни матери не сказал, зная, что если бы они узнали о ней, то это еще больше подлило бы масла в огонь. Барин почему-то тоже не сказал отцу про эту встречу.

Жить дома стало нельзя. Я сказал отцу, что ухожу в Москву искать какого-нибудь «места». На самом же деле у меня был другой план. Отец, выслушав меня, махнул как-то особенно выразительно безнадежно рукой, и грустно сказал:

— Эх, Семка, Семка, видно и тебе такую же чашу, как я пил! Лучше бы тебе и на свет не родиться!

Он дал мне сколько-то денег, кое-какую одежонку и я в одно, как говорится, прекрасное утро, оторвавшись от рыдавшей матери, отправился на станцию, на ту самую, с которой, когда-то в детстве, вместе с матерью, провожавшей меня, поехал первый раз «по машине».

На этой станции мне удалось попасть на какой-то дешевый рабочий поезд и с ним уехать в Петербург.

Цель моей поездки была попасть в Питере к критику Скабичевскому, письмо с его адресом я вез с собой, а там, думал я, будь что будет!

(Продолжение следует)

Рождение безымянного героя

(Баллада)

Небо и воздух, насколько могла,
Кофейною гущей наполнила мгла.
Дом в гуще зловещей с макушки до пят —
В нем добрые вещи беззвучно спят,
А люди и звери храпят в унисон:
Вот так начинается общий сон.
Сон начинается не спеша
С самого нижнего этажа.
Он с вертикали на параллель
Мимо задушенных фонарей
Лезет бочком, как гигантский краб.
Тяжек кругом стоярусный храп
И лишь заключенная в трубы вода
Поет в бессоннице, как всегда.
Лестницы вид жесток высотой,
Сон стоит перед дверью простой.
Эта дверь доверья его лишена
Потому, что за дверью не храп — тишина.
Эта дверь деловито вещает (притом
Грубым голосом медной доски):

УПРАВДОМ
Каждый день принимает
С 5 до 8.

Сон глаза протирает:
«Ах, чорт возьми!
Ровно пять. К человеку войду, не стучась,
Первый раз в жизни в приемный час».
Ставлю на вид: здесь ясно вполне,
Что дверь говорит не о ночи — о дне,
Но сон, позабывши, что ночь теперь,
Ловко просачивается сквозь дверь.

Вот на подушках гора-горой
Будничных дел безымянный герой,
Спит управляющий домом, пока
Темень, как черный кофе, крепка...
Он герой, но на плечи его Вальтер Скотт
Не возлагал Крестовый Поход,
Ему вручить не успел Шекспир
Ни одной из своих пресловутых рапир.
Вдохновенье поэтов не клало еще
Нервных пальцев своих ему на плечо
И романтика за руку не вела
Его через струны и зеркала.
Кто ж он, герой? Из чего состоит?
Сложный душой, он несложен на вид,
Наново надо его изучать,
Чтобы в легендах он смел зазвучать.

Семиэтажный дом высок,
Тучи целуют его в висок,
Лысой, коричневой головой
Уперся он в звездный поток живой,
Где-то пониже покатых плеч
Пламенная задыхается печь,
И хитро придуманный механизм
Жаркую кровь гонит вверх и вниз.
Набивая углем свой кирпичный живот,
Этот дом неосознанной жизнью живет,
Но, как вы, как каждый, — он всегда и везде,
Знал болезни и жажду,
Был открытым вражде.

Вот, возникнув из спички иль искры пыжа,
Без ключа и отмычки вбегает пожар.
Вот в подвал миллионом врывается мышь,
Снег лавиной со звоном срывается с крыш,
А зловещая сырость, как таракан,
По стене ползет, и орет ураган.

Только ты, управдом, на чеку стоишь,
Ты хозяин и лекарь, в пургу и в тишь
Трезво, ясно ты знаешь, доверенный страж,
Что собой отвечаешь за каждый этаж.
И ночами, коль служба твоя честна,
Ты храпишь в полхрапа и спишь в полсна.

Небо, как черный кофе, слегка
Замутненный каплями молока;
По цвету судя, с молоком в родстве
Туманом скрадываемый рассвет;

Скользки панели, жестки столбы,
Легок дымок из фабричной трубы,
Сонны дома, но бодрящ, как ток,
Первый взвивающийся гудок.
Дворник старик с метлой и совком
Скупо панель посыпает песком,
Идет молочница с молоком,
Каждый сапог ее молотком
Ударяет в ступеньки железобетон,
И брящают деньги и бидон о бидон.
В дверь управдома стучит она,
И стуком оборвана тишина.
Стрелка часов подходит к восьми.
Сон, уходи и пожитки возьми.
Кончен прием. Прочь со двора!
Гражданин управдом, подниматься пора.
Дел и лиц закружит поток:
Ждет Гормилиция, Электроток,
Ждет Откомхоз и ждет Жилсоюз,
Каждый в очередь свою.
Ждут на заводе, в селе иль в Руни
Твои сотоварищи. Все они
Взялись за станок, за топор, за перо,
Каждый из них безымянный герой,
Каждый ответствен, как ты, управдом
Перед Республикой и трудом.
Безымянных героев в нашей стране
Численность выверена вполне.
Их (как сумела статистика счесть)
143 000 000 есть.
Небо, как кофе с молоком пополам,
Пора, управдом, пора по делам.
Хлопают двери, шаги поют,
Черный кофе тебе подают.
В стакан ворвались, покинув углы,
Последние капли рассеянной мглы.
Выпил, добавив в стакан молока,
И уже за портфель схватилась рука.
Бесцветно пальто, неприметен картуз,
Вышел, поднес папиросу ко рту.
Небо, как чистое молоко,
Путь далек, но итти легко.

А. Миних

**
*

На перекрестках опять стучат
После таких перерывов,
И блеск кирпича
На саженных плечах —
    Значит живы.

Льнут и лезут к этажам этажи,
Поет и визжит железо —
Так кровь к месту пореза
В здоровом теле бежит.

    Гордый и пьяный
    За ударом удар, —
    Так подживают у города раны,
    Так у города спадает жар,
    Так поправляются страны.

**
*

Если из центра на двадцать втором
А потом пешком от Народки, —
В подтверждение газетной сводки
Новый строится дом.

    Не краном, не как в Германии —
    Германия не при чем,
    Просто идет себе каменщик
    По лесам с кирпичом.

**
*

Пятифасадное здание
Разрешено геометрически,
И светит в центре электрический
Фонарь бельгийского издания.

Я учтена при схеме этой
И не горда и не обидчива
И включена в чертеж усидчивый
В одну из этажевых сеток.

И в этом выверенном доме
Мне отдана площадка пятая
С определенною затратою
Минут и легких при под'еме.

***

Не оставляй следов неполноценных
И никаких незавершенных дел, —
Ни сына женщине, которой не хотел,
Ни писем мартовских — лукавых и забвенных.
Письмо умрет, но прах его бумажный
Встревожит, может быть, живого не шутя,
Нерадостно и незаконно даже
От скудных ласк рожденное дитя.

Мария Шкапская.

Кровь в Таджикистане

Через ущелья, дымные плющи,
Кремнистою дорогою пыля,
В пастушеские кутаясь плащи,
Проходят эмиссары короля.
С владельцами сияющих шелков
Они ведут полночный разговор,
И длинной стаей лондонских клинков
Развеян сумрак пограничных нор.
Кладет ладонь британский режиссер
На выключатель бури и войны,
Стрелок московский целится в упор.
Ущелья Гарма сыры и темны.
И на штыках горючая заря,
И на чалме цветет бубновый туз...
О, старый Киплинг, ты сегодня зря
Крутил победно тигровый свой ус!
Прислушайся — железный виноград
Уже созрел и скоро быть беде.
Крепка, как штык, строка твоих баллад,
Но этот штык мы повернем к тебе.
— «Кровь — красный соус,— помни, ты сказал,—
— Кипучий сок, прославивший пиры...»
Лагорский тигр, мы помним твой оскал
И крепкий коготь бешеной игры...
Намылив клык, рычи на пять морей,
Скликай наемных всадников оплот —
Его у наших каменных дверей
Встречает раскаленный пулемет.
Последний сон приснится королю,
Сойдут гербы с мундиров и монет,
Прикованному к доку кораблю
Припомнится колониальный бред.
Нам запах крови вражеский знаком,
Но наша кровь упряма и чиста,
Об этом знает Гармский исполком
И лазареты Красного Креста.

Сергей Марков

Боевому товарищу

Конь мой! Зной звонкокопытый!
Мой товарищ боевой;
Трижды пиками пробитый,
Бесталанный череп мой.
Как случилось, что у смерти
Мы остались не в чести?
Как могли сквозь эти смерчи,
Наши трупы пронести?
Как такие злые дали
Безбоязненно прошли?..
Под Проскуровым не пали,
Под Хотином не легли?..
И от Киева до Гдова
Пронеслись на всех парах,
И Петлюру и Фролова
Разогнали в пух и прах.
Конь мой серый! Лучшим другом
Был ты мне в метель и гром;
Между Западом и Югом,
Между Бугом и Днепром.
Мы прошли полями взрытыми,
Сквозь солнце и луну;
Я — руками, ты — копытами
Очистили страну.
Где ж теперь ты? Как проводишь
Эти мирные часы?..
Может быть, стреножен бродишь
У несжатой полосы?
Может быть, смущенный пленом
И пристыженный слегка,
Ты арбу со свежим сеном
Тянешь к дому мужика?
Может быть... да что разгадывать
Твой временный покой,
Все равно, пока, — приглядывать
Не мне, брат, за тобой.

Потому что... ведь и я-то,
После напастей и гроз,
Жизнь бездомную солдата
В дом спокойный перенес.
За работой да за спорами
Я время провожу,
Не бряцаю больше шпорами
И шашки не ношу.
Рад работе и покою,
Но тревожный до сих пор,
Я прислушиваюсь к вою
И рычанью вражьих свор.
Вдруг они сорвутся с цепи,
Вдруг залают за плетнем?
Вдруг окутаются степи
Пылью, дымом и огнем?..
... Серый друг мой!.. Я не верю
Ни улыбкам, ни словам.
За прикрытой, мирной дверью,
Знаю — зло готовят нам.
В этой благости наружной,
Как в тиши перед грозой,
Может, снова будет нужно
Подружиться нам с тобой.
Что ж поделать?.. мы готовы
Переделать ремесло,
Ты — на новые подковы,
Я — на старое седло.
И опять мы будем вместе
В окружении былом,
Между подлостью и честью,
Между другом и врагом.
Прогремим полями взрытыми,
Сквозь солнце и луну,
Чтоб руками и копытами
Отстаивать страну.

Иван Приблудный.

Международное обозрение

Обсервер

1. Финансовая экспансия Америки

Едва ли можно отрицать, что одним из замечательнейших явлений послевоенной эпохи приходится считать стремительный и все растущий темп экспорта американского капитала за границу. Данный факт составляет ту «экономическую базу», на которой вырастает «надстройка» империалистической политики Соединенных Штатов. Для того, чтобы как следует понять и оценить извилистые линии этой «надстройки», нужно хотя бы бегло заглянуть в тот лабиринт переплетающихся финансовых отношений, которые связывают республику доллара со всем остальным миром. Недавно опубликованная американским правительством работа Рей Холла о расчетном балансе Соединенных Штатов дает для этого как подходящий повод, так и подходящий материал [1].

Перед войной Соединенные Штаты были должником других стран. В то время как, например, в 1913 году общая сумма американских инвестиций за границей составляла 2,6 миллиарда долларов, — общая сумма иностранных инвестиций в Соединенных Штатах исчислялась в 4,5 миллиарда долларов. Выходило, таким образом, что задолженность Соединенных Штатов за границей колебалась около 2 миллиардов долларов. Война, как известно, радикально изменила это положение. В настоящее время Соединенные Штаты являются кредитором всего остального капиталистического мира. В 1927 г., например, общая сумма только одних лишь частных американских инвестиций за границей составляла 14,5 миллиарда долларов, которым противостояли лишь около 3 миллиардов долларов иностранных инвестиций в Соединенных Штатах. Капиталистический мир, был таким образом в долгу у Нью-Иорка на 11,5 миллиардов долларов. А, если сюда еще прибавить инвестиции американского правительства, т. е., проще говоря, военные долги европейских государств Соединенным Штатам, исчисляющиеся в 12 миллиардов долларов, то окажется, что общая сумма иностранного долга Америке достигает громадной цифры в 23,5 миллиарда долларов. Какая резкая, какая поразительная перемена декораций! Подобного рода зрелища не часто встречаются в мировой истории.

В высшей степени характерно, что экспорт американского капитала за границу год от году систематически растет и пока не обнаруживает никаких симптомов замедления темпа. Размах его отличается поистине исполинскими размерами, и далеко оставляет позади все то, что когда-либо наблюдалось в Англии, в предвоенную эпоху бывшей главным кредитором человечества. В самом деле, если мы проследим по годам вывоз капитала из Соединенных Штатов и Великобритании в послевоенный период, то увидим замечательную картину:

---

[1] «Trade Information Bulletin», № 625, by Ray Hall Washington U. S. Government Printing Office.

Экспорт капитала
(в миллионах долларов)

	Соединенные Штаты	Англия [1]
1921 г.	577	561
1922 »	757	675
1923 »	347	685
1924 »	1 245	675
1925 »	1 307	440
1926 »	1 351	560
1927 »	1 648	695
1928 »	2 070	750
Всего . .	9 302	5 041 [2]

Как видим, американский экспорт капитала за 8 лет вырос более, чем втрое и в настоящее время достигает громадной цифры свыше 2 миллиардов долларов в год. Наоборот, экспорт английского капитала все время колеблется около 600 миллионов долларов в год, не обнаруживая никакой устойчивой тенденции к под'ему. В результате Великобритания все больше и все безнадежнее отстает от Соединенных Штатов. В 1921 году заграничные инвестиции обеих стран были почти одинаковы, в 1928 году американские инвестиции почти втрое превосходили английские. За весь рассматриваемый период Соединенные Штаты экспортировали свыше 9 миллиардов долларов, а Великобритания — лишь немногим более 5 миллиардов. Цифры, достаточно красноречивые для того, чтобы нуждаться в каких-либо специальных комментариях.

Куда же направляется поток американского капитала? Каково географическое распределение американских инвестиций за границей?

Некоторым ответом на поставленный вопрос могут служить следующие данные известного экономиста Макса Винклера, относящиеся к началу 1928 г.:

	Миллионы долларов
Америка	
Канада	3 922
Центральная Америка .	2 915
Южная Америка .	2 247
	9 084
Европа	4 327
Дальний Восток (Китай, Япония, Филиппины) .	727
Прочие .	363
	14 501

Итак, совершенно очевидно, что, как и следовало ожидать, поток американского капитала прежде всего направляется в ближайшие к Соединенным Штатам страны, расположенные в Новом Свете. Небезынтересно будет отметить, что в одной Канаде Соединенными Штатами вложено почти столько же, сколько в целой Европе. В высшей степени важно указать также на тот чреватый большими последствиями

[1] Английские цифры охватывают инвестиции как за границей, так и в британских колониях.

[2] Данная таблица составлена на основании данных Рей Холла, дополненных цифрами «The International Statistical Year Book», 1927, Geneva, League of Nations.

факт, что, начиная с 1923 года, сумма американских инвестиций в Канаде превосходит сумму инвестиций Великобритании в той же стране. И разница между этими двумя суммами все больше увеличивается, притом не в пользу Великобритании. Неудивительно при таких условиях, что Канада была первым из британских доминионов, отправившим своих посланников за границу, и что первый из этих посланников был аккредитован при правительстве Соединенных Штатов. Неудивительно также, что американское «общественное мнение» уверенно рассчитывает на отпадение Канады от Британской империи в случае войны между Англией и Соединенными Штатами, и что эти расчеты находят себе достаточное оправдание в господствующих в Канаде настроениях.

Бросается в глаза также высокая цифра американских инвестиций в центральной Америке, из которых 1 389 млн. долларов, или почти половина, приходится на долю Мексики, где, как известно, нью-иоркские финансисты обнаруживают глубокий «интерес» к нефтяным источникам. Данный факт также прекрасно об'ясняет тот непомерный «активизм», который Соединенные Штаты обнаруживают в сфере внутренних отношений этого государства.

Более чем скромен пока поток американского капитала на Дальний Восток. В самом деле, 727 миллионов долларов на Японию, Китай и Филиппины—это ведь почти ничего! Притом львиная доля даже указанной суммы падает на Филиппины и на Японию (в последней до 400 миллионов долларов, вложенных частью в государственные и муниципальные займы, частью в электрическую промышленность, исполинский же Китай до сих пор по-настоящему еще не подвергался обработке со стороны американского капитала. А ведь какие грандиозные перспективы здесь открываются! Вот почему вашингтонское правительство в последние годы уделяет так много внимания «китайскому вопросу», вот почему оно стремится разыгрывать из себя роль «доброго друга» китайского народа, вот почему оно с такой настойчивостью расталкивает локти других империалистических держав, успевших ранее притти в Китай, и крепко старается просунуть свою руку и в Нанкин, и в Манчжурию.

Особый интерес представляют американские инвестиции в Европе, которые покрывают почти 30% всей суммы заграничных инвестиций Соединенных Штатов. Рост их в послевоенный период был поистине исполинский. В 1913 году американские инвестиции в Европе составляли всего лишь 350 миллионов долларов, а в 1928 году, как мы уже видели, 4 327 миллионов,— увеличение более чем в 12 раз (при общем росте американских инвестиций за границей в 5½ раз). Весьма характерно постепенное проникновение американского капитала в одну европейскую страну за другой. Первоначально главный поток американских инвестиций шел в Германию, где в настоящее время сумма американских вложений достигает почти 2 миллиардов долларов. Как известно, лишь благодаря этой мощной финансовой помощи Германии удалось снова стать на ноги после военной катастрофы и до сих пор справляться с уплатой репараций. Далее, американский капитал стал проникать в Польшу, в Чехо-Словакию, в Скандинавские страны, в Финляндию, в Италию, Францию, Испанию. Повсюду он обнаруживал одни и те же тяготения: он шел, главным образом, в государственные и муниципальные займы, а также в некоторые определенные отрасли хозяйства — в электрическую промышленность, в радиопроизводство, в производство искусственного шелка, в горное дело.

До самого последнего времени, однако, американский капитал обходил Англию. Правда, Нью-Иорк все время ссужал Лондон краткосрочными кредитами, но инвестиций длительного порядка, как общее правило, избегал. За

последние два года положение стало резко изменяться. С 1927 года началось, а в 1928 году чрезвычайно усилилось проникновение американского капитала в Великобританию. Оно приняло конкретную форму скупки нью-иоркскими финансистами акций целого ряда крупнейших английских предприятий, причем в некоторых случаях им удалось приобрести «контрольные пакеты» или даже стать полными собственниками тех или иным фирм.

Приведем некоторые наиболее любопытные примеры. Так, американцам сейчас принадлежит 60% акций английской «Дженерал Электрик Компани», 30% акций «Ассошиэтэд Электрик Индустрис» и 100% акций «Гретер Лондон Энд Каунтис Трест», снабжающего электрической энергией 95 городов и местечек с количеством населения свыше 2 миллионов. Американские финансисты ведут сейчас переговоры о покупке еще целого ряда электрических предприятий в Англии, стремясь стать твердой ногой в этой излюбленной ими отрасли производства. Далее, американский капитал начинает поход на английскую граммофонную промышленность, скупив пока 54% акций «Граммофон Компании», проникает в медное производство в Родезии (Южная Африка), захватывает производство нитратов в Чили, эксплоатировавшееся до сих пор английским капиталом, приобретает британские телефонные линии в Южной Америке и т. д. Движение это еще очень молодо и потому подводить ему какие-либо итоги еще рано, но темп и энергия названного движения носят настолько американский характер, что английский капитал вынужден уже сейчас принимать некоторые оборонительные меры. Целый ряд британских компаний в последнее время стал ставить рогатки проникновению американского «влияния». Так, например, компания «Имперских воздушных путей сообщения» приняла решение, что ни один иностранец не может владеть ее акциями, компании «Маркони» и «Кабели и беспроволочный телеграф» ограничили 25% число акций, которыми могут владеть иностранцы. Известная кампания «Бурма», «Трест резиновых плантаций», «Железная дорога Буэнос-Айрес — Тихий океан» лиишли иностранных держателей акций права голоса и т. д. Можно сильно усумниться в практической ценности всех этих мероприятий: ведь современный капитал — столь тонкая субстанция, что для проникновения ее в условиях буржуазного производства не может быть никаких заслонов и преград. Но не в этом сейчас дело. Судорожные попытки английской буржуазии защитить свои исконные владения лучше всего свидетельствуют о чрезвычайной серьезности той атаки, которую сейчас ведет против нее американский капитал, и которая рано или поздно должна увенчаться его успехом.

Если в странах, подобных Великобритании, американский капитал делает только первые, сравнительно робкие попытки прибрать к рукам важнейшие отрасли производства, то в других, более слабых и менее самостоятельных государствах он уже подходит к полному закабалению местного населения. Прекрасным примером тому может служить П о л ь ш а. Помимо того, что Соединенные Штаты держат в своих руках ее государственные финансы и ее валюту, крупнейшие американские финансисты сейчас расхватывают по частям ее народное хозяйство. Особенно важную роль играет известная фирма Гарримана, которая чрезвычайно «интересуется» горным делом и электрической промышленностью. Эта фирма лучше всего укрепилась в польской Силезии. На ее долю здесь приходится 35% всей угольной добычи, 50% всей выплавки чугуна и стали и 100% всего производства цинка! Не довольствуясь этим, Гарриман ведет сейчас переговоры о гигантской «электрической концессии», которая должна отдать на целых 60 лет в распоряжение американской фирмы одну четверть всей территории Польши и $^1/_8$ ее населения. Гарриман собирается вложить в это дело громадные капиталы (до 100

миллионов долларов) и фактически, таким образом, стать «некоронованным королем Польши» [1]. Куда же дальше?

Да, не подлежит ни малейшему сомнению одно: Соединенные Штаты сейчас страдают резкой формой капиталистического полнокровия. Отсюда — мощная и стремительная финансовая экспансия Америки. И отсюда же — ее быстро растущий, агрессивный, бряцающий золотом и оружием, по всему земному шару, жадно протягивающий свои руки империализм.

2. Хождение по мукам в Гааге

Как поверхностны и наивны либеральные пацифисты!

Оценивая в номере от 3 августа перспективы Гаагской конференции, созванной для окончательного принятия плана Юнга, лондонский «Economist» рисовал самую радужную картину. Атмосфера в Европе проясняется и успокаивается. Взаимные распри и подозрения между народами исчезают. Впервые за послевоенный период репарационная конференция собирается в нейтральной стране. Делегаты, с'езжающиеся на конференцию, полны искреннего желания раз навсегда ликвидировать острую проблему. Очень хорошо, что Францию будет представлять не Пуанкаре, а Бриан, — человек, который «больше, чем кто-либо из современных французских политиков проникнут духом доброжелательности и примирения». Журнал с уверенностью говорил, что «обстановка на конференции будет спокойной»...

И, однако, в многострадальной истории репарационной проблемы еще не было ничего, подобного нынешнему совещанию в Гааге! Никогда еще дикая свалка «интересов» около жирного немецкого пирога не носила столь отвратительного характера! Из-за круглых столов Гаагской конференции на мир еще раз пристально и угрожающе взглянуло гнусное лицо современной международной буржуазии.

Чтобы понять смысл событий, происходивших в Гааге, нужно вкратце вспомнить некоторые о с н о в н ы е ф а к т ы. Выработанный в апреле специальной конференцией экспертов семи держав план Юнга предусматривал уплату Германией в течение ближайших 37 лет ежегодной суммы в 100 млн. фунтов ~~золотых марок~~ (плюс еще около 75 млн. ежегодно в течение дальнейших 22 лет). Эта сумма делилась на две неравные части: 33 млн. составляли так называемый «безусловный взнос», который Германия должна была делать при любом положении своего народного хозяйства, остальная же сумма составляла так называемый «условный взнос», уплата которого при определенной кон'юнктуре могла быть отсрочена, впрочем, не более как на 2 года. Далее, план Юнга предусматривал, что в течение ближайших 10 лет Германия еще продолжает делать союзникам поставки натурой (главным образом, углем). Наконец, план Юнга устанавливал, что распределение репарационных платежей между отдельными державами-кредиторами, до сих пор регулировавшееся соглашением 1921 г. в Спа [2], должно теперь подвергнуться некоторому изменению, а именно: доля Англии должна будет частично сократиться, а доля Франции и Италии соответственно увеличиться. Конкретно Англия вместо полагавшихся ей по прежнему соглашению 22,8 млн. фунтов должна была теперь получать только 20,4 млн., т. е. на 2,4 млн. меньше. При этом особенно обойденной оказалась Англия в распределении «безусловного взноса»: действительно, из 28,5 млн. фунтов (остающихся за вычетом

[1] «Manchester Guardian», от 25 июня 1929 г.

[2] Соглашение в Спа предусматривало следующее распределение репарационных сумм: Франции—52%, Англии—22%, Италии—10%, Бельгии—8%, прочим державам—8%.

платежей по займу Дауэса 1924 г.) Франция по плану Юнга, должна получать 25 млн., Италия — 2,1 млн. и Англия — всего лишь 900 тыс. фунтов.

Едва Гаагская конференция успела собраться, как на ней вспыхнула острая борьба, сразу разбившая конференцию на два лагеря: на одной стороне оказалась Англия, а на другой — Франция, Бельгия, Италия и Япония. Германия изображала собой «рыцаря печального образа», который трусливо жмется в уголок, боясь, как бы ему не влетело от обоих соперников. Представители малых держав, среди которых на этот раз очутились и польские делегаты, беспомощно слонялись по коридорам и поочереди подслушивали под дверями больших господ. Соединенные Штаты на конференцию не явились и, ухмыляясь из-за океана, не без злорадного удовольствия наблюдали гаагское позорище.

Из-за чего же шел бой?

Британский министр финансов Сноуден, ставший настоящим героем конференции, соглашаясь принять план Юнга за основу, выдвинул, однако, три «поправки»: 1) уничтожение деления репараций на «условный» и «безусловный» взносы, 2) уничтожение германских поставок натурой, которые сокращают экспортные возможности английской промышленности (в первую очередь каменноугольной), 3) восстановление той системы распределения репарационных платежей, которая была установлена в Спа, т. е., иными словами, повышение английской доли репараций на 2,4 млн. фунтов. Сверх того, Сноуден требовал немедленной эвакуации Рейнской области, считая, что принятие плана Юнга окончательно разрешает репарационную проблему.

«Поправки» Сноудена вызвали бешеное сопротивление со стороны Франции и Италии, которых все время поддерживали Бельгия и Япония. Особенная буря разгорелась около требования Сноудена увеличить английскую долю на 2,4 млн. фунтов. Напрасно британский министр финансов доказывал, что в то время как Англия по соглашению 1928 г. обязалась выплатить Соединенным Штатам 82% номинальной суммы своего долга, Франция обещала выплатить только 42%, а Италия даже только 18% своего номинального долга Англии. Напрасно он заявлял, что Англия не в состоянии покрывать следуемыми ей платежами Франции, Италии и Германии свои платежи Америке и за последние 5 лет вынуждена была перевести в Нью-Иорк 91 млн. фунтов, взятых из кармана британского налогоплательщика. Ничто не помогало. «Миролюбивый» Бриан с яростью индейского петуха наскакивал на «железного» Сноудена, и конференция в течение трех недель не выходила из смертельных конвульсий.

Предлагались десятки компромиссов, которые должны были вывести воз из тупика. Сначала Франция и Италия хотели удовлетворить Англию за счет Германии, повысив общую сумму репараций на 2,4 млн. фунт. Но против этого протестовала Германия, и на это не согласилась Англия. Далее, Франция и Италия придумали новый план — отдать Англии долю мелких держав в репарационных платежах. Тогда запротестовали мелкие державы, и к ним присоединилась Англия, которая тем легче готова была сыграть в благородство, что доли малых держав все равно нехватало бы на покрытие ее аппетита. Некоторые думали смягчить гневную душу Сноудена более ранним сроком эвакуации Рейнской области, но на это не соглашался Бриан. Другие надеялись привести его в лучшее настроение, если предусмотренный планом Юнга Банк для международных расчетов получит местожительство в Лондоне, но до обсуждения вопроса о банке на Гаагской конференции не успели дойти. Было бы слишком долго и скучно излагать все перипетии гаагского позорища, — достаточно будет сказать, что на исходе трехнедельных драк и взаимных заушений был, наконец, выработан некий компромисс, сущность которого сводилась к следующему:

1) Доля Англии в репарационных платежах повышается не на 2,4, а на 2,2 млн. ф., причем из «безусловного взноса» Англия отныне получает не 900 тыс., а 3 млн. фунтов. Эта уступка Англии была сделана за счет малых держав и Германии, которая обязалась в течение ближайших 21 года увеличить размеры «безусловного взноса» с 33 до 35 млн. фунтов.

2) Италия обязывается в течение ближайших трех лет покупать в Англии ежегодно по 1 млн. тонн угля, а сверх того всем странам, получающим репарационный уголь, запрещается его реэкспортировать.

3) Полная эвакуация Рейнской области заканчивается к 30 июня 1930 года.

4) Расходы по содержанию оккупационных войск после 1 сентября 1929 г. в сумме 3 млн. ф. делятся пополам между Германией — с одной стороны, Англией, Францией и Бельгией — с другой. Сверх того, Германия отказывается от компенсаций за убытки, причиненные оккупацией, в размере 1 млн. фунтов.

Гаагская конференция была, таким образом, «спасена», но, во-первых, за все разбитые горшки пришлось заплатить малым державам и Германии, а во-вторых, все участники ее раз'ехались по домам с побитыми физиономиями и расквашенными носами. Кроме того — и это самое важное — конференция оставила после себя в наследство сильное отчуждение между Лондоном и Парижем, которого не замажешь никакими красивыми декларациями. Идее англо-французской Антанты, которую так лелеял Чемберлен, был нанесен серьезный (но не смертельный) удар.

Невольно возникает вопрос: чем об'ясняется позиция Англии на конференции? Где причина острой схватки между Сноуденом и Брианом?

Конечно, дело тут не в тех нескольких миллионах фунтов, которые английская делегация хотела выторговать у своих соперников. Для страны с бюджетом в 800 млн. фунтов в год такая сумма не имеет сколько-нибудь серьезного значения. Причины резкого выступления Сноудена надо искать гораздо глубже. Его поведение определялось целым рядом более серьезных соображений как внутренне-политического, так и внешне-политического характера.

Соображения первого рода в основном сводились к желанию укрепить шаткий тыл «рабочего правительства». Меньше платить — больше получать! Это очень популярный лозунг, и притом такой, который с одинаковой готовностью будет поддерживать и лондонский банкир и ланкаширский текстильщик. «Рабочее правительство», выступающее в таком духе на международной конференции, имеет все шансы создать вокруг себя единый «национальный фронт» без различия партий и группировок. И действительно, мы знаем, что после Гааги Сноуден сделался кумиром английской буржуазии, а консерваторы и либералы стали похлопывать по спине Макдональда еще более дружески, чем раньше.

Важнее были соображения второго порядка. Приход к власти рабочей партии означает попытку британского империализма оттянуть на некоторое время назревающее столкновение с Соединенными Штатами и временно замазать все углубляющуюся пропасть между ними манной кашицей какого-нибудь пацифистского соглашения. Необходимой предпосылкой для этого является создание в Вашингтоне впечатления, что Англия не подготовляет никакого «окружения» Соединенных Штатов. А для этого прежде всего необходима демонстрация «разрыва» той интимности отношений, которая сложилась между Лондоном и Парижем в эпоху консервативного правительства. Чтобы успешно вести сейчас переговоры с Америкой, Англии нужны свободные руки. Именно этой задаче и служило выступление Сноудена в Гааге. И оно достигло своей цели.

Не случайность, конечно, что как раз в разгар Гаагской конференции Макдональд сделал публичное заявление о том, что его переговоры с Дауэсом об ограничении морских вооружений очень сильно подвинулись вперед и обещают в близком будущем принести практические плоды. Не случайность также, что почти одновременно американская пресса заговорила о поездке Макдональда в Соед. Штаты, как об окончательно решеном деле.

Нам едва ли нужно доказывать, что основная тенденция нашей эпохи идет не по той линии, по которой сейчас пытается плыть британский премьер. Никакие велеречивые слова не в состоянии надолго задержать обострение англо-американских противоречий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но дело сейчас не в этом. В данной связи нам важно лишь указать, что спор из-за нескольких миллионов фунтов на Гаагской конференции явился лишь маленьким концом большой международно-политической проблемы.

3. Египет и Палестина

Лейбористы очень обижаются, когда коммунисты называют их «третьей партией буржуазии». А между тем немногие месяцы пребывания у власти правительства Макдональда дают столько ярких примеров глубокой «буржуазности» его политики, что приходится только диву даваться. И притом какой «буржуазности»! «Буржуазности» серой, скучной и бездарной. Британский либерализм в свои лучшие дни по яркости, энергии и размаху был совершенно несравним с той бескрылой посредственностью, которую так совершенно воплощает собой нынешнее «рабочее правительство». Ллойд-Джордж предвоенной эпохи прямо революционер при сопоставлении с Макдональдом! И это не случайность. Когда люди одного класса поступают на службу интересам другого класса, они сразу теряют и блеск, и оригинальность и творческое начало. Чтобы иллюстрировать эту мысль, достаточно привести несколько характерных образчиков из практики кабинета Макдональда. Вот, например, сфера колониальной политики «рабочего правительства»...

Не так давно мировая буржуазная пресса поздравляла Гендерсона с крупным успехом в Египте. Этот успех состоял в том, что Гендерсону удалось договориться с египетским премьером Махмуд-пашой об «урегулировании» весьма напряженных англо-египетских отношений. Газеты писали даже о «новом слове» в имперской политике Великобритании.

В чем же состоит это «новое слово»?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ненадолго вернуться к прошлому. Как известно, Египет был оккупирован Англией в 1882 г. при «либеральном» правительстве Гладстона. Номинально он остался, как и был, частью Оттоманской империи, но фактически в нем стали хозяйничать англичане. Первоначально они ценили Египет, главным образом, как прекрасную базу для охраны Суэцкого канала, но затем он стал приобретать в их глазах все большее значение и как колоссальный резервуар столь необходимого британской промышленности хлопка. В самом начале войны английское господство в Египте де-факто было дополнено господством де-юре: 18 ноября 1914 г. Великобритания об'явила свой протекторат над Египтом, низложила прежнего хедива Абасс-Хильми и возвела на трон Гуссейн-Камила, получившего титул султана и «безвременно скончавшегося» три года спустя.

Война и Октябрьская революция вызвали в Египте, как и во всех вообще восточных странах, сильный под'ем национального движения. Борьба за независимость страны приняла, в конце концов, столь острые формы, что английскому правительству в 1919 г. пришлось выступить с особой деклара-

цией, в которой оно заверяло, что не имеет никаких агрессивных намерений в отношении Египта и мечтает лишь о развитии в Египте конституционных учреждений под испытанным руководством Великобритании. В 1920 г. в Египет даже была послана специальная миссия лорда Мильнера — известного консерватора-империалиста, которая должна была на месте ознакомиться с положением и рекомендовать правительству наилучшие меры для урегулирования сложной проблемы.

Предложения Мильнера в основном сводились к следующему. Англия должна признать независимость Египта и предоставить ему право полного самоуправления, но Египет должен заключить с Англией военный союз. Новое египетское правительство должно гарантировать жизнь и права иностранцев, британские же войска, остающиеся в достаточном количестве в Египте, должны заботиться как об охране Суэцкого канала, так и о предотвращении какого-либо вооруженного нападения на Египет извне.

Как видим, программа лорда Мильнера не отличалась особой революционностью. Даже при полном осуществлении ее Египет попрежнему оставался бы безвольной игрушкой в руках Великобритании. Но предложения лорда Мильнера 9 лет назад были встречены в Лондоне весьма прохладно и первоначально положены под сукно. Только когда в Египте поднялась буря негодования и национальное движение стало уже слишком сильно подмывать устои британского господства на Ниле, коалиционное правительство Ллойд-Джорджа вынуждено было пойти на уступки. 28 февраля 1922 г. было об'явлено о прекращении британского протектората над Египтом. Египет формально был признан независимым государством с королем (Фаудом I), куцой конституцией, исламом в качестве государственной религии и арабским языком в качестве официального языка страны. «Даруя» Египту «независимость», британское правительство, однако, сделало одну очень важную оговорку: вопросы об охране Суэцкого канала, о правах иностранцев, об управлении Суданом (главный район хлопковых плантаций) и о защите Египта от чужеземной агрессии должны были подлежать окончательному «урегулированию» в дальнейшем. А пока все осталось по-старому: капитуляции, британские войска в Каире и на канале, английский генерал-губернатор в Судане и полная зависимость «внешней политики» Египта от малейшего каприза Лондона.

Это лицемерие британского правительства вызвало крайнее раздражение среди египетских националистов, главой которых был недавно умерший Заглуд-паша. 7 лет, прошедших со времени об'явления «независимости», явились эпохой резкого обострения внутренней борьбы в Египте, в которой удары национального движения направлялись не только против Великобритании, но также и против реакционных сил в самом Египте, группирующихся, главным образом, около королевского дворца. Борьба изобиловала драматическими моментами. В январе 1924 г. суданский генерал-губернатор пал жертвой пули египетского террориста. Парламент то заседал, превращаясь в трибуну для пламенной националистической агитации, то разгонялся при бурных протестах населения, пока, наконец, король, отчаявшись в возможности создать покорную палату, летом 1928 г. вообще не приостановил действия конституции, превратившись в самодержавного правителя.

В течение всего этого времени английское правительство сохраняло похвальную скромность и не беспокоило египтян окончательным «урегулированием» оставшихся нерешенными вопросов. Макдональд в 1924 г. только грозил Египту бичами и скорпионами, а сменивший его Чемберлен в 1927 г. сделал слабую попытку достигнуть какого-нибудь компромисса и выработал вместе с тогдашним египетским премьером Сарват-пашой соглашение, которое было встречено националистами в штыки и провалилось в египетском парламенте: националисты ни за что не хотели примириться с дальнейшим

пребыванием английских войск в Египте, что предусматривалось договором 1927 г.

И вот, два года спустя, портфель Чемберлена попал в руки Гендерсона. Что же сделал «рабочий» министр иностранных дел?

Он выработал вместе с нынешним египетским премьером Махмуд-пашой новое соглашение: Великобритания признает полный суверенитет Египта; Египет заключает с Великобританией военный союз; английские войска остаются в Египте, но выводятся из Каира и размещаются в зоне Суэцкого канала; капитуляции уничтожаются (если на это пойдут другие иностранные державы), но в стране создаются «смешанные суды», а при египетском правительстве остаются английские финансовые и юридические «советники»; вопрос о Судане подлежит окончательному урегулированию «в дальнейшем».

Вот и все «новое слово» Гендерсона! Но ведь оно, как две капли воды, похоже на «старое слово» лорда Мильнера! Действительно, намеченная Гендерсоном программа ни на иоту не отступает от этого консервативно-империалистического образца. Какое дивное зрелище! Сродство душ между «рабочим» министром и колониальным администратором реакционной буржуазии оказывается полное.

А Палестина? Она дает другой, не менее яркий пример рабского копирования буржуазии со стороны «рабочих» министров кабинета Макдональда.

Палестина является мандатом Великобритании, полученным ею в 1920 г. из рук Лиги Наций. Еще раньше в особой декларации Бальфура от 2 ноября 1917 г. английское правительство обязалось «благоприятствовать созданию в Палестине национального убежища для еврейского народа», с той, однако, оговоркой, что «гражданские и религиозные права не-еврейского населения в Палестине» не должны испытывать никакого ограничения. Эта оговорка имеет очень серьезное значение. В 1927 г., например, из 882 000 жителей Палестины евреев насчитывалось только 150 000, т. е. 17%, остальные в подавляющей своей массе были арабы-мусульмане. Таким образом, основная проблема управления Палестиной — это проблема еврейско-арабских отношений.

Когда после перехода власти в руки Великобритании начался сравнительно широкий прилив еврейских иммигрантов в Палестину, арабы, уже в течение многих веков составляющие ее основное население, пришли в большое волнение. В еврейской колонизации, организованной сионистами и покровительствуемой английским правительством, они не без основания увидали прямую угрозу себе, своим землям, своим правам и своему положению в стране. Ситуация им рисовалась примерно в таком виде: британский империализм оккупировал Палестину, а еврейские иммигранты являются орудием британского империализма в борьбе с арабами. Это впечатление укреплялось еще благодаря тому обстоятельству, что первым генерал-губернатором Палестины был назначен сэр Герберт Самуэль, по происхождению сам английский еврей. Неудивительно, что арабы встретили еврейских иммигрантов крайне враждебно. В 1920 — 21 гг. дело не редко доходило даже до крупных вооруженных столкновений. Однако сила солому ломит, — арабам мало-по-малу пришлось смириться перед волей британского империализма, поддерживаемой не только пушками и броненосцами, но также и ловкой политикой его колониальных администраторов. В Палестине британский империализм пустил в ход ту самую систему, на которой он до сих пор поддерживает здание своего господства в Индии, — он стал искусно разжигать национальную вражду между арабами и евреями с тем, чтобы, натравливая одних на других, прочнее самому сидеть в седле. Сэр Герберт Самуэль, управлявший Палестиной в 1920—25 гг., оказал

явное покровительство евреям, чем вызвал большое раздражение против них среди арабов. Преемники Самуэля стали оказывать значительное предпочтение арабам, чем вызвали крайнее раздражение против них среди евреев. В результате вражда между обеими частями палестинского населения стала принимать все более обостренные формы и, наконец, достигла опасного напряжения в прошлом году. Когда страсти разбужены, достаточно спички для того, чтобы вспыхнул пожар. Так было и в Палестине. Непосредственным поводом для кровавых событий, недавно разыгравшихся в Иерусалиме, Яффе, Тель-Авиве и других городах страны, послужила одна странная, почти средневековая история.

В Иерусалиме есть так называемая «стена плача» — последний остаток когда-то бывшего здесь иудейского храма. Это — священное место для евреев, где они по определенным дням творят моления и целуют холодные, обомшелые камни. Но дорога вдоль «стены плача», равно как и вся окружающая местность, принадлежит религиозной организации арабов-магометан. Для них эта дорога — тоже священное место, ибо, по преданию, пророк именно здесь сделал остановку во время своего вознесения на небо. Осенью прошлого года евреи перед днем 23 сентября поставили перед «стеной плача» большую бумажную ширму, которая в соответствии с их церковным ритуалом должна была отделять среди молящихся женщин от мужчин. Мусульмане увидели в этом осквернение священного места и обратились с протестом к английским властям. Английские власти в канун 23 сентября потребовали от евреев удаления ширмы. Евреи отказались. Тогда явилась полиция и силой убрала ширму. При этом разыгралась большая драка, в которой, помимо евреев и полиции, приняли участие также и мусульмане-арабы. Евреи сочли себя жестоко оскорбленными действиями английских властей и стали требовать передачи в собственность их церковной общины «стены плача». Арабы, ободренные поддержкой со стороны генерал-губернатора, стали наступать на евреев и в целях издевательства над своим противником открыли около самой «стены плача» третьеразрядный кабак, который стал посещаться городскими отбросами. Взаимное раздражение наростало с каждым месяцем. Поножовщина, стрельба, кровопролитные стычки между группами еврейской и арабской молодежи становились все более частыми. Атмосфера явно накалялась, и все чувствовали, что в воздухе пахнет грозой[1]. А между тем власти не принимали решительно никаких мер к успокоению населения. Наоборот, они бездействовали, они поощряли еврейско-арабскую вражду. Они чего-то ждали... И, наконец, дождались так часто всеми предсказываемой бури, во время которой на улицах палестинских городов шла жестокая резня между арабами и евреями и лилась кровь сотен человеческих жизней...

Что же делало все это время правительство Макдональда? Что делал все это время «рабочий» министр колоний Сидней Вебб? Ведь приближение катастрофы чувствовалось уже давно. Ведь как раз в последние перед катастрофой 2 месяца, когда правительство Макдональда уже было у власти, особенно умножились симптомы надвигающегося столкновения. Об этом все говорили в Палестине. Об этом писали в европейских и американских газетах. Почему же Сидней Вебб даже пальцем не шевельнул для предотвращения острого конфликта? Почему он не подумал о замирении враждующих племен?

Ответ очень прост. «Рабочий» министр колоний, как две капли воды, похож на буржуазного министра колоний. Он не знает никакого «нового слова». Сидней Вебб, придя в министерский кабинет, просто всунул свои ноги

---

[1] См. «Berliner Tageblatt» от 28 и 29 августа и «Manchester Guardian» от 28 августа.

в туфли, оставленные там его предшественником, и в перевалочку зашлепал в них по тому пути, по которому шел его предшественник.

Хотя в Лондоне на министерских креслах сидит «рабочее правительство», в Египте и Палестине ничто не изменилось. Ибо «лицо» этого правительства в колониальных вопросах обнаруживает самое близкое родство с «лицом» правительства Болдуина.

4. Макдональд и текстильщики

Не иначе и в области внутренней политики. Здесь «лицо» правительства Макдональда пока ярче всего обнаружилось, пожалуй, в истории с ланкаширскими текстильщиками. История эта настолько поучительна и красноречива, что на ней стоит остановиться несколько внимательней. Она даже слепому показывает, куда «растет» нынешнее «рабочее правительство».

Суть дела вкратце состоит в следующем.

Послевоенный период принес длительный и тяжелый кризис британской текстильной промышленности. Наличность этого кризиса демонстрируется целым рядом весьма убедительных фактов, из которых мы приведем здесь лишь некоторые, наиболее характерные. Так, например, ввоз хлопка в Англию в 1928 г. составил лишь 13,2 миллиона центалов против 21,6 миллиона в 1913 г. Иными словами, потребление хлопка британской текстильной промышленностью сейчас не достигает даже $^2/_3$ довоенного. Экспорт хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных тканей также сильно сократился по сравнению с предвоенной эпохой: по пряже он составляет лишь 85%, а по тканям — даже только 75%. В силу уменьшения экспорта значительно сузился и размах текстильного производства. Нагрузка ланкаширских фабрик за последние годы не превышает 70%. Безработица держится на уровне 10—12%, однако, эта цифра не дает достаточно точного представления о реальном положении дела, так как очень большое число рабочих систематически занято лишь 2—3 дня в неделю. Насколько серьезна ситуация, можно судить хотя бы по следующему сообщению манчестерского корреспондента «The Economist», опубликованному в конце июля текущего года:

«За последние 3 месяца покупатели во всех частях света обнаруживали большую осторожность в размещении заказов на мануфактуру... Экспорт в Индию принес большое разочарование... Сообщения из Китая носят пестрый характер, но в общем и целом дают мало надежд. Недавние распродажи на аукционах в Шанхае были неудовлетворительны, цены везде обнаружили падение... Прекращение антияпонского бойкота в Китае несомненно нанесло серьезный ущерб нашей торговле готовыми тканями. Кое-какие запродажи от времени до времени производятся на Яве и в Стретс-Сетльмент, но зато полный штиль наблюдается в Египте и на Ближнем Востоке» [1].

Где корень этого тяжелого кризиса, поразившего когда-то одну из наиболее цветущих отраслей английского народного хозяйства?

Корень его весьма глубоко ушел в самую подпочву послевоенной экономики мирового хозяйства и разветвляется на несколько отростков.

Во-первых, английская текстильная промышленность имеет сейчас ряд мощных конкурентов, которые постепенно вытесняют ее из ранее занятых позиций, в особенности на Ближнем и Дальнем Востоке. Только-что упоминавшийся манчестерский корреспондент «Economist'a» в цитированном выше сообщении, между прочим, с огорчением отмечает:

---

[1] «The Economist» от 27 июля 1929 г.

«Британские товары встречаются здесь (в Индии) с могущественной конкуренцией Японии. На прошлой неделе в Манчестере были получены из Индии некоторые образцы японских тканей, и ланкаширские купцы были поражены их высокими качествами. Эти ткани сейчас предлагаются в Калькутте по ценам, значительно более дешевым, чем наши продукты».

Итак, Япония, вырастившая за последние 15 лет крупную текстильную промышленность, бьет сейчас английские товары в южной и восточной Азии, пользуясь дешевизной рабочих рук в стране и географической близостью своей к рынкам сбыта. Впрочем, японский текстиль вытесняет своих соперников также и благодаря своей высокой технической и коммерческой организации. Наряду с Японией, весьма чувствительную конкуренцию Ланкаширу составляет Китай, который на протяжении последних 8 лет более чем удвоил число веретен (сейчас около 3½ млн.) и не только частично покрывает потребности своего собственного рынка, но даже начинает вывозить известное количество пряжи за границу. На Ближнем Востоке сильную конкуренцию Англии составляет Италия. Германия также постепенно возвращает себе потерянные после военной катастрофы позиции и все более широкой струей наводняет мировой рынок своими текстильными продуктами. К этому надо еще прибавить потерю Ланкаширом такого обширного рынка, каким в свое время была для него царская Россия. В указанной обстановке английской текстильной промышленности, конечно, приходится тяжело бороться за свое существование.

Во-вторых, сама ланкаширская промышленность страдает рядом весьма крупных дефектов, в чрезвычайной степени ослабляющих ее боеспособность. Текстильное производство колоссально раздроблено. Пряденье, тканье, окраска и т. д., как общее правило, производятся не в рамках одного и того же крупного предприятия, а составляют специальные функции совершенно самостоятельных фабрик и фабричек. Неудивительно поэтому, что Ланкашир, на наш масштаб, является царством мелкого производства. Предприятие, насчитывающее 500 человек рабочих, считается уже очень крупным. Отсюда — неизбежная отсталость техники и столь же неизбежная грызня между прядильными фабриками и ткацкими, между ткацкими и ситценабивными и т. д., в чрезвычайной степени еще обостряемая традиционным английским индивидуализмом. Продукт в процессе своего производства проходит непомерно большое количество рук, а затем начинается его многострадальное странствование по многочисленным инстанциям распределительной системы. В итоге, цена на товар искусственно повышается, и на мировом рынке его бьет японский, китайский или итальянский конкурент. Если к этому еще прибавить, что подавляющее большинство текстильных предприятий Ланкашира в сильнейшей степени страдает «от разводнения капиталов», происшедшего в эпоху кратковременного под'ема 1919—20 гг., то причины хронического кризиса британской текстильной промышленности станут еще более отчетливыми.

Каков же может быть выход из создавшегося положения?

Казалось бы, даже с чисто капиталистической точки зрения единственно целесообразным средством борьбы с болезнью, поразившей Ланкашир, является широкая рационализация текстильного производства, т. е. его концентрация, техническое переоборудование и т. д. Повидимому, только на этом пути ланкаширские фабриканты могли бы рассчитывать если не совсем победить, то хотя бы значительно ослабить разрушительные последствия кризиса.

И что же?

Текстильные магнаты, оказывается, ничуть не умнее и не дальновиднее угольных баронов, которые в 1926 году довели дело до памятной горняцкой стачки. О рационализации текстильные магнаты главным образом только

говорят, а делают они совсем другое. В интересах повышения «конкурентоспособности» английских товаров в 1922 году они добились значительного снижения заработной платы своих рабочих. Как и следовало ожидать, это им мало помогло. И вот теперь они решили повторить ту же операцию. В конце июня текущего года они подняли страшный вопль о том, что Ланкашир находится на краю гибели, что английские товары слишком дороги для обнищавшего человечества и что поэтому, в интересах спасения текстильной промышленности, рабочие должны принести некоторые «жертвы». Конкретно дело свелось к тому, что предприниматели потребовали нового снижения заработной платы ткачей и прядильщиков на 12,82% и заявили, что если до 27 июля рабочие не согласятся на эту меру, то начнется общий локаут текстильной промышленности.

Рабочие реагировали на требование предпринимателей весьма решительно. Широкие массы текстильщиков были глубоко возмущены притязаниями хозяев и ничего не хотели слышать о сокращении заработной платы. Так как английские рабочие слишком хорошо знают своих профбюрократов, то на окружных собраниях ткачей и прядильщиков было принято решение, запрещавшее трэд-юнионистским лидерам в переговорах с предпринимателями даже касаться самого вопроса о понижении заработной платы. Рядовая масса не без основания боялась, что если профбюрократы получат возможность обсуждать с фабрикантами вопросы заработной платы, то они непременно ее продадут. В силу указанных решений окружных собраний переговоры между сторонами, которые велись в течение июля месяца, кончились ничем.

В последний момент на сцене появилось правительство. Сначала выступил товарищ министра труда Орес Вильсон, который дважды собирал представителей рабочих и предпринимателей, пытаясь их примирить. Дело кончилось полной неудачей, ибо руки профбюрократов были связаны вышеупомянутым решением масс.

В конце июля начался локаут. При полном развитии он должен был охватить до 500 000 человек и надолго парализовать английскую текстильную промышленность. На горизонте обрисовались грозные очертания новой исполинской борьбы, напоминающей события 1926 года. Тогда правительство перепугалось и удвоило свою энергию.

Что же оно сделало? Решительным выступлением поддержало рабочих? Энергично надавило на предпринимателей и внушительно «посоветовало» им отказаться от своего намерения? Привело в движение весь разветвленный аппарат трэд-юнионов и рабочей партии для отражения новой атаки капитала?

Ничего подобного. «Рабочее правительство» совершенно иначе поняло свои задачи. Сам Макдональд с необычайной поспешностью снялся с места и таинственно полетел в Эдинбург. Там с помощью Вильсона он собрал «секретную» конференцию из представителей рабочих и работодателей. На конференции премьер произнес прочувственную речь о тяжком вреде, наносимом «национальным интересам» начавшимся локаутом, но не сделал отсюда того, казалось бы, естественного вывода, что предприниматели должны локаут прекратить, а предложил весь конфликт отдать на решение арбитражного суда, назначенного правительством.

Рабочие массы отнеслись к предложению Макдональда очень враждебно. Британский пролетариат не любит арбитража, ибо он имел уже с арбитражем достаточно печальный опыт. Текстильщики к арбитражу относятся с сугубой нелюбовью. Но профбюрократы недаром являются профбюрократами. Еще прежде, чем массы успели как следует раскусить смысл предложения Макдональда, лидеры текстильных союзов дали согласие на арбитраж. При этом

они вполне цинично мотивировали свое решение: «Мы не хотим нового издания 1926 г.».

Арбитражная комиссия была составлена из 5 человек: по 2 представителя от рабочих и предпринимателей плюс председатель, каковым министерство труда назначило ланкаширского судью Р. Свифта. Фактически, таким образом, решать судьбу полумиллиона текстильных рабочих призван был именно этот Р. Свифт. Кто же он такой? Газеты подробно сообщали его биографию, из которой явствовало, что Р. Свифт правоверный консерватор и женат на дочери богатого ливерпульского судовладельца. А сверх того, он — тот самый судья, который осенью 1925 г. вынес суровые тюремные приговоры членам ЦК британской компартии. Так вот какого человека избрало «рабочее правительство» для ликвидации текстильного конфликта!

И Р. Свифт не обманул возлагавшихся на него ожиданий. Он обнаружил необыкновенную быстроту, решительность и... тупоумие. Уже 22 августа арбитражная комиссия вынесла свой вердикт. Она признала в принципе справедливым требование предпринимателей о понижении заработной платы, но только согласилась на него в половинном размере: не 12,82, а 6,41%. Это для того, чтобы «никому не обидно было».

Каков был эффект решения арбитражной комиссии на массы?

Оно вызвало там большое возмущение. Один из окружных секретарей текстильщиков В. Кэр дал такую оценку постановлению арбитражного суда:

«Если взять пару или тройку людей из сумасшедшего дома, они могли бы принять точно такое же решение... Оно неудовлетворительно со всех точек зрения... Оно вызовет глубокое отвращение среди текстильщиков к арбитражу вообще»[1].

Рабочий депутат В. Тоут не мог скрыть своего «глубокого разочарования» решением суда, а муниципальный советник Б. Фар назвал его просто «чудовищным». Если так выражаются лидеры второго и третьего ранга, то что же сказать о чувствах и настроениях рядовой массы?

Она волнуется и ропщет, но пока еще сохраняет внешнее спокойствие. Она еще не изжила своих иллюзий, она еще ждет, что правительство Макдональда ей что-то принесет.

Но история идет неудержимым шагом. Эта история запишет на своих страницах тот поразительный факт, что пятилетнее господство консерваторов оказалось не в силах сократить заработную плату текстильщиков, но 2½ месяцев «рабочего правительства» оказалось достаточно для понижения их трудовых грошей на 6½%. Поистине классический пример! Вот они «рабочие лейтенанты» капиталистического класса, которые выполняют грязную работу буржуазии гораздо лучше, чем сама буржуазия.

Но как раз в этом кроется ядовитый зародыш их неминуемой гибели.

---

[1] «Manchester Guardian» от 24 августа 1929 г.

Автопортрет социал-соглашателя

Н. Корнев

В Германии вышла недавно очень интересная книга. Она имеет сравнительно скромное название: «Мемуары социал-демократа». Ее автор — Филипп Шейдеман [1], имя которого давно уже стало синонимом социал-предательства. Мы имеем, таким образом, нечто в роде автобиографии основоположника социал-соглашательства. Уже одно это обстоятельство делает книгу Шейдемана весьма интересной и поучительной. Но книга становится еще более интересной, когда при внимательном чтении оказывается, что в ней содержится автопортрет социал-соглашателя, написанный к тому же весьма талантливой, мастерской рукой.

В первых главах книги Шейдеман рассказывает о годах детства и о своей семье. К этим главам приложено несколько семейных снимков. Со старинного портрета на нас смотрят родители Филиппа Шейдемана, типичные немецкие бюргеры, мелкие мещане цветущей Германии периода грюндерства, наступившего после франко-прусской войны. Рядом с ними стоит и сам Филипп, будущий вождь германской социал-демократии, а тогда весьма благонравный и богобоязненно воспитанный мальчик. Шейдеман не забывает упомянуть, что «его родители происходили из очень почтенной бюргерской семьи г. Касселя». Его сердце теперь, 11 лет после того, как он провозгласил в ноябрьские дни 1918 года германскую социальную республику, дрожит от гордости при мысли о том, что родословную семьи Шейдеманов можно продолжить до XIV века. Шейдеман с гордостью восклицает, что его род древнее рода Гогенцоллернов. Еще бо́льшей гордостью преисполняется его душа при мысли о том, что некий д-р Альфред Гербст написал целую диссертацию, посвященную родословной Шейдеманов, и доказал, что уже в 1320 году некий Генрих Шейдеман занимал видную городскую должность, другой Шейдеман был священником, а один даже протоиереем. Патриотические чувства, сознание, что «в минуту опасности нельзя оставлять отечество без защиты» (слова декларации социал-демократической фракции 4 августа 1914 г.), очевидно, испокон веку были заложены в семье Шейдеманов. Шейдеман с особенной гордостью упоминает о том, что его предки принимали самое активное участие в различных войнах вплоть до отца Шейдемана, участника войн 1866 и 1870 гг. Отец Шейдемана был ранен под Мецом, и эта рана преждевременно свела его в могилу, оставив семью без средств к существованию. Молодой Шейдеман с молоком матери и вместе с той скудной похлебкой, которой он питался в годы нищеты, всосал в себя верноподданнические чувства. Теперь, на старости лет, побывав императорским статс-секретарем и министром монархо-республики, Шейдеман, очевидно, не без удовольствия вспоминает о том, как он, молодым гимназистом, удостоился

[1] Ph. Scheidemann. — «Memoiren eines Socialdemokraten», Dresden, 1919.

чести пронести знамя во главе своей школы перед императором Вильгельмом I, которому кассельские бюргеры устроили овацию в связи с неудавшимся покушением Нобилинга на его жизнь. Шейдемана, очевидно, даже и теперь не смущает, что это было то самое покушение, которое дало Бисмарку повод для осуществления антисоциалистических законов, в продолжение многих лет душивших германское рабочее движение. Правда, Шейдеман именно в этом месте своих воспоминаний утверждает, что быть хорошим германским патриотом, значит быть социал-демократом, а не монархистом.

Затем идет довольно длинное, растянутое на несколько глав описание традиционных бродяжнических годов германского бурша. Шейдеман был наборщиком, и в качестве такового исколесил большую часть Германии в поисках работы и контакта с рабочим классом. Впрочем, сам Шейдеман признает, что он не столько искал контакта, сколько в нем играла молодая кровь и он искал приключений. Кое-какие приключения Шейдеманом рассказаны. В них нет ничего необыкновенного: это — обычные приключения странствующих студентов, ремесленников, артистов, иногда живущих впроголодь, иногда за счет благотворительных ферейнов, и добродушных бюргеров, большей же частью проводящих время в веселых попойках и шутках не всегда эстетического характера. В этих шутках германского мещанства — ночные горшки, вылитые на голову обывателя, и подобные аксессуары примитивного юмора играют весьма значительную роль. Поэтому достаточно указать, что в процессе превращения Шейдемана в зрелого «перебесившегося» человека эти традиционные горшки сыграли свою роль. Шейдеман не забывает упомянуть о своих многочисленных любовных интрижках и прихвастнуть своими успехами, которые ему затем, когда он уже был одним из вождей германской соц.-демократии, доставили ему кличку «Красивого Филиппа». Как и все мещане, он думает, что история его женитьбы должна представлять для его читателя и для будущих поколений весьма значительный интерес: целых две главы посвящены изложению романа Шейдемана с дочерью полицейского надзирателя. Роман этот представляет собою смесь дешевенького романа приключений с подражанием любому из рассказов Боккачио, и читатель облегченно вздыхает, когда будущий вождь германской соц.-демократии и дочь полицейского надзирателя, наконец, сочетаются законным, то есть, конечно, церковным браком.

Шейдеман из своей вышеописанной жизни не столько странствующего рабочего, сколько бурша, попадает сразу в соц.-демократическое движение. В шейдемановском изображении героические годы революционной борьбы соц.-демократии, работавшей в условиях исключительных законов, получают какое-то особое, мещанское, отображение. Не без грации и ехидства Шейдеман описывает, как нелегальные собрания соц.-демократов того времени происходили под видом всяких увеселительных ферейнов, ставивших своей целью не столько ниспровержение существующего государственного строя, сколько танцы и картежную игру. Дело в том, что соц.-демократам тогда приходилось избирать такую форму для своей организации, чтобы замаскировать ее перед полицией. Но Шейдеман инсинуирует, что форма очень часто овладевала истинным содержанием: карты и танцы, которые были ширмой для бисмарковской полиции, по его словам, во многих случаях превращались в самоцель. Революционеры того времени не столько делали вид, что играют в карты и танцуют, сколько действительно танцовали и сражались в преферанс. Шейдеман хочет опошлить героическое прошлое германской соц.-демократии и привести его к одному знаменателю с мещанским и соглашательским настоящим этой партии. В этом смысле весьма показательна небольшая жанровая сценка, которую дает Шейдеман. Он рассказывает, как на одно нелегальное собрание соц.-демократов явился полицей-

ский и как с ним для отвода глаз пришлось играть в карты, при чем участники организации так увлеклись этой игрой, что она затянулась далеко за полночь.

Шейдеман рассказывает, что подавляющее большинство соц.-демократических газет того времени прекращало свое существование отнюдь не вследствие преследований полиции или гонений цензуры, а просто потому, что у партии иссякали средства на содержание данной газеты. Но из-за агитационных соображений каждый раз пускался в ход следующий прием: когда редакция устанавливала, что по финансовым соображениям приходится прекратить выпуск газеты, в ней появлялась боевая революционная статья, про которую заранее можно было сказать что она приведет к закрытию газеты полицейскими или судебными властями. Обыкновенно так оно и случалось, если только, как ухмыляется Шейдеман, газете особенно не везло, и власти предержащие не замечали криминальной статьи. В большинстве случаев статья, иногда даже вполне тождественная по содержанию со статьей, вызвавшей закрытие предыдущей соц.-демократической газеты, достигала цели: газета попадала в синодик погибших от полицейских гонений, нелегальная соц.-демократическая и просто демократическая печать сообщали о новом преступлении германского правительства против свободы печати. Разве не ясно, что автор преследует здесь цель опошления одной из главнейших страниц международного рабочего движения?

Мы оставляем в стороне те страницы книги Шейдемана, где он изображает себя агитатором в разных местностях Германии, редактором целого ряда партийных газет уже в то время, когда после отмены исключительного закона против социалистов, соц.-демократия в 1890 г. вышла из подполья. Здесь Шейдеман не дает ничего нового к тому, что мы знаем об этих годах соц.-демократического движения в Германии. Мы остановимся лишь на тех чертах, которые дорисовывают автопортрет социал-соглашателя. Не успевает соц.-демократия выйти из подполья и перейти на спокойное легальное положение, как она превращается для Шейдемана и его политических друзей в большой торговый дом, для служащих которого огромную роль играют ставки, место службы и т. д. Шейдеман сам признается, что при смене им различных партийных постов значительную роль играл вопрос о повышении жалованья или перевода в город, более удобный для воспитания подрастающих детей. Рассказывая, например, о своем назначении редактором партийного органа в Касселе, Шейдеман подчеркивает, что с его стороны во время переговоров с ЦК партии большую роль играло то обстоятельство, что он требовал от ЦК договора на продолжительный срок, так как пора было «в интересах детей» перестать вести кочевой образ жизни. Шейдеман вообще несколько раз, описывая свою жизнь партийного агитатора, подчеркивал, что ему надоела кочевая жизнь, что у него и его верной подруги жизни была тоска по спокойному семейному уюту.

Предела своих мечтаний Шейдеман достиг тогда, когда он дослужился в своей фирме, то есть соц.-демократической партии, до места члена центрального комитета и до мандата депутата рейхстага, что дало ему возможность постоянно и с весьма приличным жалованьем жить в Берлине. Кочевая жизнь впроголодь кончилась. Шейдеман стал тем, что французы определяют красочным словом «arrivé». Он дает в последующих главах замечательно колоритную картину жизни соц.-демократического ЦК и соц.-демократической фракции рейхстага. ЦК партии представляется нам в изображении Шейдемана действительно в виде большого солидного торгового дома, которому нечего бояться конкуренции и который поэтому ведет свои дела спокойно и не торопясь, зная, что его покупатели к нему привыкли, что у него на потребу любого клиента есть самый разнообразный ассортимент

политических товаров. Шейдеман при этом с ехидной усмешечкой утверждает, что он был единственным, который пытался бороться против делячества и бюрократизма, царивших в том доме на Линденштрассе, где помещается центральный комитет германской соц.-демократической партии. Он весьма подробно рассказывает обо всех своих попытках оживить это учреждение, еще задолго до мировой войны представлявшее собой смесь торгового дома и бюрократического учреждения, в котором внимательно следили за правильным чередованием входящих и исходящих. Шейдеман приводит случай, когда его товарищи по ЦК партии устроили форменный скандал за то, что он ответил какому-то партийному товарищу простой запиской, не занумеровав ее и не сняв копии. Дикой скукой веет от заседаний ЦК с.-д. в те времена, когда эта партия как будто находилась в оппозиции ко всему политическому режиму Германии, хотя она не была такой революционной, как это было написано на ее вывеске и в ее политических прейскурантах.

Не менее колоритная картина получается, когда Шейдеман начинает описывать участие соц.-демократов в германской парламентской жизни. И здесь, нечаянно или нарочито, Шейдеман открывает совершенно потрясающую картину парламентского кретинизма. Достаточно, например, упомянуть о том, что по свидетельству Шейдемана, Бебель требовал от всех соц.-демократов, депутатов рейхстага, чтобы они являлись в рейхстаг в платье, установленном буржуазным кодексом мод и нравов, чтобы они выступали с речами только в торжественных черных сюртуках. Во время известной борьбы соц.-демократической партии вокруг президентского кресла (в 1913 г.) Бебеля очень волновал вопрос, есть ли у соц.-демократического кандидата Шейдемана приличный сюртук. Бебель, — говорит Шейдеман, — любил повторять, что в рейхстаге депутаты находятся, не в пивной, а в храме суверенного германского народа. Но из описания самого Шейдемана ясно, что этот, с позволения сказать, храм очень часто все-таки обращался в пивную или в кабак, в котором господа народные представители занимались не совсем невинными развлечениями, уже ничего общего не имеющими с политической борьбой. В рейхстаге, по свидетельству самого Шейдемана, под видом пробы вин очень часто устраивались настоящие пьянки с маскарадами более или менее пошлого свойства. При этом царила, очевидно, та самая «гемютлихкейт», об отсутствии которой, по вине коммунистов, в нынешнем германском рейхстаге горько скорбит Шейдеман. Правда, Шейдеман упоминает, что один раз Бебель протестовал против участия соц.-демократов в таком пьяном маскараде, но этот протест был вызван тем, что парламентский соц.-демократический «молодняк» изобразил в лицах сценку порнографически-богохульного характера. Престарелый вождь германской соц.-демократии испугался, что прусские юнкера и попы из партии центра обидятся за перенесение этой своеобразной антирелигиозной пропаганды в «вечера смычки» социалистических и буржуазных депутатов. Но на поверку оказалось, что страхи Бебеля были напрасны: прусские юнкера и католические патеры оценили социалистический юмор, и все закончилось осушением очередных бутылок рейнского вина. Бебель, скрывшийся от страха в своем кабинете, был вытащен в кулуары, переполненные забавлявшимися народными представителями, среди которых под влиянием винных паров стерлись партийные грани.

Шейдеман очень долго смакует заявление Бебеля, который был вызван на срочное заседание ЦК своей партии, но отказался приехать, так как он готовился к произнесению большой бюджетной речи, несмотря на то, что у него было целых шесть недель сроку. Это — классическое свидетельство, удостоверяющее парламентский кретинизм соц.-демократии того времени.

* * *

Надо сказать, что все невольные и нарочитые разоблачения Шейдемана относительно внешнего оформления и внутреннего содержания «революционной» соц.-демократии довоенного времени представляют собою лишь цветочки. Ягодки в воспоминаниях Шейдемана начинаются в тот момент, когда он переходит к повествованию о деяниях соц.-демократии во время мировой бойни. Из воспоминаний Шейдемана видно, что германская с.-д. задолго до мировой войны была так основательно подготовлена к роли служанки германского империализма, что, сотрудничество с дипломатами Вильгельма и генштабистами Гинденбурга и Людендорфа началось с самого начала мировой войны. Так, например, Шейдеман рассказывает, что уже 21 августа 1914 г. ЦК соц.-демократической партии послал по инициативе Эдуарда Бернштейна, Шейдемана, Зюдекума и Янсона в нейтральные страны для того, чтобы обработать в пользу Германии печать этих стран. Любопытно, что уже во время этих первых командировок в нейтральные страны соц.-демократы получили в свое распоряжение шифр германского правительства. Шейдеман, которого командировали в Голландию, переписывался, например, с ЦК своей партии с помощью шифрованных телеграмм, которые германский генконсул в Амстердаме пересылал в министерство иностранных дел. Кто знает, как неохотно представляют правительства в распоряжение лиц, стоящих вне официального аппарата, свой шифр, тот должен сразу понять, каким безграничным доверием пользовались германские соц.-демократы у вильгельмовского правительства уже в первые дни мировой войны. В свете этих, действительно потрясающих разоблачений несколько комическое впечатление производят заверения Шейдемана, что руководители германской соц.-демократии в момент взрыва мировой войны опасались, что все они будут арестованы германским правительством. Шейдеман рассказывает, что соц.-демократы так серьезно считались с возможностью роспуска партии и ареста ее руководителей, что покойный президент республики Эберт и нынешний прусский министр-президент Отто Браун бежали в Швейцарию для того, чтобы сохранить хотя бы в своем лице руководство партией. Однако уже 6 августа они вернулись в Берлин: очевидно, и им стало ясно, что, как ни глупа была германская дипломатия того времени, но и она сообразила, что преступлением было бы отказываться от услуг без лести преданных кайзеровской Германии соц.-демократов.

Роль германской соц.-демократии в мировой войне достаточна известна. Поэтому мы ограничимся здесь лишь изложением тех новых черточек, которые вносит Шейдеман в позорнейшие страницы соц.-предательской партии. Он, например, рассказывает, что почти при всех путешествиях соц.-демократов в нейтральные страны, они раньше получали инструкции в министерстве иностранных дел или имели, как он выражается, доверительные беседы с руководителями генштаба, неоднократно с самим Людендорфом. Особенно пространные инструкции Шейдеман и его товарищи получали от тогдашнего статс-секретаря по иностранным делам Циммермана перед поездкой в Стокгольм на Международную социалистическую конференцию. В Стокгольм они поехали, в буквальном смысле слова, как представители германского правительства. Точно так же действовали они при многочисленных попытках добиться заключения сепаратного мира то с Россией, то с Англией. Переговоры с таинственными представителями Англии (в 1916 г.) Шейдеман излагает особенно колоритно: он хочет вызвать у читателя представление, что здесь он действовал на собственный риск и страх, помимо германского правительства. Но, желая прихвастнуть своими связями, он проговаривается, что эти переговоры неожиданно оборвались по указке тогдаш-

него германского посланника в Копенгагене графа Брокдорфа-Ранцау. Германское правительство платило соц.-демократам за эти услуги безграничным доверием: воспоминания Шейдемана доказывают, что германские канцлеры и министры военного времени постоянно доверительно осведомляли соц.-демократических вождей о важнейших политических событиях. В этом смысле соц.-демократы находились даже в лучшем положении, чем формально верноподданные буржуазные партии. Ограничимся одним только примером: Шейдеман был все время в курсе переговоров Бюлова в Риме, когда делались отчаянные попытки со стороны Германии удержать Италию от вступления в мировую войну. Точно так же, судя по воспоминаниям Шейдемана, соц.-демократы принимали самое активное участие во всех закулисных интригах еще задолго до того, как образованием кабинета Макса Баденского в Германии официально воцарился «парламентский» режим. Так, например, когда статс-секретарь Циммерман подал в отставку, влиятельный директор департамента министерства иностранных дел Криге вызвал к себе Шейдемана и обратился к нему с просьбой повлиять на канцлера в смысле отклонения отставки Циммермана. Циммерман, который так трогательно жил в согласии с соц.-демократией, был, однако, настолько скомпрометирован известными мексиканскими телеграммами, что даже Шейдеман не мог его спасти. Особенно деятельное участие принимали соц.-демократы при назначении последних канцлеров, когда кандидаты в канцлеры вплоть до престарелого Бюлова считали необходимым для того, чтобы добиться своего назначения, прежде и раньше всего притти к соглашению с соц.-демократическими вожаками. Так, например, сам Шейдеман хвастливо заверяет, что в дни правительственного кризиса, вызванного необходимостью сменить бездарного Михаэлиса, он бегал, как жених на смотрины невест, по несколько раз в день на свидания с различными кандидатами в канцлеры.

Особенно выдающуюся роль Шейдеман играл, как известно, в последние месяцы мировой войны, когда стало очевидно, что все карты германского империализма биты и что мировая война им проиграна. Шейдеман теперь признает, что пресловутый парламентский кабинет принца Макса Баденского был комедией, в которой соц.-демократы играли весьма жалкую роль. Из воспоминаний Шейдемана явствует, что парламентские статс-секретари, в том числе соц.-демократические, не знали важнейших решений и высоко политических предприятий канцлера Макса Баденского. Так, например, тексты исторических нот Вильсону им стали известны лишь после отправки адресату. Соц.-демократам была Людендорфом отведена одна только роль: они должны были влиять на массы, чтобы те не поняли слишком рано, что Людендорф проиграл свою игру. Соц.-демократы исполняли порученное им задание действительно не за страх, а за совесть. Они боролись против надвигавшейся революции до самого последнего момента. Недаром Шейдеман заявляет в своих воспоминаниях, что Эберт ненавидел социальную революцию, «как грех». Из воспоминаний Шейдемана совершенно ясно, что соц.-демократы не только спасали по мере своих сил и возможностей буржуазный строй, — это всем известно, — они спасли, в буквальном смысле этого слова, вильгельмовскую монархию. В этом смысле весьма интересны разоблачения Шейдеманом роли, которую играл в критические дни исторической осени 1918 г. тогдашний вождь германской соц.-демократии и будущий первый президент германской республики Фридрих Эберт. Совершенно ясно, что Эберт до последнего момента уже даже тогда, когда волна революции перекатилась через головы соц.-демократических вождей и массы вышли на улицу, надеялся, что ему удастся спасти трещавший по всем швам трон Гогенцоллернов. До сих пор во всех соц.-демократических изображениях ноябрьских дней 1918 г. решающий момент падения монархии изображался так, что 9 ноября 1918 г.

явилась к Максу Баденскому депутация соц.-демократического ЦК во главе с Эбертом и потребовала от последнего императорского канцлера передачи всей власти соц.-демократам, как представителям восставших рабочих масс. Шейдеман вносит в это олеографическое изображение рождения германской республики весьма значительную поправку: он говорит, что впоследствии выяснилось, что эта «историческая» сцена была лишь повторением того, что было условлено между двумя беззаветными служаками вильгельмовской монархии — Максом Баденским и Фридрихом Эбертом. Макс Баденский, пожалуй, как это ни странно звучит, раньше соц.-демократического вождя убедился в том, что надо хотя бы на время снять ненавистные восставшим массам монархические вывески буржуазной власти, и условился с Фридрихом Эбертом, что ему на время будет передана вся власть, выпавшая из рук отрекшегося от трона и бежавшего в Голландию Вильгельма. Разоблачения Шейдемана почти не оставляют никаких сомнений в том, что Фридрих Эберт готовился играть в Германии ту роль, которую долго играл и еще и теперь играет Хорти в Венгрии: если Хорти бережет в качестве «Reichsverweser'a» венгерский трон для Габсбургов, то Эберт, очевидно, собирался беречь германский трон для Гогенцоллернов. Все планы Эберта разбиты были выступлением революционного пролетариата, вождь которого, Карл Либкнехт, провозгласил Германскую советскую республику. Шейдеман совершенно откровенно признает, что его выступление с балкона германского рейхстага, когда он, Шейдеман, провозгласил Германскую республику, было вызвано исключительно выступлением Карла Либкнехта, необходимостью отнять у неизбежной республики эпитет «советская». Предоставим далее слово самому Шейдеману, который описывает сцену, разыгравшуюся между ним и Эбертом после возвращения Шейдемана, только что провозгласившего республику: «Ты не имел никакого права провозгласить республику», — кричит Эберт и ударяет в бешенстве кулаками по столу.— «Что будет из Германии, республика или что-нибудь другое, это решит учредительное собрание». Шейдеман продолжает: «Как мог такой умный человек так плохо оценить положение, что он еще 9 ноября говорил о регентстве, назначении Reichsverweser'a (опекуна трона) и всяком другом, давно уже отброшенном, монархическом барахле». Шейдеман, конечно, притворяется, что не понимает поведения Эберта. Он хочет вызвать у читателя впечатление, что Эберт был единственной монархической вороной в стае социалистическо-республиканских голубей. Он забывает, что Эберт был вождем партии и что, кроме того, сам Шейдеман по бесконечным страницам своих воспоминаний разбросал очень много намеков на то, что в соц.-демократической партии верхи были отравлены монархическими и милитаристическими симпатиями. Он, например, рассказывает, с каким удовольствием соц.-демократические герои тыла носили военную форму и с каким наслаждением они представлялись императору и разным большим и маленьким генералам. Маленький штрих: когда революционые солдаты стали срывать эполеты у офицеров, известный соц.-демократ Гере был очень огорчен, что его принадлежность к партии не спасла его от необходимости снять офицерские эполеты.

Воспоминания Шейдемана, таким образом, в этой части дают лишь художественное оформление с несколькими весьма пикантными подробностями той исторической истины, что германские соц.-демократы играли в момент германской революции 1918 г. самую подлую, предательскую роль. Точно такую же роль они играли несколько времени раньше и по отношению к русской революции, которую Шейдеман в своих мемуарах рассматривает исключительно с точки зрения открывшейся для Германии возможности избежать поражения в мировой войне, или же по отношению к финляндской революции, которую в море крови при полном одобрении

Шейдемана утопил прусский милитаризм. Беспомощны и жалки клятвенные заверения Шейдемана, что соц.-демократы боролись с Брестским миром, продиктованным германскими империалистами. Однако надо отметить, что даже в своих воспоминаниях Шейдеман не протестует против Брестского мира, как такового, а он лишь теперь, задним числом, печалится о недальновидности прусских милитаристов, создавших для милитаристов Антанты тот классический образец, с которого потом был в увеличенном размере списан Версальский грабительский договор.

Шейдеман, между прочим, в своих воспоминаниях, если оставить в стороне его многочисленные попытки до Бреста войти в сношения с представителями советского правительства на предмет заключения сепаратного мира, совершенно не касается взаимоотношений между Германией и Советской Россией. Он подробно останавливается только на известном инциденте с советским дипломатическим багажем, послужившим поводом германскому правительству для разрыва отношений с РСФСР накануне германской революции. Рассказ Шейдемана до того беспримерен по своему цинизму, что мы его дальше приводим полностью. Из шейдемановской песни слова не выкинешь.

«Все яснее стало, что источник (из которого, по мнению Шейдемана, распространялись прокламации против императорского германского правительства) находился на Унтер ден Линден, а именно в доме русского посольства, где находился, как представитель большевистской России, г-н Иоффе. Огромно было количество русских «курьеров», которые ездили между Москвой и Берлином с подозрительно огромным количеством «дипломатического» багажа. Дипломатический курьерский багаж неприкосновенен, неприкосновенны сами курьеры, точно так же, как и посольство. «Экстерриториальная область» священна, в нее нельзя и невозможно войти без разрешения и ее уже, конечно, нельзя подвергнуть обыску. Коротко и ясно: из русского посольства распространялись листовки, в этом не приходилось больше сомневаться. Что могло быть другое в тех бесконечных ящиках, которые поступали беспрестанно в посольство из России? Каждый член правительства желал, чтобы прекратилась беспрестанная агитация в пользу большевиков, но никто из членов правительства не мог указать подходящего пути. Когда опять появилась особенно злая листовка, в особенности вредившая интересам страны, потому что мы в это время обменивались нотами с Вильсоном — члены правительства были особенно недовольны. В начале заседания кабинета 28 октября имперский канцлер неожиданно обратился через стол ко мне с вопросом, что надо предпринять, чтобы прекратить эту агитацию. Я видел только две возможности. Быть может, найдется какой нибудь высший чиновник, который готов пойти на то, чтобы его потом «прогнали», после того как он за день до этого с несколькими своими подчиненными «самовольно» вторгнется в русское посольство и конфискует там листовки. Другое мое предложение было следующее. Надо заставить нескольких носильщиков поупражняться так, чтобы они могли при переноске ящиков сбросить их на каменной лестнице таким образом, чтобы один из ящиков обязательно разбился. Тогда из ящика посыпятся листовки и будет дано доказательство, что посольство недопустимым образом злоупотребляет своей экстерриториальностью, после чего можно будет сделать соответствующие выводы. В кабинете очень много смеялись по поводу этих предложений (?), но больше о них не говорили. Общественности они стали известны только из книги принца Макса Баденского, который все это разболтал. Несколько дней после моего предложения — это было 4 ноября — Сольф нам сообщил, что на одном из берлинских вокзалов при переноске русских курьерских ящиков носильщиками один ящик разбился. Содержание ящика состояло из боль-

шевистских листовок. На следующий день все русские «дипломаты» были изгнаны».

Этот рассказ Шейдемана не нуждается ни в каких комментариях. Одно только можно сказать: далеко организатору налета на Аркос Джиксу или китайским налетчикам до социал-предательского новатора на этом поприще.

**
*

Политическая беспринципность и лакейская психология в руководящих слоях германской социал-демократии неминуемо должны были вызвать самые грязные интриги между вожаками, свирепо дравшимися друг с другом из-за каждого теплого местечка. Шейдеман теперь, как известно, почти не у дел. Его песенка спета, и поэтому он с величайшим наслаждением срывает всякие покровы со всех тех своих товарищей по партии, которые сделали лучшую, чем он карьеру. В особенности усердствует он в этом отношении по адресу Эберта. Со вздохами и лицемерными причитаниями, что мол такой великий человек, как вождь соц.-демократии и первый президент германской республики, Фридрих Эберт не лишен был человеческих слабостей, Шейдеман дает действительно очень непривлекательный образ социал-демократического вождя. Перед нами обыкновенный буржуазный политик, беспринципно добивающийся самого теплого и почетного местечка в государстве. Но в своем усердии Шейдеман заходит так далеко, что нечаянно дает в то же время и свой автопортрет. Вот, например, как в изображении самого Шейдемана происходил дележ местечек между соц.-демократическими вождями в момент созыва в Веймаре национального собрания. Шейдеман приводит следующий свой разговор с Эбертом: «Мы должны притти к соглашению о своем предложении насчет состава нового правительства. Фракция, вероятно, этого от нас ждет», — говорит Шейдеман. — «Я уже об этом думал, отвечает ему Эберт, и пришел к убеждению, что ты должен взять на себя пост рейхс-канцлера». — «Я? Я тебя не понимаю. После того, как ты главным образом занимался руководящими делами, я считаю само собой разумеющимся, что ты должен взять на себя пост рейхс-канцлера. Ты не должен при этом ни в коей мере считаться со мной. Мое желание участвовать в правительстве вполне удовлетворено». — «Ах, это глупо. Ведь мы вообще...» — «Не понимай меня неправильно, Фриц. Если ты считаешь это нужным и если фракция находит, что я должен стать министром в правительстве под твоим руководством, то я, конечно, готов это сделать». — «Ты не даешь мне договорить. Ведь нам надо еще президента республики». — «Ах, об этом ты также подумал?» «Я думаю, что мне больше к лицу представительная должность».

И эта жанровая сценка, нарисованная Шейдеманом, не нуждается в особых комментариях. Шейдеман и Эберт оба здесь, как живые. Они, притворяясь бесконечно преданными делу партии и друг другу, в то же время, конечно, стараются перехватить друг у друга самое лучшее, по мнению каждого из них, местечко. Шейдеман идет даже так далеко, что он в продолжение того самого разговора, начало которого мы привели, пытается убедить Эберта, после того как он сам убеждается, что ему не удастся стать президентом республики, что не надо вообще назначать на это место соц.-демократа, а надо его отдать буржуазным партиям. Он до сих пор не может, очевидно, Эберту забыть, что тот помешал ему добиться этого самого видного места в германской республике. Поэтому он даже обвиняет соц.-демократическую «икону» Эберта в том, что он злоупотреблял своим президентским званием, проявлял слишком много политической инициативы и этим создал прецеденты, на которые теперь может ссылаться при

проявлении в свою очередь политической активности второй президент германской республики Гиндербург. Озлобленность Шейдемана заставляет его открыть перед своими читателями удивительно неприглядные картины нравов в соц.-демократическом ЦК и соц.-демократической фракции рейхстага. Там, судя по заявлениям Шейдемана, при всяком правительственном кризисе и получающемся от сего «черном переделе» теплых министерских местечек происходит война всех против всех. Шейдеман по крайней мере утверждает, что его отставка (в 1919 г.!) была в свое время вызвана интригами некоторых соц.-демократических вожаков, которые хотели сесть на его место и поэтому против своей собственной партии снюхались с представителями буржуазных партий. Шейдеман весьма кстати напоминает своему читателю знаменитые слова Ауэра, сказанные про соц.-демократическую партию еще задолго до войны: «Много слишком человечного в нашей партии» (es menschelt zu viel in unserer Partei). Очевидно, действительно политический кретинизм и предательство интересов рабочего класса приводят к тому, что люди начинают красть друг у друга из карманов носовые платки.

Шейдеман не ограничивает поле своих разоблачений исключительно своей собственной партией. Так же беспощадно, как он отчасти, повторяем, нарочито, отчасти нечаянно разоблачает беспринципность и подлость вожаков своей партии, так же беспощадно разоблачает он лживый республиканизм и лживый пацифизм выдающихся деятелей демократическо-республиканской Германии. В особенности яркой фигурой получается у него нынешний германский министр иностранных дел Штреземан, весьма быстро превратившийся из монархо-аннексионистского Савла в республиканскипацифистского Павла. Со стороны глядя на этот несколько своеобразный «спор славян между собою» даже непонятно, зачем все еще видному представителю германской соц.-демократической партии Шейдеману понадобилось так сорвать все пацифистские и республиканские покровы с буржуазного министра, который, как известно, в своей политике уже свыше шести лет пользуется беспрестанной и самой решительной поддержкой соц.-демократической партии. Мы не будем искать психологического об'яснения этому весьма любопытному явлению. Человеческая душа — потемки, а соц.-предательская и подавно. Мы отметили лишь эту сторону воспоминаний Шейдемана потому, что они дают лишний штрих для его автопортрета.

Мы кончаем. Исчерпать содержание воспоминаний Шейдемана в журнальной статье — совершенно невозможно. Мы поставили себе лишь весьма скромную задачу извлечь из этого беспримерного «человеческого документа» несколько самых, по нашему мнению, любопытных моментов. Издание воспоминаний Шейдемана на русском языке является настоятельнейшей необходимостью, ибо эта саморазоблачительная книга является, быть может, наилучшим путеводителем для того, кто хочет узнать, как дошла германская социал-демократия до ее современной подлой роли. В галлерее тех весьма недвусмысленных личностей, которые продали и предали интересы германского рабочего класса на потребу промышленных тузов и финансовых королей германской республики, Шейдеман занимает не последнее место. Его надо, действительно, подозвать и расспросить, как он и ему подобные дошли до жизни такой. Тем более, что Шейдеман своими воспоминаниями дает на этот вопрос ответ со словоохотливостью старой кокотки, какой он в конце концов и является после своей долгой жизни на службе германской буржуазии.

Поездка в Аравию

Г. Гастов

III

Предгорье. Горный Иемен

Два большевика, два русских, верхом на мулах, в сопровождении десятка полуголых, почерневших солдат, мерно покачиваясь и поправляя седла, продвигаются узкой тропкой, вьющейся меж полей, все дальше и дальше вглубь заповедного Иемена. Горы со всех сторон замыкают пока еще достаточно широкую долину. Лучи солнца неумолимо, с возрастающей силой, как будто собранные пучком в огромной лупе, прожигают кожу, словно пробивая складки одежды.

Мы движемся вперед навстречу неизведанной стране, навстречу неизвестному будущему. Замкнутый, неведомый Иемен постепенно раскрывает перед нами свои незамысловатые тайны, представая во всей неприхотливой простоте ранне-феодальных времен. Впрочем, в пройденной части Тихамы даже феодализма настоящего мы еще не видали: изможденное население изнывающей под зноем страны до сих пор коснеет на уровне племенного, и даже патриархально-родового, быта, оно е щ е не знает феодальных форм земельной собственности и лишь с приходом в Тихаму войск Имама Яхьи — владыки горного Иемена — Тихама начала приобщаться к феодализму — в отношении политических форм.

Но все же дофеодальная Тихама — это прогресс и культура по сравнению с полуязыческими, кочевыми семьями Геджаса. Там, в Геджасо-Недждe, краешек которого мы видели за стенами белоглиняной Джедды,— там живут даже не всегда племенами, а разрозненными родами и даже отдельными семьями. Оседлое земледелие, привившееся здесь в Тихаме, — там является лишь идеалом, планом не одной, а нескольких пятилеток, осторожно, нерешительно проводимых Ибн-Саудом. Основные занятия там — скотоводство, сбор фиников с одиноких пальм да разве что грабеж проходящих караванов и нестройных паломнических толп. Тихама на целую эпоху переросла закостеневший на уровне магометовской эпохи Геджасо-Неджд.

И вот теперь мы проходим последние этапы Тихамы. Отрываясь от морских берегов, постепенно продвигаясь по возвышающейся поверхности, мы готовимся оставить позади вторую виденную нами эпоху истории человечества и настраиваемся к восприятию новой ф е о д а л ь н о й поры. И кажется, будто копыта мулов постепенно поднимают и перелистывают тяжелую страницу исторической книги, которая здесь в Аравии остановилась на своих первых главах...

А поля кругом зеленеют особой, сочной свежестью. Посевы кукурузы и проса раскидываются по обе стороны; зеленые участки тянутся сплошной полосой вдоль дороги, по которой движемся мы, обгоняя одиночных, мерно шествующих верблюдов и раз'езжаясь с быстро бегущими навстречу осликами.

Вот перед нами плетни, за плетнями круглые землянки с конусообразными крышами. Мы в'езжаем во двор и солдаты заявляют нам, что здесь необходимо переждать до наступления ночной прохлады.

И впрямь мы чувствуем, что ночной свежести уже в помине нет. Солнце едва поднялось над зубчатыми верхушками далеких гор, а уже знойные лучи его острыми стрелами бьют кожу. Росы здесь нет — это не Ходейда, где по утрам улицы мокры от липкой морской сырости. Здесь охватывают сушь и зной.

Мы уступаем. Мулов ставят в тень, не расседлывая, а лишь слегка ослабив подпругу. Нас уводят в одну из круглых хижин-землянок, туда поспешно втаскивают плетеные прокрустовы ложа. Бессонная ночь властно напоминает о себе под злыми лучами солнца.

Внутренность хижины — пара табуреток, полки на верху, на полках утварь — соломенные блюда, корзинки в форме бутылей — это все показное, стоит без употребления.

Быхаих, это первая иеменская деревушка, где пришлось задержаться.

Она невелика, 20—30 дворов да каменный домик для стражника близ дороги. Дворы обнесены плетнями, в каждом дворе 2—3 полукруглых земляных хижины да небольшой хлев для скота. Здесь достаток выше, чем в тощей бесплодной приморской пустыне. По дворам бегают куры, блеют овцы и козы, кое-где бродят горбатые коровы — с наростом в виде горба близ шеи.

За деревушкой — а она вся как на ладони — вижу те же зеленеющие поля, общее гумно, где видны следы соломы, вижу стадо овец и коз, выбегающее за плетни — на пастбище. Вдали на отрогах гор вижу словно пришпиленные силуэты домиков, а еще дальше — уходящие в туман и мглу горные вершины, за которыми — говорят нам — гнездится настоящая жизнь.

А все же никакой особой экзотики. Разве что Африкой веет немного. И эти крупные глиняные мазанки с конусообразными крышами, и соломенная декоративная утварь. и люди, получерные, с выпяченными скулами, обилие мелкого скота — вот те черты, которые принято было приписывать Африке и которые отобразились здесь, в Иемене, на противоположном берегу.

Возможно, что это сходство не случайное. Побережье Иемена еще с древности подвергалось непрерывному воздействию африканских влияний — Иемен был завоеван абиссинцами, а позже абиссинцы вели с Иеменом усиленную торговлю, сюда в большом количестве завозили черных рабов, многие суданцы приезжали сюда на промыслы и заработки.

Во дворе, где мы остановились, живут несколько абиссинских женщин — жены прежнего владельца этого двора, теперь своеобразные «хозяйки гостиницы». Эти особы, как мы узнали впоследствии, пользуются довольно широкой и нелестной популярностью среди путешественников, когда-либо проезжавших этой дорогой. Абиссинско-православное происхождение дает им право на значительно большую развязность по отношению к постояльцам, чем полагается стереотипным, запуганным мусульманским женщинам. Мы, впрочем, этого не постигли. Нам было не до разговоров. Выпив по кружке овечьего молока, мы заснули тяжелым сном, проснувшись, однако, через 2—3 часа от невыносимой духоты в спертой, безоконной хижине, нагревшейся под вертикально стоящим солнцем, мы потребовали

перевести нас в другое помещение, где был бы ветерок. Нас пригласили в каменный домик, где помещался «комендант» местечка в образе старого офицера, когда-то бывшего на турецкой службе. Домик за селом, на небольшом возвышении, с двумя окнами, через которые продувает ветер. Нам готовят пищу — вареную курицу, с которой тщательно содрана кожа и жировой покров (обычная манера варить и жарить птицу). Наш хозяин жадно пьет предлагаемый ему нарзан и курит папиросы «Эсмеральда». Расспрашиваем его о положении в стране. Ничего, все в порядке. «Иншалла» (бог даст), и в дальнейшем все будет благополучно. Итальянский доктор проехал здесь, остановившись лишь на 5—10 минут два дня тому назад.

Попутно дает нам справку о жаловании военных, состоящих на службе у иеменского короля. Солдат получает 5 талеров в месяц, офицер — 15 талеров. Продовольствие казенное, но скудное — пара горстей пшена в день. Дает понять, что без «бакшишей» прожить нельзя. Учитываем это при от'езде.

Узнаем, что находимся в зоне Маджариде, это подплемя крупного племени Кухра, которое охватывает всю зону пройденного нами пути. Нас навещает шейх наиболее крупной племенной единицы, находящейся в данном районе. Молодой, с горящими глазами, смуглым, слегка поросшим волосами лицом. Босой, чалма на голове, опоясан кинжалом в серебряной оправе и патронной лентой. Смотрит на нас как на диких зверей. Принимает нас за итальянцев — иностранцы здесь до сих пор появлялись преимущественно в образе итальянцев. Удивлен, узнав, что мы из Советской России. Это ему непонятно: что это за страна Россия? где она расположена? велика ли она?

— Товары везем? Это хорошо. В Иемене был неурожай, мыки нехватает, мануфактура плохая — хорошей иностранцы не везут, дайте нам хлеб и мануфактуру, а также керосин, сахар подешевле и получше, чем дают другие иностранцы. А то вот даже здесь, где земля хорошая, где урожай собирается три раза в год — даже здесь хлеба нехватает...

— Как народ живет? Все ли спокойно? — обиняками спрашиваем мы.

Он не слишком щедр на ответы. Он больше любит вопросы ставить. Ответ стереотипный, в котором преобладают обычные «хамдулилля» (слава богу) по отношению к настоящему и «иншалла» (авось, бог даст) по отношению к будущему. Однако, известная сдержанность проскальзывает и в его ответах. Выясняется, что его племя во время войны Имама с Ассиром сражалось на стороне Ассира. Теперь ничего, успокоились и поддерживают центральное правительство.

Выпив нарзан, он уходит. Мы остаемся с хозяином, около нас несколько сопровождающих нас солдат. Один из них с жаром рассказывает, как он тихо и мирно жил в своей деревушке ребенком, но вот вырос — его потянуло к работе, действию... он теперь гордится тем, что находится в рядах иеменской армии и возможно будет проливать свою кровь в борьбе с англичанами, грозящими угнетать его свободную страну. С неменьшим пылом говорит он и об Имаме, который рисуется ему в образе всенародного вождя, ведущего народ по пути благоденствия и славы.

Мы пытаемся расспрашивать о форме землепользования в этой деревушке. Нам говорят, что поля находятся в единоличном владении каждого двора. Помещичьей земли в этом районе нет. Деревушка Быхаих — привилегированная деревушка — она расположена близ плодородного участка земли и притом близ большой дороги. Вот те деревеньки — на каменистых склонах сбоку — их положение хуже.

К вечеру движемся дальше... Верблюд с грузом уже обогнал нас и находится где-то далеко впереди.

Мерно надвигаются горы с трех сторон. Обширная равнина перерезывается резкими сухими порывами песчаного ветра, дующего из боковых ущелий. В стороне от дороги — обширные села в сотню и более дворов, видны стада мелкого скота, кое-где бродят одиночные силуэты верблюдов. Вот колодец в виде ямы, над которой два шеста с перекладиной. 2—3 черных женщины в высоких соломенных цилиндрах с широкими краями на голове волокут перетянутую через перекладину веревку, в конце которой ведро в виде кожаного мешка. Лица женщин не покрыты — здесь не город, и покрывал в помине нет — деревенское бытие, жизнь, полная напряженного постоянного труда на поле и во дворе сама собой упразднила чадру, непоколебимую в обстановке ханжеского города. Женщинам помогает слуга, полу-черный, почти без одежды. Нам дают напиться — вода здесь солоноватая, но все же гораздо лучше, чем в пройденной части Тихамы. Даем бакшиш и трогаемся дальше.

Вправо от нас возвышается — наподобие Арарата — мощный массив горы с окутанной облаками вершиной. Это — Джебель-Бера, высочайшая вершина Иемена, поясняют нам солдаты.

Позже выяснили, что это обычное преувеличение, эта гора отнюдь не самая высокая в Иемене, но на фоне равнины, немногим возвышающейся над уровнем моря, она действительно кажется необычайно высокой. Узнаем, что там, наверху ее, растет кофе. Там живут счастливые люди, поясняют нам солдаты. Не верится — мы привыкли, что хорошо живут в долинах, а горы бесплодны и дики. Но здесь Иемен — тропики, переоценка ценностей. Здесь рай — на высоких прохладных горах, ад — в образе жары, безводья и удушья — на равнине.

Цепи гор надвигаются вплотную. Вот каменистый овраг, через который перебираемся пешком, слезая с мулов. Небольшой участок пути по равнине, и снова такой же каменистый овраг, на дне которого что-то вроде ручья, это первая надземная вода, которую мы видим в Иемене.

Длинная пройденная нами равнина осталась далеко позади, потонув в быстро сгустившейся мгле ночи. Мы останавливаемся на пару часов в деревушке Обаль; вновь с'едаем ободранную курицу — и, дождавшись восхода луны, движемся дальше в путь.

И странно наощупь проверять теоретически знакомую истину о том, что именно луна, а не солнце является основным светилом, регулирующим жизнь пустыни. Солнце было злое, жестокое, убивающее. Когда оно всходило, мы прятались под навесы, разгружали мулов и бессильно дремали, выжидая ночной тьмы. Наступал вечер, всходила луна — и мы двигались в путь.

Мы уже высоко — незаметно поднимаясь по равнине, мы уже забрались на высоту нескольких сот метров. Движемся по высокому плато, где веет влагой и прохладой совсем вплотную надвинувшихся гор, где только что прошел дождь. В проясняющейся от луны округе — видим мощные силуэты тамарисков, резко отличающихся от чахлых и рахитичных деревец Тихамы. Здесь тамариски развесистые, тенистые, хотя с такими же искривленными стволами, с судорожно неправильными очертаниями форм. То они кажутся каким-то подобием извивающегося китайского дракона, то парой людей, сплетенных в об'ятиях, то запрокинувшимся, в небо смотрящим человеком с широко распростертыми руками.

Жары, духоты, пота, жажды как не бывало. Тихая, прохладная ночь, силуэты деревьев и неясные темные контуры совсем над нами нависших гор — заставляют забыть о том, что мы в далекой Аравии, близ экватора, за несколько тысяч километров от родных берегов. Упорный, неказистый серый мул занес за несколько часов пути из зноя аравийских пустынь в прохладные знакомые предгорья Кавказа.

Вот деревушка Ходжейле. Здесь нужно остановиться для смены верблюда. Наш был годен только для степи, в горах — другие, привычные верблюды. К тому же отсюда начинается под'ем в горы, итти в темноте опасно, и мы останавливаемся ночевать.

Снова плетеная койка под плетеным навесом. Подскакивает слуга-турок и, не спросив, начинает мне щупать ребра, дергать ноги и руки. Чуть не в ужасе я отталкиваю его, он обиженно уходит, он хотел сделать мне обычный последорожный массаж, и мое отвращение ему непонятно.

Утро. Нам говорят, нужно задержаться до после-полудня. Днем двигаться жарко. К тому же верблюд для смены еще не готов.

Не готов потому, что все мобилизованные казной у окрестного населения верблюды загружены новой партией итальянского оружия, полученного на-днях из Ходейды. Это оружие — патроны в небольших деревянных ящиках — сложено на площади близ здания начальника уезда. Около сотни верблюдов лежат вокруг в тени тамарисков и просто под лучами восходящего солнца. Они мерно дожевывают порцию сухой травы, брошенной им на ужин, и готовятся к отходу вглубь гор — туда, где это оружие нужно. Погонщики — в большинстве седобородые старики с обожженным, обветренным медно-красным телом, слегка прикрытые изодранной легкой накидкой да толстым поясом вокруг талии — сидят кругом, кончая утреннюю еду. Дома деревни — не в пример прежним — сложены из неотесанного камня, прикрыты тростником. Горбатые коровы и быки, ослы, козы, овцы, куры. Но Африки здесь уже не чувствуется — ни в стиле построек, ни в очертаниях лиц, смуглых, но лишенных и той черноты и тех специфически выпяченных форм, которые приближают их к абиссинско-негритянской расе. Деревушка, ставшая недавно административным центром, живет земледелием, кругом цветущие поля, разбросанные по склонам прилегающего ущелья. Вода здесь в изобилии. Много лихорадки.

Базара в восточном смысле нет. Есть лишь несколько маленьких лавочек, где можно купить табаку, спичек да пару дорожной обуви в виде тонких сандалий. Остальные товары — просо да кофейная шелуха, употребляемая вместо кофе. Внешне все дома на один лад — неказистые каменные четыреугольники с крышей из стропил, покрытых соломой. Полевых работ сейчас нет — работа состоит в уходе за скотом, таскании воды из ближайшего колодца да в растопке очага для варки пищи — все это делают женщины. Мужчины, томясь от жары наступившего дня, молчаливо сидят в тени, покуривая кальян. Темп жизни медленный. Время от времени женщины проходят от колодца к дому, неся длинные глиняные кувшины на головах. Подбегают дети — совершенно голые с побуревшим, худым тельцем, часть с выпяченными животами. При появлении одного мальца, ему крикнули какую-то насмешливую пару слов, отчего он не своим голосом орет и, прикрывая руками неподобающие места, пускается бежать, вопя, как зарезанный. Оказывается — его пугают предстоящей религиозной операцией (обрезание), одно напоминание о которой приводит его в дикий ужас.

После полудня движемся дальше. Покрутившись по каменистой теснине, зажатой горами, заросшей деревьями и кустарниками, проникаем сквозь узкую щель между двумя каменными глыбами в новое ущелье, длинным каменистым скатом уползающее в горы. На головокружительной высоте в горных зубцах во все стороны видны далекие очертания деревушек. Внезапно мулы подходят к под'ему и начинают медленно и упорно отчеканивать шаг по крутому зигзагообразному пути. Слышим крики попугаев, видим встрепенувшиеся силуэты мартышек, и через 15—20 минут — ущелье

уже остается где-то глубоко внизу, а мулы мерно шагают ввысь по обрывистому склону под'ема.

Начинаю ценить исключительные качества этих животных. Мулы — а особенно ослы — животные совершенно незаурядные — в смысле ума, сообразительности, выносливости и стойкости. На них можно спокойно ехать, опустив поводья и лишь слегка посвистывая. Животное будет итти без понукания, осторожно нащупывая каждый камень, и никогда не спотыкнется, не заартачится, не испугается, не собьется с пути. Я невольно при этом с отвращением вспоминал лошадей, готовых шарахаться в сторону и пугаться по всякому поводу — при виде ли незнакомого предмета или неожиданного шума, лошадей, которые, едва опустишь поводья, останавливаются и сбиваются с пути, которые без одергивания не идут вперед, которые то готовы мчаться вскачь, то бессильно падают бездыханными.

Скажут, что бывают лошади умные и храбрые. Верно. Но такие лошади — явление единичное. Ослы же и мулы — умны, чутки, спокойны, равномерны, выносливы — в массе. При этом мул унаследовал все лучшие «моральные» качества от своего отца-осла и лишь физическую силу от матери-лошади — середняки-мулы и ослы — это совершенно исключительные по своей ценности серые животные — пролетарии, не в пример глупой и норовистой аристократке-лошади.

Во время долгого качания на муле мне часто приходило в голову — отчего всюду в литературе принято воспевать сумасбродную, беспомощную лошадь и делать синонимом глупости и тупости трудолюбивого, умного осла. Об'яснение этому как-будто подыскал, наблюдая качества ослов на дальнейших этапах пути. Осел так же, как и лошадь, существо эксплоатируемое человеком. Но в то время, как лошадь повинуется человеку до конца и безраздельно—тянет любой груз, хотя бы с риском надорваться, идет под ударами кнута буквально доупаду и, даже сдыхая, всегда молчит,— будучи в состоянии лишь фактом своей смерти протестовать против эксплоатации, — осел значительно более твердо отстаивает свои интересы эксплоатируемого животного. Он упрется и не пойдет, если на него навьючат непосильный груз. Он остановится, если его заставили итти слишком долго — и никакими ударами его с места не сдвинуть. Он не побежит быстрее, чем ему позволяют его силы, но зато он добросовестно работает в пределах нормального задания. А, если его не кормят или бьют, он не молчит, как бессловесная, безропотная лошадь, — он станет дико по-человечески рыдать таким криком, что, кажется, душа перевернется у самого очерствевшего погонщика. Осел — протестует, саботирует, бастует — в случае, если насилие над ним переходит известные пределы. Лошадь повинуется насилию безропотно и беспредельно, она готова скакать доупаду, надорваться от непосильного груза и угождать причудам человека, идя по указке дергаемой им узды. Удивительно ли, что, если феодальные поэты воспевали ненужных львов, тигров и орлов, то буржуазные литераторы сделали об'ектом своего восхищения глупую, готовую погибнуть по самодурству седока лошадь и пса, охраняющего дом и засматривающего в глаза хозяину.

Но пока эти отрывочные мысли суетятся в голове, мул уже дотащил меня до вершины скалы и ровной поступью, расталкивая толпы осликов и обходя неуклюжих верблюдов, вошел на маленький двор—площадь миниатюрного поселка Усель — точнее постоялого караванного пункта из 5—6 небольших курных каменных хат.

Мы видим, что это лишь начало под'ема, хотя мы уже достигли высоты свыше 1 000 метров над уровнем моря. Новый мощный хребет стеной вырисовывается впереди, за ним ряд других, и там, еще далеко, долгожданная Санаа.

Усель — это ворота в горный Иемен. Здесь начинается тот Иемен, который не был запятнан ни английским каблуком, ни сандалиями аскеров Идриси. Здесь незыблема власть Имама Яхьи, запрятавшаяся за неприступными для пеших и конных войск горами.

Впрочем, солдат, к которому я обращаюсь с вопросом — «значит это и есть настоящий Иемен» (имею в виду горную часть страны), такой постановкой вопроса недоволен. Он, поправляя меня, отвечает: «Иемен везде, Иемен это и Тихама и Джебель» (и приморье и горы).

Чувствую, что задел больную струнку — англичане и их агенты любят выпячивать различие между Джебелем и Тихамой — и в этнографическом, и в экономическом, и в религиозном отношении. Их цель — расщепить Иемен, стравить между собой его отдельные составные части. В противовес этому иеменцы стараются игнорировать и оспаривать это различие.

Но я чувствую все же, что оно есть, хотя и не в том смысле, как утверждают враги Иемена. Об этом различии говорит и прохладный, свежий воздух, который мы втягиваем всей полнотой своих легких, и беспрерывная родниковая вода, которую мы пьем, как верблюды, не отрываясь от ковша.

Мы что-то едим, выпиваем по жбану настойки из кофейной шелухи и засыпаем на крыше землянки под тенью свесившегося над ней тамариска. Вдали чернеет сторожевая башня, громоздятся силуэты гор. Дышит прохладой ущелье, и лишь тяжелое сопение и чавканье верблюдов да протяжные рыданья ослов нарушают притаившуюся тишь безлунной тропической ночи.

А на другой день мы уже бредем по горам. Горы выше и выше, перевалы, плоскогорья, спуски, опять под'емы, перевалы — и так дальше вплоть до цветущей Санааской долины.

Странно и не верится. Знали, что есть аравийские пустыни, что есть песочные степи аравийской земли, но что есть аравийские г о р ы, без кавычек, горы непроходимые и мощные, как наш Кавказ,— это кажется неслыханным и невероятным. И без конца жадно всматриваюсь в новые, раскрывающиеся долины, куда переносит упорный тихоходный мул. Первое благо гор — после воды и воздуха — это кофе, ни с чем не сравнимый, аравийский кофе.

Это кофе, в Европе его зовут «мокка» по имени небольшого и захудалого иеменского порта, через который этот кофе впервые был вывезен в Европу. В действительности сортов много — 4 основных и неисчислимое множество более тонких нюансов. «Мокка» называется смесь разных сортов, специально предназначенных для вывоза. В наименовании их словом «мокка» отразилось такое же европейское невежество, как, положим, в употреблении слов «микадо» или «богдыхан», которыми в Японии и Китае монархов никогда не называли. Но дело не в этом.

А дело в том, что под знаком кофе развивалась до сих пор вся экономика горного Иемена. Кофе составлял основную валюту страны. Вывоз его дал Иемену возможность войти в орбиту мировой торговли.

Мы знали это раньше. И с тем большим трепетом всматривались в зеленеющие кустики-деревца, на которых кое-где покачивались небольшие гроздья зеленоватых зерен. Эти деревца ютятся на тесных горных площадках, вырезанных по горносклонам. Они тщательно вспаханы, прополоты, все говорит о большом человеческом труде, вложенном в эти неказистые зеленоватые зерна.

Позже старик Ахмет ибн-Салих, 50 лет проработавший на кофейном складе в Ходейде, в таких выражениях изложил историю иеменского кофе.

«Во имя бога милостивого и милосердного. Благодарим милосердного бога, давшего нам мудрость для познания мира. Мои друзья просят написать историю иеменского кофе, который пьют почти все народы. Всему роду

людскому известны его достоинства. Во времена пророка Соломона сына Давидова, ему велением бога подчинялись дьяволы (джинны), люди, животные и птицы. Соломон попросил бога создать такое деревцо, плоды которого исцеляли бы людей от сонливости, глупости и от холеры. Бог повелел ему послать сильнейших подвластных ему дьяволов в белую страну между двумя полюсами и принести оттуда благодетельные деревья. Джинны принесли ему «кофе и кат» (о кате речь впереди — *Г. Г.).*

Дальше выяснилось, что помимо Абиссинии дьяволы облюбовали для кофейных посадок Яву, Малабар, а затем Иемен, как благословенную страну, лежащую между 12 и 14 градусами сев. широты и имеющую специально подходящую для кофейного деревца продолжительность дня и ночи.

Далее мой повествователь отмечает неудачные попытки взрастить кофе в Сирии и Египте, пренебрежительно говорит о том, что бразильский кофе быстро портится, а иеменский может лежать в течение 5—6 лет, не портясь. Отметив, что среди европейцев лишь пять из ста пьющих пьют чистый иеменский кофе — остальным попадает лишь смесь, он указывает, что в самом Иемене лишь три человека из тысячи пьют кофе, а остальные довольствуются кофейной шелухой, из которой делается, полезный и вкусный, освежающий напиток, заменяющий собой чай.

Действительно, за все время своего пребывания в Иемене лишь в 2—3 местах мне подавали кофе по-турецки, основная же арабская масса сплошь пьет отвар из шелухи, о качествах которого судить не берусь, т. к. пил его в состоянии дикой дорожной усталости, когда любые помои покажутся райским напитком.

Причина, думаю та же, по какой наши волжские рыбаки не едят икру, которую иностранцы считают исконно русским продуктом и поражаются, вероятно, что у нас потребляют ее тоже не больше трех человек из тысячи.

Кофе — первый, отличительный экономический фактор горного Иемена — следствие хорошей почвы, климата, большого количества влаги.

Второе отличие — отмечаю в порядке последовательности восприятия — наследство древней культуры — искусственные террасы для земледелия на недоступных горных склонах и древние жилые постройки, сооруженные века, а иные, говорят, и тысячелетия тому назад.

Террасы вижу одновременно с кофе. Оно растет преимущественно на площадках, вырытых на под'емах ущелий, на склонах гор. Площадки подперты каменными насыпями, устланы толстым слоем со стороны натасканной земли. Порой весь склон, протянувшийся на десятки километров, сплошь изрезан такими площадками в виде ступеней.

Спрашиваю — когда, с каких пор иеменцы научились строить такие террасы.

Ответ — «Одному богу известно. Должно быть несколько тысяч лет тому назад».

А жилые постройки... Огромные замки, вышиной с наш 3-этажный дом, из отесанного камня с маленькими окнами-амбразурами — высоко, на несколько сажень над землей, бойницами, башнями. Замки, по нескольку раз окруженные обширной каменной стеной. Массивные средневековые крепости, которые, даже теперь, не всякой пушке разбить. Замки, расположенные преимущественно на перевалах, вершинах или недоступных отрогах гор, куда подход лишь с одной стороны.

Спросишь:

— Когда построены эти замки?

Ответ такой же:

— Один бог это знает. Мы знаем, что в них жили наши деды и деды наших дедов.

Верно. Теперь такие мощные замки не нужны — в них некому и не от кого обороняться. Некому потому, что живут в них не шейхи, не богачи, а такие же оборванные, истощенные люди, как и те, которые живут на равнине в шалашах. Не от кого потому, что разбойников и бандитов в старом, средневековом смысле уже нет. А от разбойников большего масштаба — от английских аэроналетчиков, да и от простых полевых орудий — эти каменные стены не спасут.

Но и эти замки и земледельческие террасы не что иное, как памятники великой древней культуры, попавшие в наследство отсталым и задержавшимся в своем развитии бедуинским племенам. Эти племена, выросшие в обстановке скотоводства и примитивного земледелия, не сумели и не смогли использовать величайших ирригационных сооружений древних химеритов, им не понадобились монеты, утварь, каменные изваяния, валяющиеся чуть не как старый хлам в пещерах близ Мареба, расхищаемые спекулянтами; они не захотели и не смогли поддержать и развить культуру Савского царства — но они по мере сил используют искусственные террасы, делающие из диких горносклонов цветущие многоярусные сады. В лохмотьях, чаду и грязи они живут в многоэтажных замках, этих гордых, но замызганных пережитках старой культуры.

Впрочем есть и замки пышно обставленные. Выбравшись на плоскогорье главного перевала, мы видим в стороне на холме горделивый замок саженей 5—6 вышиной, как бы сделанный из трех отдельных разновысоких кусков. Окна, служащие в то же время бойницами, начинаются лишь на высоте 2—3 саженей от почвы. Каменная насыпь окружает небольшой двор. Весь склон холма усажен кактусами. К воротам ведет кольцом выгнутая дорога.

На этой дороге мы видим группу людей. В центре — седобородый старик в раскидистой белой одежде с серебряным кинжалом за поясом и в зеленной чалме. Близ него двое слуг, полуголые бедуины в распахнутых кофтах. Вдали смуглый с острым лицом юноша в соломенной шапочке, с длинными вьющимися пейсами.

Передо мной весь средневековый антураж. Помещик-шейх — владелец замка, двое крестьян — слуги или арендаторы и еврей, пришедший для какой-нибудь торговой или финансовой сделки.

Мы церемонно раскланиваемся с шейхом, на вопрос, кто мы и зачем мы приехали — отвечаем: «русские купцы — едем к Имаму для переговоров о торговле». Его любопытство этим исчерпывается. Я прошу разрешения сфотографировать его в окружении всех присутствующих. Он соглашается, но решительно устраняет еврея, как лицо недостойное быть с ним — шейхом — на одном снимке. Но мой аппарат успевает поймать еврея, намеренно задержавшегося в стороне.

Шейхи, купцы, арендаторы, крестьяне, четкое классовое расслоение — вот третья черта, отличающая нагорье от равнины.

Отличительная потому, что она особенно ярко подчеркивает законченность типично-феодального уклада горной части Иемена. Если на плоскости основной характерной чертой являлось племенное начало, и все существующие разногласия, вся совокупность проблем и противоречий вертелась вокруг категорий племенного порядка, то здесь, в горах, о племенах, о шейхах — племенных вождях — мы почти не слышим; взамен этого всюду фигурируют шейхи-помещики, владельцы замков, обширных угодий, пастбищ, горных террас.

Эта разница, однако, не в пользу Тихамы. Она говорит о том, что горы, Джебель со своим откристаллизовавшимся феодализмом — шейхами, крестьянами, земледельцами, воинами, оседлыми и туземными купцами (в значительной части евреями) с усовершенствованными способами обработки

земли, — далеко опередили скотоводческую или примитивно земледельческую Тихаму с племенным, а то и просто патриархально-родовым укладом и полукочевым населением. Здесь, в горах, — царство короля Артура, ранний феодолизм VI — VII веков, а там, в Тихаме, до сих пор живет патриархально-племенной уклад, который, однако, в свою очередь, на целую ступень выше пустынно-кочевого библейского уклада геджасских бедуинов.

Целая историческая эпоха — как один-два дня пути; в Аравии, этой Беловежской пуще мировой цивилизации, под прикрытием песчаных барьеров, завесы злых солнечных лучей — подобно египетским мумиям — сохранилось в неприкосновенности несколько эпох жизни человечества, — эпох, дрогнувших и начавших разлагаться лишь под ударами грома мировой войны и звон империалистического золота и под гул социалистической революции Севера.

Таковы первые впечатления гор. Они подкрепляются и дополняются на всех этапах дальнейшего пути.

Выкарабкавшись из Усельского ущелья и проделав ряд новых под'емов по извивающимся тропам, загроможденным камнями с кактусовыми зарослями по сторонам, выезжаем к краю обширной котловины, покрутив близ которой, добираемся до городка Менаху, где нам нужно сделать очередную остановку.

Менаху расположен на главном перевале по пути в Санаа, он расползся по обеим сторонам перевала, с которого видны обширные горносклоны, переходящие в ущелья, и долины, теряющиеся в голубой дымчатой дали. На западном склоне видны отдельные поселки из таких же высоких замкоподобных строений, склоны изрезаны зеленеющими террасами проса и кукурузы.

На восток видно длинное извилистое ущелье, переходящее далеко внизу в серую бесцветную степь, а дальше — опять высочайший хребет, через который нам еще предстоит перебраться.

Менаху — типичный городок восточного средневековья, дрогнувшего под напором усилившейся караванной торговли. Здесь — главный этап, половина пути для караванов, идущих из Ходейды в Санаа; поэтому небольшая площадь вся заполнена сонливыми верблюдами, кричащими ослами и мулами. Масса постоялых дворов, несколько базарных уличек, небольшой жилой район и посевы дурры по склонам. Правительственные здания, телеграф близ площади по обе стороны большой дороги. Над городом доминирует здание тюрьмы, двор которой служит в то же время огромным караван-сараем для правительственных караванов. На отшибе — высокая гора, где высится каракол — дозорная крепость с небольшим гарнизоном.

В этом городке прочно сидели турки, поэтому по обе стороны его сохранилось запущенное шоссе и живописные купола построенных турками из тесаного камня водоемов и уборных, тоже не совсем гармонирующих с первобытным уклоном страны.

На базаре много лавочек, в них местные зерновые продукты (просо, кукуруза, кофейная шелуха), много зелени, овощей (огурцы, помидоры), мелькают даже фрукты (абрикосы, лимоны), привезенные из Санаа. Много туземных тканей (белые паласы с красной каймой, большие плотные куски полосатой красной материи, употребляемые вместо ковров). Это — изделия из йеменского хлопка, ручным способом с помощью примитивных станков выделываемые как в долинах и на плато, так и в горах. Ткань плотная, крепкая. Наряду с ней изобилие дрянной, дешевой бязи, на которой я с изумлением обнаруживаю иероглифами начертанные клейма японских фабрик в Шанхае. Позже пришлось убедиться, что эта японская бязь, равно как ряд других легких тканей, прямо-таки доминирует на глухом йеменском рынке, не допуская сюда манчестерскую продукцию; и это несмотря на то, что

в Иемене японцы никогда не были, если не считать какого-то одиночного чудака, вылавливающего некоторых морских животных на Иеменском побережьи близ о. Камаран. Японский же товар идет самотеком из Бомбея при посредстве индийских купцов. Наряду с японской бязью бросаются в глаза китайские шелковые изделия — носки, носовые платки и разная мелочь, довольно дрянного качества (как пришлось убедиться), мелькают германо-австрийские и чехо-словацкие металлические скобяные изделия, галантерея, нитки, фонари, ламповые стекла и т. д. Американская продукция фигурирует лишь в виде керосиновых бидонов Стандарт-Ойля. Английских товаров не заметно.

Заходим на телеграф. Это небольшая комнатка, несколько табуреток, скамья и стол, на котором небольшой аппарат Морзе. Начальник телеграфа, он же и единственный телеграфист, облокотясь на стол, медленно выстукивает какую-то депешу. При нашем входе он приподнимается, степенно здоровается. Мы ему помешали — сейчас послеобеденный час, и он жует кат, впав в такое состояние, при котором меньше всего хочется говорить о делах.

Часы ката... это самые блаженные часы в жизни иеменца. В эти послеобеденные часы, примерно от 1—3 час. пополудни, подавляющая масса мужского населения — от королевских сыновей до грузчиков, имеющих хотя бы пару медяшек в кармане, усаживаются, кто на пышный ковер, кто на плетеную койку или просто на землю, и начинают пощипывать заранее запасенные пучки зеленых листьев, выбирая наиболее свежие зеленые листики, и небольшими щепотками кладут их в рот и мерно, смачно пожевывают, растирая слюну по всей плоскости неба. Эта процедура прерывается единичными возгласами, отражающими восторженное состояние полуопьянения, в которое впадают жевальщики, попутно затягиваясь дымными струями кальяна и изредка прихлебывая из маленьких чашечек холодную, пропитанную ладаном воду.

Под знаком ката, как в старой России под знаком водки, проходит жизнь не только иеменской деревни, но и иеменского города. Симпатичные букеты зеленых листьев являются причиной растрат, прогулов, преступлений и, в довершение всего, вконец расшатывают здоровье своих неумеренных потребителей. Они же служат источником наживы владельцев небольших садиков, засаженных миловидными деревцами, по размерам не превышающими наш сиреневый куст. В результате жвачки ката, заменяющего здесь алкоголь и в значительной мере табак, а также всю совокупность развлечений, отсутствующих в этой первобытной и претендующей на пуританство стране, — добрая половина населения теряет цвет лица, наживает ряд хронических болезней и превращается в немощных наркотиков. Борьба с катом затрудняется не только наличием бытовых условий, невозможностью заменить его какими-либо другими видами развлечения, но и железной силой многовековой инерции, достигшей степени полурелигиозной догмы. Рассказывают, что Имам Яхья, не лишенный стремлений к прогрессу и частичному реформированию страны, задумал под влиянием врачей до некоторой степени ограничить потребление ката, и для начала перестал его жевать сам. Но это новаторство вызвало сильный ропот духовенства, которое в лице ряда влиятельных шейхов поставило на вид духовному и светскому главе страны все несоответствие его поведения исстари внедрившемуся, от предков унаследованному укладу страны. Под давлением суровых ревнителей национальной самобытности имам вынужден был пойти на компромисс и в часы ката пожевывает, хотя бы для виду, несколько листиков, чтобы не придать своему отказу от ката принципиальный характер.

Начальник телеграфа угощает нас чаем, вручает нам заодно приветственные телеграммы из Ходейды и Баджиля от принца Мухаммеда и баджильского начальника уезда. Телеграмма принца поздравляет нас с благополучным следованием в Санаа, именуя ее «столицей халифата». В этом — намек на то, что в представлении правоверных последователей секты Зейди имам является главой, калифом всех мусульман, а его город претендует на звание общемусульманской столицы. Впрочем, это, скорее, формула, содержание которой выветривается под давлением суровой жизненной реальности, не подающей никаких надежд на осуществление не только панисламистских, но даже панарабских мечтаний.

Чувствуя себя в роли представителя высшей власти, начальник телеграфа произносит тираду о дурных качествах итальянских товаров, выражая надежду, что советские товары окажутся на высоте возлагаемых на них надежд. Обменявшись любезностями, мы расстаемся.

На постоялом дворе начальник нашего караула докладывает нам, что придется ждать с от'ездом до следующего утра, так как, во-первых, нет верблюда для смены, а кроме того захромал один из наших мулов, и власти запросили короля о том, можно ли заменить его другим. В ожидании королевского ответа по столь существенному вопросу нам предлагается мирно уснуть и выехать утром на следующий день.

В тот момент мы не приняли всерьез его аргумента относительно вмешательства короля в вопрос о замене одного мула другим и приписали задержку просто желанию солдат отдохнуть в сравнительно удобном городке за счет «знатных путешественников». Несомненно это и было одной из причин, но в дальнейшем нам пришлось убедиться, что сам по себе факт апелляции провинциальных властей в столицу по вопросу об участи одного казненного животного ничего удивительного собой не представляет. Если не король, то, во всяком случае, его ближайший помощник, вазир (т. е. что-то в роде великого визиря) Кади-Абдалла, был, несомненно, занят рассмотрением подобных вопросов. Бюрократическая надстройка в Иемене достаточно несложна, и к королю и его премьер-министру апеллируют по самым мелким вопросам.

Так или иначе, мы устраиваемся на ночевку. Здесь — горы, и внутреннее убранство домов уже не то, что в Тихаме. Плетеных коек уже нет, и мы растягиваемся на земляной завалинке внутри комнаты с земляным полом. На рассвете нас будят, и, выпив, по стакану молока, мы взбираемся на мулов, один из них новый, и, выехав за город, по широкому шоссе начинаем спуск в глубокое ущелье. Шоссейная дорога постепенно превращается в нагромождение камней, через которые только мул может шагать, умело находя нужное место для того, чтобы поставить копыто. Временами встречаются длинные караваны верблюдов, от которых приходится сторониться как можно дальше, так как неуклонная поступь несмотрящего по сторонам верблюда может привести к тому, что висящий на его боку тюк либо столкнет задетого встречного седока в пропасть, либо прижмет его к скале, причинив тяжелое увечье. Спуск крутой. Мулы шагают быстро, и через два часа мы уже у подножья хребта, в душной, выжженной долине.

В долине жарко, как было в Тихаме. Мулы умеряют шаг, тяжело перебираясь через невысокие, кактусами поросшие кряжи. Проходит 4—5 часов пути, а Менаху все еще не скрывается из глаз, раскинувшись на высоте далекого перевала. После небольшого привала в придорожной кофейне мы движемся дальше. Мелькают новые высокие холмы, поросшие кактусами; на одном из таких холмов видим причудливо разбросанные силуэты верблюдов, усеявших весь конус от подножья до вершины и жадно обгладывающих колючие стволы. Аскеры сообщают нам, что вся земля, по

которой мы едем уже несколько часов, принадлежит шейху, имя которого Ахмед ибн-Мохаммед ибн-Матари. Вся округа целиком является его лэном, и аскеры, упражняя свой голос, неоднократно выкрикивают его имя, перепевая его на все лады.

Под вечер достигаем новой обширной долины, в конце которой высится гора; на ее вершине — замок Мевхак. Это — один из важных административных центров, хотя все его население состоит из небольшого гарнизона и телеграфной станции. Мы останавливаемся на ночевку на противоположной горе, где расположена небольшая деревушка того же имени.

В этой деревушке ни телеграфа, ни властей нет. О нашем приезде никто не предуведомлен, и начальник нашей стражи идет сам разыскивать помещение. Все хаты переполнены, и после ряда безуспешных рекогносцировок начальник указывает нам одну хату, близ которой мы начинаем устраиваться. Но не успеваем мы еще полностью разгрузить мулов, как появившаяся откуда-то женщина, как выясняется, владелица этой хаты, разражается потоком крепких слов, призывая на головы солдат всевозможные небесные проклятья.

Позже выясняем, что проходящие солдаты до такой степени надоели местному населению постоянными постоями, связанными с даровой едой и другими ущербами хозяйству, что всякий приход их в хату рассматривается, как очередное несчастие. В данном случае гнев женщины усугубляется тем, что начальник отряда не позаботился даже хотя бы из вежливости предварительно спросить ее о возможности нашей ночевки, и в потоке бешеной брани она как бы разряжала накопившееся негодование за длинный ряд предшествовавших обид и утеснений.

Впрочем, вскоре дело улаживается. Выяснив, что на этот раз в убытке она не останется, она успокаивается и начинает стряпать нам ужин. Мы растягиваемся на походных кроватях близ курной хаты, предоставляя аскерам забраться в нее. Быстро спускается ночь. Впереди перед нами новый высокий хребет, который нам предстоит перевалить завтра с тем, чтобы на следующий день прибыть в Санаа. Перед сном мы слушаем сетования турецкого купца, идущего из Санаа и оплакивающего те блаженные времена, когда власть Оттоманской империи держала в своих тисках эту страну, давая широкий простор наживе турецких купцов. Теперь турки покидают Иемен, так как торговля понемногу переходит в руки арабов. Оставшиеся ноют, хандрят, вспоминают минувшие дни и, в большинстве своем, мало склонны верить в успех дела иеменской независимости, злорадно предсказывая неминуемый приход англичан.

Предпоследний день пути. Долгий тяжелый под'ем. Проходим местность, которая слыла во время турецкого владычества главной базой деятельности иеменских повстанцев. Там и сям на вершине холмов разбросаны построенные турками дозорные башни-караколы. Делаем дневной привал в небольшой деревушке Сукл-Гамиз. Здесь снова начинается район кофейных плантаций. Знаменитая долина Хейме, по имени которой назван один из сортов иеменского кофе. К нам приходят торговцы кофе, предлагая заключить сделки здесь непосредственно, чтобы обойтись без портовых посредников. Приходят местные заправилы, один из которых вместе с начальником нашей охраны начинает развивать перед нами политические идеалы «актива» иеменской политически мыслящей прослойки. Доказывают нам, что Иемен вправе претендовать на об'единение под его властью всей Аравии и, пожалуй, даже Индии и Египта, где у имама имеются сторонники и почитатели. Видим, что это — программа-максимум, которая существует лишь для поднятия настроения широкой активной части. Как пришлось впоследствии убедиться, государственная верхушка Иемена по-

добных аспираций не питает и живет в гораздо более реальной плоскости, стремясь пока что лишь к упрочению независимости Иемена в его теперешних пределах, к некоторому поднятию его производительных сил, и территориальное расширение мыслит лишь в форме присоединения некоторых областей к востоку и юго-востоку от него. Но обо всем этом мы получаем ясное представление лишь впоследствии.

По обширной, дугообразной дороге, вьющейся вокруг необозримой котловины, сплошь покрытой морщинами-складками, образовавшимися из кофейных террас, мы огибаем долину Хейме, на дне которой клубятся облака и, миновав еще ряд каменистых плоскогорий, спускаемся к небольшой речке, от которой начинается широкое, годное для автомобилей, шоссе. Близ моста через речку видим ряд каменных строеньиц. Это и есть собственно Сукл-Гамиз — четверговый базар, где раз в неделю по четвергам происходит торговля для всей округи. Но сейчас он пуст. В каменных строениях не видно ни одного человека, и мы продолжаем не задерживаясь, продвигаться по широкому шоссе, вздыхая о том, что нет автомобиля, на котором можно было бы в течение двух-трех часов достичь Санаа. Дорога вьется по равнинному плоскогорью, перебираясь по отлогим перевалам меж зелеными, напоминающими шахматную доску, полями. Зеленеют всходы маиса, дурры, пшеницы. Попадаются поселки, состоящие уже не из курных хат, но из мощных 3—4-этажных каменных зданий, отстроенных тысячелетия тому назад. Все это — типичные средневековые замки с бойницами, дозорными башнями, с окнами, до которых не добраться снизу; расположены они на возвышении, прижавшись к склону горы, и доступны лишь с одной стороны. Массивные каменные водоемы, построенные турками вдоль прекрасной шоссейной дороги. Мы утомились, мы считаем часы, какие остались до прибытия в Метне — место последней ночевки.

Вдруг наши проводники оживились. В тревоге они переглядываются, указывая на какое-то облако пыли, сереющее вдали.

— Эль-джерад, эль-джерад,— слышим мы отрывистые слова.

Всматриваемся в серое облако. Видим, как оно разрастается, превращаясь в сплошную мглу, застилающую недавно ясный горизонт. Еще полчаса, и мы в'езжаем в самую гущу этого облака — в искрящиеся стаи саранчи.

Кузнечики бьют нас крылами, попадают в уши нам и нашим мулам, валятся грудами на дорогу, образуя сплошной настил, по которому, как по скатерти, шагают наши животные.

А кругом поля... Цветущие зеленые всходы, едва развернувшиеся в свежей прохладе дождливого нагорья, уже сплошь облеплены копошащейся алчной массой.

Борьба... Но разве можно назвать это борьбой... На отдельных участках разрезанного канавами поля бегают в одиночку люди — большей частью женщины и дети, — помахивая опахалами и трещотками. Отпугнуть массу саранчи этим способом все равно, что прогнать дождевую тучу, стреляя в нее из револьвера. Лишь в отдельных случаях, когда благоприятствует ветер, отдельные счастливцы могут добиться того, что нахлынувшая на их участок стая саранчи переберется, не успев поесть все дотла, на соседний участок. Но в общем человек выглядит беспомощным, жалким существом по сравнению с непобедимыми полчищами алчных насекомых. Саранча поочередно об'едает все поля, используя индивидуальные замашки земледельца, который пытается отстоять лишь свое поле, мало заботясь о соседе. Если бы село дружно встало вдоль шоссе, отбивая натиск соединенными усилиями, возможно, какие-нибудь результаты были бы достигнуты. Но о коллективной борьбе нет и помина. Исступленно трещат одинокие тре-

щетки на полях, истерически бегают бабы и мальчишки с опахалами, но едва ли одному участку из сотни удается отбить наседающего врага.

... Позже, месяц спустя, на обратном пути на месте зеленеющих всходов — вместо созревающих стеблей — мы увидали лишь чернеющие комья пахоты. Вся зелень была с'едена прожорливыми громадами, продолжавшими свое наступление дальше вглубь страны вплоть до глухих загорных пустынь.

И вспомнилось, как в Джедде мы также наблюдали тучи саранчи, занесенной из пустынь к морским берегам и засыпавшей даже палубу нашего парохода. Но геджасцы отнюдь не проклинали это нашествие. Они с жадностью загребали в мешки стаи кузнечиков и готовили из них пищу, жадно высасывая мягкие внутренности и отбрасывая жесткие крылья. Уничтожать в геджасских пустынях саранче было нечего, наоборот, ее уничтожали челюсти голодных людей.

Иллюстрация относительно понятия о добре и зле. В Геджассе саранча — это благо, дар небес, не ею ли вместо «манны» питались библейские евреи... «В счастливом» же Иемене саранча — основное зло, бич, уничтожающий плоды упорных трудов.

Об организованной борьбе против саранчи в Иемене говорить не приходится. Борьба ведется лишь трещотками, опахалами, да иногда красными флагами, на которых белыми буквами выведена надпись «Нет бога кроме бога». Было как-то странно видеть на фоне заметенных насекомыми полей отдельные полуголые фигурки, размахивавшие красными флагами. Эти фигурки бегали по полю из конца в конец, со всех сторон реяли красные знамена, но мы знали, что на этих красных кусках материи нет ничего, кроме религиозной надписи, и машут ими не в знак восстания, а в припадке бессилия, пытаясь отбить мощные полчища еще непобедимого врага.

Под'езжаем к опустевшему — все население на саранчевых полях — местечку, где нам предстоит последний ночлег.

На турецких картах это местечко называется Синан-паша, по имени турецкого генерала, когда-то завоевывавшего непокорный Иемен. Это имя коробит слух иеменцев, и они называют это место коротким словцом — Метнэ, что значит просто «городок».

Этот городок невелик, в 15—20 минут его можно обойти вдоль и поперек. Несколько старых массивных домов и обширный каменный водоем составляют его центр. В стороне — здание, где помещаются власти и гарнизон. Мы помещаемся в одном из домов, на третьем этаже. С плоской крыши нашего «отеля» видим зеленеющие окрестные поля и стадо расседланных верблюдов меж каменными стенами двора, прилегающего к нашему дому. Нижний этаж нашего «отеля» является хлевом для мулов, откуда к нам в комнату залетают жирные, назойливые мухи.

Стало холодно. Свистит ветер, нас пробирает дрожь. Здесь высота свыше 3 000 метров, и даже летом по ночам здесь прохладно.

Нам приносят неизменно ободранную — без кожи и жиров — вареную курицу. На вопросы о том, нет ли другой пищи — неизменное «мафиш» — нет, слово, которое неуклонно красной нитью пронизывает весь наш путь от Ходейды. 30 сортов винограда, о которых нам на пароходе рассказывал старик — все это находится в 20—30 километрах отсюда, а здесь те же примитивность и оскудение, как на всем пути от Ходейды.

Наше раздумье прерывает появившийся кудесник — высокий полуголый старик с четками в руках. Предлагает предсказать будущее. По некоторым причинам соглашаемся.

Он протягивает нам янтарные четки и предлагает потереть их о кожу. Это заставляет нас пожалеть о данном согласии, но отступать поздно. Он начинает вглядываться в четки и что-то бормочет.

Мы разочарованы. Вместо предсказаний или, хотя бы каких-либо сентенций о настоящем, что было бы интересно для выявления его психологии, мы слышим перечень каких-то несуществующих болезней, от которых он предлагает нам исцеление.

Болезней этих мы у себя обнаружить не можем и с благодарностью отказываемся от его услуг. Ставим старику вопрос напрямик: что думает он о нашей поездке и ее вероятных результатах.

Ответ не лишенный ехидства:

— Ближайшие ваши цели будут достигнуты. Дальнейшие — нет.

Ответ не слишком благожелательный. Спрашиваем дальше:

— Что ты думаешь о войне: будет ли у вас война и чем она кончится? Тут старик пасует. Он готов предсказывать наше будущее, но будущее его собственной страны ему неведомо.

— Об этом знает бог, — откровенно говорит он. — И, неожиданно обращаясь ко мне, переходит в контр-атаку.

— А скажи, что ты думаешь о войне? Верно ли, что англичане прилетят и уничтожат наши деревни?

Роль кудесника переходит ко мне. Четок для гадания у меня, однако, нет, и я лишен возможности отомстить своему собеседнику, вынудившему меня коснуться веками накопленной грязи на камнях. Отвечаю ему в менее мистических тонах.

— То, что они прилетят и будут бросать бомбы, это вполне возможно. Но, что они уничтожат селения и города, — это мало вероятно. Большого вреда они причинить не смогут.

Мы квиты. Он также неудовлетворен уклончивостью моего ответа. Еще раз предлагает исцеление от всех несуществующих болезней.

Прощаемся. Даю ему бакшиш. Он уходит.

Стемнело. Выхожу на плоскую крышу. Дует резкий, холодный ветер. Уныло зеленеют остатки саранчей об'еденных полей. Мысленно перебираю этапы пройденного пути. Душная, изнурительная серая Тихама, зеленеющие стволы тамарисков предгорья, каменистые уступы горных перевалов, скромные кустики кофе, злые колючки кактусов, упорная поступь неспотыкающихся мулов, заоблачные турецкие караколы, замки шейхов, панорама котловины Хейме, тучи саранчи, упрямые неуклоняющиеся верблюды, проворные умные ослики, выдержанные, уверенные в себе мулы, попугаи, мартышки и голубые ящерицы в извилинах каменистых скал.

И люди — черные, из'еденные зноем и пылью бедуины Тихамы, стройные чернобородые горцы, аскеры в чалме с пулеметной лентой на полуголом теле, со ступнями ног, превратившимися в подошвы от зноя каменистых троп. Обширные пустующие пространства, шейхи, засевшие в огороженные крепостными стенами замки, обливающиеся потом крестьяне близ кустиков кофе, и бегающие силуэты с красными флагами против туч саранчи. Голубокровные шейхи на породистых конях, высохшие скулы бедуинов, плетущихся за длинными цепями караванов... Ящики керосина и патронов на боках верблюдов и ослов. Стада овец и коз, обгладывающих скудную траву утесов... Пески, зелень, скалы, перевалы, долины, — и вот теперь холодный резкий ветер и впереди последние кряжи заслоняющих столицу гор.

Возвращаюсь в комнату. Она полна мухами, залетевшими из конюшни. Едкий запах дыма пробивается из кухни. Мой спутник закрыл окна — слишком резки и злы порывы ветра. Тушим коптилку. Я вытягиваюсь на застонавшей походной кровати и засыпаю последним дорожным сном.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Повести об Алтае

Дмитрий Стонов

Этим летом я предпринял поездку по Северному и Южному Алтаю. Это была сложная поездка, можно сказать — экспедиция; она заняла все лето — с весны до осени. Вначале я двигался на коробах, потом алтайские тропы оказались слишком узкими, — мало удобные повозки были заменены седлами. Перед нами — нас было несколько человек — лежали Теректинский, Раздельная Грива, Большая Листвяга и многие другие хребты, Туткескенские, Берельские и иные перевалы, Катунские белки, Белуха, — все эти высоты можно было «взять» только сидя на лошади, ведя лошадь по крутым под'емам и спускам, бродом переезжая быстротекущие реки. Семнадцать суток (не говорю дней, ибо мы выезжали в три-четыре часа ночи — на рассвете, — и останавливались на ночлег поздно вечером) длилась верховая езда. В Берели, как ручеек в реку, алтайская тропа влилась в один из западно-сибирских трактов. Сытые сибирские лошади, звеня колокольцами, делая в час по десять и больше верст, понесли нас по старому тракту. Тракт, однако, коснувшись маленькой части Алтая, задев лишь землю первобытной Ойротии, ушел вглубь Сибири. С трактом пришлось расстаться. Дальше шли плоты, дорога на плотах по Бухтарме и Иртышу...

Впрочем, обо всем этом путешествии по огромному Алтаю, который входит в состав нашей Социалистической Федерации и по своему размеру больше Швейцарии в два с половиной раза, стоит рассказать более подробно и внимательно — не спеша.

Бийск. Начало пути

В городе Бийске кончается железная дорога Новосибирск—Бийск.

В Бийске, по всем видимостям, начинается Алтай.

Бийск мал, провинциален, убог. Это один из тех городов, о котором старое географическое пособие добросовестно сообщает, что в нем «имеется 9 церквей и столько же училищ, в том числе женская прогимназия». Построенный царским правительством, как форпост «для защиты возникавших в этом краю русских поселений от набегов алтайцев», он очень скоро наполнился жадными до наживы торгашами, которые ревностно помогали государственному аппарату. Аппарат «колонизировал» край, загонял алтайцев в горы, теснил их все дальше и дальше — к неудобной монгольской границе. Купцы же экономически прибирали Алтай к своим рукам, выменивая «культурные нужды» — табак, водку, побрякушки — на пушной то-

вар, скот, орехи, мед, масло. Тем и другим содействовало православное духовенство. В Бийске находилась резиденция викарного архиерея Томской губернии, управление Алтайской миссии, катехизаторское училище, миссионерская школа,—все эти учреждения многосторонне трудились на пользу самодержавия и купечества. Об этом я упоминаю мимолетно (ниже мне о православном духовенстве и старом купечестве придется говорить более детально) — для характеристики дооктябрьского Бийска.

Революция по справедливости разделалась с этой троицей. Но царские десятилетия сказались. Алтайцев в алтайском городе почти не оказалось. Бийск повис между Сибирью и Алтаем, он давно уже не Сибирь и далеко еще не Алтай, он —ничей, он сам по себе.

Вот почему центр Ойротской автономной области пришлось перенести в бывшее село Улана.

. . . .

Едва заметно паром отделяется от земли, плавно движется по черным в этот час водам Бии, легко стукаясь, пристает к берегу — и вот, начало пути, низкорослая сосна, луга, бесконечные дали, луга. Дорога стихийна, как стихиен весь Алтай: то идет она по кочкам, то по болотистым низинам. Весною, когда лопаются шумные, бешено-скачущие реки горного Алтая, дорогу заливает, она меняет свое место,—путь тогда идет по ценной еще, в преддверьи Алтая, земле, колеса и копыта топчут гряды льна и хлеба. Со стихийной этой силой Советская власть, которая здесь получила возможность заняться мирным строительством только в 1925 г., вступила в решительную драку. Рядом с дорогой, часто переносящей, подобно капризной реке, свое русло, пролегает точно размеренная, высокая, хорошо утрамбованная, прямая, как стрела, трапеция. Это — новый, социалистический путь на Алтай. Он далеко еще не закончен, он пойдет до Онгудая — через Манжерок,—огромная часть северного Алтая отныне будет доступна машине, хлебу, культуре. На картах, в кабинетах народного хозяйства он уже намечен, этот путь, белой линией на синем поле бумаги. Здесь его осуществляют на деле сотни и сотни рабочих рук, точно из небытия, метр за метром, вытягивают прекрасное тело нового тракта. На всем почти протяжении будущего шоссе уже построены новые, крепкие мосты. Одинокие, горящие на солнце свежим деревом, медовыми каплями смолы, они ждут своей очереди — влиться в сложную систему небывалой еще здесь дороги.

Быт, который не должен быть

Минуем пока, читатель, Ойротскую столицу — бывшее село Улала, — где советская жизнь, гигантская работа, великие преображения хлещут из каждой поры обновленного организма. Пока что проедем мимо совхозов и колхозов, постараемся (временно) не встретиться с новыми (слово это затаскано, все же я не заменяю его другим, — после долгих странствий по Алтаю оно засияло для меня ярким, неподдельным светом) людьми. Мы даже условимся на время не замечать в аймаках новое строительство. Обо всем этом я подробно и основательно расскажу на дальнейших страницах повествования, для всего этого постараюсь найти подходящие слова. Нам с вами, читатель, нужна дистанция, некое расстояние между настоящим и тем, что обречено на слом, чтобы лучше, нагляднее, рельефнее почувствовать красную новь.

Сейчас, в настоящей главе, я отнюдь не собираюсь копаться в историческом материале алтайского прошлого. Все, что здесь рассказывается,

я лично видел, все это существует по сей день, будет вероятно существовать не один еще год. Но это наследие прошлого штурмуется со всех сторон, выталкивается из жизни, вырезывается из здорового тела, как ненужный и вредный нарост, как червообразный отросток слепой кишки.

Редко рассеяны человечьи селения в горном Алтае. Едешь иногда день, три, пять — ни одной души, ни одной постройки. Включаемся то в одно, то в другое ущелье, систему гор. Осторожные алтайские лошади, ощупывающие (как человек пальцами и глазами) копытами каждый вершок каменного пути, ускоряют шаг и весело ржут. Они почуяли жилье.

Еще до того, как заметили строения, вы видите хилые стволы дымов. Зыбко изгибаясь, они тянутся ввысь. В редких деревьях небольшой, окруженной со всех сторон горами равнины возникают конусы ойротских аилов. Как бы вы ни были подготовлены к тому, что жилища алтайцев убоги, неудобны, жалки,—аилы все же поражают вас. Девять жердей сходятся сверху, образуя конус. Конус прикрыт берестой или корой лиственницы. Калитка ведет в нутро аила. Ни окон, ни дверей, ни дымной трубы — обо всем этом не знают аилы. Верх конуса обнажен, отверстие одновременно служит и окном и дымоходом.

Навстречу, нагибаясь в дверях-калитке, выходят хозяин, хозяйка, вылезает груда испачканных детишек. Несмотря на жару, взрослые в шубах. Круглый год алтаец не снимает бараний свой, отороченный лисьим мехом, тулуп. Лишь когда до одури пригреет солнце, алтаец туго затягивает опоясок и снимает рукава — верхняя часть туловища обнажена, шуба тянется по земле. Женщине-алтайке даже это облегчение не дано: она вправе снять один лишь рукав. Шуба не сбрасывается и ночью — так привык ойрот к переменам погоды, так непрочен его кров. И немудрено: зимой, когда на «улице» 30 градусов мороза, в аиле — 20 градусов, проливной дождь лишь частично остается за корой и жердями «дома», ветры припадают к тонким пластинкам, залезают во все щели...

В одном из алтайских селений я встретил корреспондента бойкой и шумливой немецкой газетки.

— Не находите ли вы,— спросил меня коллега,— что жилища ойротов весьма оригинальны и экзотичны?

Нет, нет, я решительно этого не нахожу. Если аил — экзотика, то будь проклят всякий намек на экзотику и оригинальность! Нашему союзу она не к лицу.

Давайте, однако, посетим аил. Нагнитесь, как хозяева, постарайтесь влезть в узкое отверстие калитки. Мужчины идут в левую сторону, женщины — в правую, таков обычай. Несколько секунд вы ничего не видите, глаза привыкают к полумраку, дыму, грязи. Лишь постепенно на черном фоне продымленных «стен» начинают вырисовываться предметы домашнего обихода.

Нечего и говорить, что земля, «пол», ничем не прикрыт. В центре аила, под небольшим отверстием «дымохода» очаг; он никогда не угасает, днем, вечером, ночью — всегда горит огонь. Погас огонь — значит, несчастье обрушится на дом твой, надо, значит, звать кама (шамана), замаливать грехи, добрым и злым духам приносить жертвы.

Немногочисленны в аиле предметы домашнего обихода. Самодельное ружье с подставкой — своего рода штативом — не каждый в состоянии с тяжелым ружьем в руках часами поджидать зверя. Кожаные сумы, в которых находится ячмень, кедровые орехи, меха. Нары — постели. Два-три чугуна. Деревянный аппарат для приготовления арачки — водки из молока. Эмалированный чайничек — дань культуре. Над очагом — доска с твердыми,

как камень, сырками — крут. Боченки, посудины с молочными продуктами. Жертвенник, священные березы, священные тряпочки на них, вереск для курений и бесконечное количество богов, божков, боженят — в виде кукол из материй, из дерева, из бронзы, в виде мешечков, лоскутьев, веревочек.

Сурова и неприветлива жизнь алтайца, но (как это часто бывает с народом, который столетиями находился в цепях издевательского бесправья и рабской неволи) еще суровее, бесчеловечнее жизнь слабейших существ — женщин и детей. Вот сидит ребенок двух лет. Пухлая его рожица, круглые руки и ноги в язвах. Язвы эти — от ожогов, а ожоги — бытовое явление среди алтайских детей. Ребенок живет без призора, он тянется к яркому и красивому пламени в очаге — тянется и нередко погибает. Другой ребенок — семимесячный, преет в шкурке. Он родился в декабре. Мать вымазала его конским салом, завернула в медвежью шкурку и положила в ящичек. Вряд ли она хоть раз меняла подстил. Так поступают все матери с детьми. Выживет — хорошо, не выживет... что ж, такова, видно, воля злого духа — Эрлика.

Впрочем, женщина знает и лекарство — листья бадана. Бадан помогает от ожогов, ранений, его сушат и заваривают вместо чая, толстые и круглые его листья алтайки собирают на крутых, каменных склонах гор.

. . . .

Хозяйка дома, Кондеева Бобош, сидит у очага, жарит ячмень (из жареного ячменя алтайцы готовят талкан — единственный мучной продукт, который употребляется ими в пище), охотно курит свою трубку и столь же охотно, через переводчика, отвечает на вопросы, рассказывает о своей жизни. Жизнь ее ничем не отличается от сотен и тысяч жизней других алтаек, — вот почему я решаюсь привести ее рассказ в самой схематической форме.

Кондеева Бобош старше мужа на десять лет. Пятнадцати лет она вышла замуж — мужу, следовательно, было тогда пять лет. Такой способ эксплоатации женщин весьма распространен на Алтае. Необходимую в хозяйстве рабочую силу — женщину — покупают за калым. С этого момента она закабалена мелкой домашней работой. Она жарит ячмень, толчет толкан, доит коров, заквашивает молоко, варит-гонит арачку, «шишкует»—собирает кедровые орехи, шьет кожаные сумы, рубит и колет дрова, обшивает семью, ухаживает за лошадьми и, главное, ухаживает за пятилетним мужем, нянчит его. Вырастет муж, он пойдет на охоту — и опять всю работу придется проделывать женщине, только ей. Дома усталый муж курит трубку и думает крепкую думу — куда бы пойти в гости, когда бы опять поехать «белковать»?

Лет через десять после замужества, иногда и раньше, начинают появляться дети — новые заботы, новые хлопоты.

Так, не зная отдыха, трудится алтайка. Грязь, скудная пища, рабский труд, трахома сопровождают ее в жизни. А над всем этим — коварные божества, которые требуют жертв, как можно больше кровавых жертв, которые в лице своих служителей — камов, запугивают каждый шаг алтайца, делают страшными каждый закоулок, запутывают жизнь сложной эпилептической мистикой. Нет камней, гор, рек, ветров, ночи, туч, умерших родственников — есть жадные, злые духи, которые выглядывают из всех углов, подстерегают, ждут, метят свои жертвы и мстят, мстят, мстят...

. . . .

В перерыве между двумя вопросами муж Бобош успел шепнуть ей несколько слов. Тотчас же все живые существа аила задвигались. Поднялась и быстро семеня ногами в кожаных, красного цвета, сапогах начала шмыгать Бобош, суетился муж ее—он на время забыл даже трубку, мелким

кроличьим прыгом прыгали дети. На войлоке у моего сиденья начали появляться угощенья. Все это хозяева подавали торопясь — был ли здесь обычай, стремление как можно лучше принять дальнего гостя или просто азиатское желание похвастать яствами, обилием продуктов?

Вначале был подан арчи — особый вид творога, потом алтайский, кислый, как уксус, сыр — крут, потом пыштак, едичей — смесь свежего молока с кислым, толкан, мясо — конина без соли, кирпичный чай с солью и молоком... Все это надо было пробовать и не только пробовать — уничтожать в обильном количестве. Посуду алтаец, как правило, не моет, только чашка почтенного гостя вытирается подолом. В знак особой благосклонности было так поступлено и с моей деревянной чашкой.

— Э-э,— сказал хозяин и с сожалением посмотрел на свою жену.— Приехал бы гость на год раньше — мы бы его угостили из той блестящей, белой, стеклянной чашки, которая была у нас до моей болезни.

— Э-э,— согласилась с ним Бобош.— Из белой чашки, исчезнувшей вместе с твоей болезнью.

Я заинтересовался: куда девалась чашка, почему ее исчезновение связано с болезнью мужа Кондеевой?

— Неприятно вспомнить о черных днях болезни,— морщась сказал хозяин.— В прошлом году мое тело изнемогало в борьбе с злыми духами — я заболел. Позвали кама, он начал камлать надо мной, начал искать в аиле злых духов. Духи, как оказалось, сидели в боченке с едичей. Кам рассвирепел, схватил боченок, бросил его в сторону. Едичей разлился, боченок рассыпался. Но злые духи перебрались в чашку. Пришлось разбить чашку, белую, стеклянную чашку.

— Э-э, белую, стеклянную чашку, из которой можно было угощать самого знатного гостя.

. . . . . .

С едой, наконец, покончено; на кошме (войлоке) появляется большущий кувшин с арачкой — молочным вином. Арачка не особенно крепка — градусов 15—20. Цветом своим она напоминает мутную воду. Она кисла, пить ее свежему человеку неособенно приятно, но привыкнуть к ней — легко. Странная вещь: арачка (сколько бы ее ни пить) почти не действует на голову и ноги. Она согревает тело после дождя и стужи, поднимает настроение, развязывает язык. Хозяин безотчетно начинает хвастать — врать. Знаю ли я, что у него был бык в 150 пудов? Известно ли мне, что одна из его кобылиц принесла в прошлом году пять... нет не пять, а семь жеребят? Могу ли я себе представить, что в первый раз Бобош родила, когда ему, мужу, было восемь лет?

Видя, что бахвальство на меня не действует, хозяин начинает петь. Мгновенно и звучно, точно дробь на серебряный таз, он выбрасывает из полуоткрытого рта несколько быстрых гортанных звуков, потом долго тянет одну ноту. Он еще хорохорится, но песня его грустна, она отражает не случайное настроение, она рассказывает о печальной жизни забытого народа. Песнь — плач действует на хозяина, он начинает отравляться горькой ее отравой. Глаза его печальны, пальцы едва касаются двух струн примитивного инструмента.

«Лучше бы нам умереть,— поет он,— чем видеть своими глазами твое разорение, наш прекрасный каан (царь) Алтай».

Он замолкает, прислушивается к дальнему эху. Эхо быстро обрывается диким, истерическим воплем. Это — борясь со злыми духами, стуча в барабан,— кричит и мечется кам — алтайский поп. В аиле темнеет, отсветы

очага кровавыми ладонями тянутся то к тем, то к другим лицам, вещам, предметам. Вечер. Вечер. Ночь.

. . . .

«Лучше бы нам умереть, чем видеть своими глазами твое разорение, наш прекрасный каан Алтай»,— поет о прошлой своей печальной жизни ойрот. Эта жизнь в самом деле была не на много приятнее смерти, хоть и находятся люди, которые считают ее оригинальной и экзотичной. Что ж, каждый видит то, что может и хочет видеть. Нам, повторяю, такого рода экзотика не к лицу, как не к лицу нам лить крокодиловые слезы лицемерья над меньшим, неразумным братом, провозглашать печатные истины, что де «националы никак не хуже нас, русских». Засучив рукава, советские люди взялись за искоренение гнусного, жуткого средневековья. И вот уж встает край, обновляется для новой и лучшей жизни, осторожно и непоколебимо срывает гнилую кожу, под которой полной грудью дышет свежее, здоровое, молодое тело молодой страны.

Об этом — в следующей главе.

Ступени

Внимательный путешественник по Алтаю не может не заметить обилия готового к постройке лесного материала. Материал навален у старых аилов и лежит, по всему видно, не первый год. Это — в самых отсталых, темных, заброшенных урочищах. В более доступных селениях тут и там белеют шестигранные юрты — первая ступень к оседлой жизни. Шестигранная юрта складывается из горизонтально лежащих, как в обычной деревянной постройке, бревен, только верх построен по аильскому типу — жерди и кора.

Но и шестигранная юрта — не новость теперь во многих селениях Алтая. Поставленное рядом со старым аилом шестигранное помещение начинает вызывать представление о хоромах. Не следует, однако, спешить со сравнением. Еще несколько шагов — и против вас настоящий деревянный дом, людское благословение, с настоящей дверью, окнами, полом, чердаком для сена. Самому «старшему» из алтайских домов (я не говорю о тех больших селениях — Чемал, например,— где наряду с ойротским населением живут и русские) — четыре года, пять лет. Несмотря на это, домов на Алтае не мало, их можно считать сотнями, больше — их уже можно считать тысячами.

Почему же рядом с душными, темными, смрадными аилами годами лежит строительный материал — прочные, толстые бревна? Почему житель не сразу приступает к постройке? Почему, почему рядом с шестигранной юртой все еще, как проклятое напоминание, как дурной сон, торчит старый аил?

На этот вопрос алтайский работник, строитель крепкой настоящей здоровой жизни, не сразу ответит. Тут, в жилищном поединке, грудь с грудью столкнулись старое с новым: то, что должно быть уничтожено, растоптано, выжжено, обречено на слом и то, что должно жить, крепнуть, цвести.

Ойрот — кочевник. Можно об'яснить кочевой образ жизни любого народа, но при всем желании — не поймешь — почему кочует алтаец? Корм для скота? — Он находится везде и всюду: луга Ойротии сочны и великолепны, трава — выше человеческого роста, в сотой доле она не используется местным населением. Дрова, материал для постройки аилов? — Но если у каждого алтайца был бы не очаг, а печь, пожирающая тысячу пудов дров в сутки; если вместо дымного конуса он бы строил из дерева многоэтажный

дворец,—и тогда было бы вырублено на Алтае, может быть, полпроцента лесных зарослей. Охота тоже не может служить поводом для кочевья.

Но факт остается фактом. Ойрот — кочевник. Несколько раз в году он разнимает (а иногда и бросает) свой аил и стихийно движется вперед, все вперед, пересекает возвышенности, ищет новые места. Движущиеся селения еще по сей день можно встретить на Алтае.

Нечего говорить, что культурную революцию невозможно провести среди кочующего народа. Только в прочном доме удастся загнать в печь пляшущее, жалящее детей пламя очага. Только живущего на одном месте алтайца можно обучить грамоте, приучить к земледелию, научить выгодно обрабатывать молочные продукты. Вот почему местные культурные силы (а их теперь не так уж мало: вузы, втузы, рабфаки, партийные и советские школы увеличивают, умножают число алтайских работников) в первую очередь ударили по этому месту, взяли в штыки жилищный участок алтайского бескультурья.

Но тут пришлось столкнуться с рядом бытовых препятствий.

Между новым и старым жилищем непроходимой шеренгой стало бесчисленное множество злых и добрых духов, злых и добрых богов Алтая. Столетиями распределялась площадь внутри аила. Здесь—очаг, там—кожаные сумы с добром, нары, алтарь, жертвенники, добрые духи, злые духи, шкурки, ленты для огненного бога, для бога: гор, долин, воды... Мистика язычников требует особую точность, непогрешимую пунктуальность в распределении пенатов, за этим следит злой прислужник духов — кам. Как же без риска для жизни переселить всю эту страшную, мстительную толпу божеств? Останутся ли они довольны новым местом? Не возмутит ли их неслыханное и невиданное новшество? Не обрушатся ли они беспощадным гневом, мором, болезнями на людей, осмелившихся менять вековые устои?

Вопрос с богами немыслимо решить одним митингом, перечеркнуть обязательным постановлением или решением аппарата... Ибо даже уговорив, сагитировав алтайца перейти вместе с домашними пенатами в обычный дом, вы не гарантированы от сюрпризов.

Вот, к примеру, алтаец из селения Ламлак — Тыбыл Кодинекоз. Тыбыл осел, выстроил дом, а в бывший свой аил пустил телят. Год жил он в доме, а потом разрушил печь и «поменялся с телятами»: дом превратил в телятник, сам же перебрался в аил.

Почему?

За месяц до перемены жилища жена Тыбыла заболела. Позвали кама. Во время камлания кам «заметил» что бог очень недоволен печкой. В аиле неугасимый очаг, здесь же, в доме, его зажигают и тушат, зажигают и тушат. После долгого моления кам вошел в соглашение с богом: Тыбыл Кодинеков переберется в аил, огонь будет зажжен, жена Тыбыла выздоровеет.

Этим, пожалуй, об'ясняется то, что от аила, обычно, не сразу переходят к избе, а — к шестигранной юрте. Шестигранная юрта — нечто среднее между аилом и домом, не совсем аил, но все же и не дом. Очаг в юрте может, как и в аиле, гореть круглые сутки. Юрта хоть и не кругла, зато — не четырехугольна, в ней легче ориентироваться, решить, кому какое место, где сидеть старшему, где находиться богам...

И все же, несмотря на то, что боги Алтая не «жаждут» оседлой жизни — стройными рядами домов, крепкими срубами утверждает себя новая жизнь.

Тот же Ламлак, в числе многих и многих урочищ, вот уже три года, как осел на место, приобщил себя к культурной жизни. Огонь в домах тушат и зажигают тогда, когда это необходимо. Алтайка раз в месяц (в некоторых селениях — чаще) моет пол — скачок после аила огромный.

После первой ступени — вторая. Оседлый человек может и должен обучать своих детей, уметь не только «прикладывать руку», но и писать, читать,

разбираться в писаном и печатном. На Алтае 132 школы первой ступени, взрослое население быстро, с изумительной поспешностью, ликвидирует свою неграмотность, отсталость, бескультурье.

Тут, ввиде вставки, я хочу отметить исключительные способности алтайского народа. Поставленный на рельсы основной грамоты, он быстро катит вперед, делает поражающие, радующие сердце, успехи. Его потенциальная энергия тысячелетиями лежала под спудом, бродила, ждала случая — быть взорванной. Ее освободила советская власть. Несмотря на то, что, как я уже говорил, советский строй получил полную возможность создавать, учить, перестраивать край только в 1924—25 г., Ойротия в 1928 г. уже имела агронома — алтайца, первого агронома за всю историю народа. В этом году алтайцы получили первого своего врача, учителей, педагогов 2 ступени. Сорок человек алтайцев обучаются в высших учебных заведениях Союза...

. . .

Ступень за ступенью, ступень за ступенью. Делаю несколько резких и быстрых шагов, с размаха беру пролет — и вот я у аила. Несколько алтайцев, посасывая трубку, посапывая никотином, сидят у здания и внимательно слушают чтеца. Сегодня мимо селения пронеслась кольцевая почта, доставила в глухой край номер ойротской, издающейся в Улале газеты — «Кызыл Ойрот». Один только заголовок газеты — неизвестно почему печатается на русском языке (вернее — русскими буквами), все же прочее — исключительно на языке Ойротии. В Улале я видел сотни бумажек в сальных конвертах — письма алтайцев в свою газету. Почти весь номер составляется из заметок кочевого народа. Газета не только информирует — она учит, об'ясняет, разбирает целый ряд вопросов, отвечает на сомнения. Вот почему ее читают, слушают с таким вниманием.

Но еще больше чем чтение, участие в своей газете меня поразил на Алтае особый вид людей, имя которым — «ялагатка».

. . . .

Это было в Манжероке, изумляющей своей красотой (как почти весь Алтайский край) местности. Внизу, белея от злобной пены, разбрасывая на своем пути камни и еще больше натыкаясь, путаясь в них, попрыгивает, гудит, мчится Катунь — река. Извилистая, гибкая, тянущая свое тело по каменистому руслу, она в самом деле кажется живым, страстно дышащим существом. Каждая горсточка воды живет своею жизнью, она искрится на солнце, играет светом и тенью, наталкивается, налетает на скалы, распадается на капли, на брызги, на пыль, чтобы через мгновенье вновь соединиться и, светясь голубыми жемчужными чешуйками, уплыть от взора. Некогда, некогда Катуни, она несется вперед, разбивает, дробит хрустальные спицы бесчисленных своих вод. А над Катунью земля, точно выпирая из каменного хаоса, высоко подняла к голубеющему небу густые леса и луга.

Я уходил от Катуни, от шума реки, но долго еще лес настойчиво гудел протяжным, чужим гулом. Наконец, он освободился от постороннего рева реки и зажил своею жизнью. Дикие пчелы звенели над цветами, пестрые бабочки отдавались на листьях деревьев. Еж пробежал дорогу и, заметив человека, замер, вообразил себя мертвым.

Я поглядел на ежа: он не шевелился, он искренно поверил в свое небытие. «Экой ты, братец, шельма» — подумал я, позавидовав его уменью перевоплощаться. И вдруг у меня явилось желание перехитрить ежа. Я остановился, перестал заметно дышать, руки положил в карманы, прищурил глаза, стоял не шевелясь. «Ты забудешь о том, что я когда-нибудь двигался,— говорил я мысленно колючему полушарию.— Представь себе — среди деревьев выросло существо в сапогах и киржакской шляпе, оно так же безо-

пасно, как и травы, как эти вот бабочки. Ну-ка, ну, можешь себе это представить?»

Оказалось, еж очень легко, с поспешностью, которую я от него не ожидал, поверил мне. Он вытянул тельце, раз и два понюхал вокруг себя воздух, и, подняв полушарие, образовав между собой и землей небольшую щель, двинулся ко мне.

Но тут ему помешали. Из леса показался ряд женщин верхом на лошадях. Я хотел подать им знак: не мешать моей игре с животным, поднял было руку, но тут сам удивился этим необычайным наездницам, заинтересовался новыми путешественницами. Это было в Манжероке в начале длинного алтайского пути. До Манжерока я успел познакомиться лишь с незначительным количеством алтайских селений. Женщины этих селений все, как одна, носили летом неудобные шубы, поверх шубы — панцыреобразные «чегедэх». Они заплетали косы: женщины — две, девушки — три, пять, даже — семь. Вместо приветствия, вместо приглашения — попробовать пищу — алтайка притрагивалась к косе. Косы девушек и женщин были унизаны побрякушками, пуговицами, белыми индийскими ракушками.

Показавшиеся наездницы не были похожи на доселе виданных мною алтаек. Это были советские женщины, такие, какими ойротки должны быть. Пожалуй, они нисколько не отличались от студенток-восточниц, которых можно встретить на улицах Москвы. Обычные полотняные платья, сапоги, красные платочки. Может быть, в самом деле предо мною студентки из университета имени товарища Сталина?

Через час мы знакомы. Мы сидим у палатки, которую прибывшие ойротки раскинули недалеко от Катуни. Трещит костер, над костром закипает похлебка. Женщины бодры, юно шумливы, кажется кто-то вдохнул в них энергию, они повезли ее сейчас в свои аймаки и аилы. Бурные волны Катуни скачут меж скал «быстрее лучшего коня», как поется в алтайской песне, Катунь ревет, гудит, нужно напрягать голос, чтобы быть услышанным, нужно кричать, помогать себе руками. Наш разговор поэтому носит отрывочный характер: он состоит из коротких вопросов — ответов.

Предо мной — возвращающиеся со с'езда пятнадцать «ялагаток» — женских делегаток. Все они живут в разных селениях, все они познакомились на женском собрании, еще час — и дороги их разойдутся. Среди присутствующих имеются «ялагатки», работающие в женском освободительном движении три, четыре года, имеются и новички. У многих из них я вижу блокноты, бумажные листки исписаны восточными иероглифами. Чтобы отвечать на мои вопросы новички часто заглядывают в свои записные книжки. Одна делегатка забыла книжку в дорожном мешке. Она развязывает мешок, перекладывает вещи, ищет записную книжку, из мешка выпадает зубная щетка, металлическая коробка с мылом, полотенце...

И опять мысль переносится к тем женщинам, которых до этой встречи я видел в аилах. Я не могу забыть, как одна из них, рассматривая мои вещи, тихонечко откусила кусочек мыла — попробовала на вкус. Зубная моя щетка вызвала восхищение: пять — шесть таких белых, таких блестящих щеток заплести бы в косу! Вот бы завидовали соседки! По утрам, войдя в аил, я видел, как моются алтайцы и алтайки. Раздувая, округляя щеки, они набирают полный рот воды и тонкой струей льют эту воду на руки, размазывают ее по лицу. Умывшись таким образом, они приближаются к очагу — огонь в аилах заменяет полотенце.

Да, сидящие со мной женщины уже не будут жить в тех диких условиях, в каких жили и живут большинство женщин Алтая, они вырваны из душных об'ятий прошлого. Но — в свою очередь — какую работу они лично проводят? Не заключается ли вся их деятельность лишь в работе над собой?

Ведь они «ялагатки», представительницы женских масс, борцы за женское равноправие, за культуру, за грамоту, а не просто женщины, приобщающие себя к новой, лучшей жизни.

Задаю через переводчицу осторожный, посторонний «наивный» вопрос самой молодой, самой неопытной делегатке,— во все горло кричу над ухом свой вопрос:

— В чем заключается работа «ялагатки»?

Уловка моя проходит незамеченной. Что удивительного в том, что случайный встречный не знает, в чем заключается работа «ялагатки».

Молодая, в первый раз побывавшая на с'езде женщина быстро и бойко отвечает:

— Ялагатка должна каждый день мыть руки...

Пауза.

— ... мылом.

— Еще?

— Ялагатка должна мыть шею и чистить зубы.

— Еще?

— Ялагатка должна... должна не позволять... выдавать замуж девушек за пятилетних мужей... Бороться с многоженством.

— Еще?

— Из молока не делать арачку.

— Еще?

Более длительная пауза.

— Лечиться не у кама, а в советской больнице...

— Еще?

— Еще,— переспрашивает «ялагатка», чуть смущаясь.—Еще,—повторяет она чуть вспыхивая, заглядывая в свой блокнот.— Она должна работать не больше... не больше....

Тут ее обрывает более опытная делегатка.

— Ялагатка должна работать не больше своего мужа.

От декларативных пунктов — «должна» — она быстро переходит к рассказу о том, что сделано ею в своем аймаке.

В прошлом году ей вместе с другими двумя делегатками удалось уговорить все свое селение купить сепаратор. Сепаратор был куплен, в аилах начал исчезать кислый, грубый, непитательный «крут», сократилась варка арачки. В этом году она думает начать агитацию за молочную артель.

Почему именно в этом году?

Это очень интересно... В прошлом году она познакомилась на с'езде с одной делегаткой. Делегатка эта из дальнего урочища. Женщины разговорились. Оказалось, в селении делегатки было так же мало сделано, как и в селении рассказывающей. В этом году они вновь встретились. И что же? Приятельнице, как оказалось, удалось не только приобрести для общества сепаратор, но и организовать молочную артель. Выходит, значит, что она, рассказывающая, отстала. Неприятно, неприятно, но ничего, она наверстает, она обязательно наверстает, она не может не наверстать.

— Я условилась... я уговорилась... я...

Она тоже достает блокнот, перелистывает страницы.

— Я заключила договор... Я еще не успела запомнить, как это называется. Понимать — я понимаю, хорошо понимаю, но вот название. Я заключила договор на социалистическое соревнование.

. . . .

Мы сидим на берегу Катуни, мы громко говорим, стараемся перекричать друг друга, шум реки. Сейчас уже трудно сказать — то ли мы кричим потому

что ревет река, то ли от возбужденья. Каждая из делегаток старается как можно больше сообщить о своей работе.

Одна повела решительную борьбу с изгородью. Дело в том, что осев, покончив с бродяжничеством, алтайцы разделили близлежащий луг, он покрылся изгородями, у каждого скотовода был свой участок. Нечего и говорить, что это повело к раздорам и недоразумениям: у одного пастбище лучше, у другого — хуже. В селении начались неприятности, с ними надо было покончить. С помощью совета делегатка повела борьбу за уничтожение изгородей. Изгороди в конце концов были снесены, пастбища всех алтайцев уравнены.

Другая делегатка агитировала (и сагитировала) население за посадку картофеля. Теперь в ее районе сажают картошку. Третья взялась за устройство детских ясель. Нет больше погибших в огне детей, калек, уродов.

Четвертая... шестая... двенадцатая...

Ответ за ответом, сообщение за сообщением, ступень за ступенью. Солнце стоит над нашими головами, оно погружает в беснующиеся воды Катуни горячие свои лучи. Закипел, сварился обед, последний коллективный обед. Пришла пора расстаться. Дороги делегаток расходятся. Они поедут в свои урочища — каждая в свое урочище — делать свои маленькие, будничные дела, ступень за ступенью уводить ойрота от той «экзотики», которая еще может восхищать иностранного туриста. Наступает всегда почти грустная минута расставанья. Женщины седлают лошадей. Тушат костер.

— Эзэн болзын! До следующего собрания!

— Якши болзын! До следующего собрания!

Дороги расходятся. Лошади разбредаются в разные стороны.

Надо сказать последнее слово привета.

— Э-эй!.. Приезжайте к нам на открытие артели... Она обязательно будет открыта... При...ез...жай...те!..

Люди скрылись. Шум Катуни разрывает последние их слова.

Эй, красавица, славная хан-Алтая, быстрая река, эй!

Крутобережная, беловодная Катунь...

С высоты крутизны, с ледяной белоснежной, поднебесной горы, эй! Ты бежишь между скал быстрее лучшего коня...

Боги, божества, духи, посредники

Кам из селения Бешпельтир встретил нас с той настороженностью, которая, в свою очередь, тоже заставляет насторожиться, держать, как говорится, ухо востро, ни одним движением, ни одним мускулом лица не показывать, что разглядываешь его, интересуешься им. Кто-то успел ему шепнуть, что «московские люди» хотят видеть камлание, желают заснять кама — «украсть частицу его я, частицу его тени». Видя, что все это не оправдывается и в то же время не доверяя первому своему впечатлению, он, желая нас перехитрить, прикинулся равнодушным, решительно ко всему безразличным. В обычной одежде алтайца он сидел среди ойротов, потягивал из китайской трубки, щурил глаза, отвечал на вопросы, сам спрашивал.

— А-а, из Москвы,— растягивая слова, повторил он мой ответ.— Далеко... Москва...

Он замолчал и через большой промежуток времени, точно сам с собой рассуждая, раз'ясняя самому себе, добавил:

— На краю света... Москва...

Он сидел против меня в кругу, у костра, я спокойно, не показывая этого, мог разглядеть его лицо. Оно было необычайно. Лихорадочный, нездоровый блеск маленьких, глубоко запрятанных глаз, некая припухлость скуластого лица, верхняя губа угрюмо, по-детски обиженно, нависшая над нижней, коричнево-блеклый цвет кожи, лиловые тени вокруг глаз — все это говорило о том, что каму знакомы минуты эпилептического помешательства, минуты дикого, буйного экстаза, творческого исступления, когда не человек, а «духи» одолевающие его, управляют каждым движением, каждой мыслью. Он пробовал улыбаться, лицо его превращалось в уродливую маску. Улыбка будто застыла на лице, морщины, как нарисованные, приклеенные не двигались.

Я был готов решительно ко всему. Я заранее рассчитал все свои шаги, как опытный охотник расставил сети, капканы, ловушки, выкопал ямы — зверь должен был попасться, он не мог уйти, выкарабкаться, спастись! Я знал, что камы не терпят, чтобы во время камлания присутствовали инаковерующие, я же хотел видеть не только камлание, но и жертвоприношение. Я знал, что камы привыкли к лобовым атакам проезжающих — к просьбам, уговорам разрешить присутствовать при богослужении. Некоторые даже для себя лично, выдумывая всяческие причины, заказывали камлание, справедливо полагая, что деньги и подарки могут соблазнить камов. Я помнил рассказ одного алтаеведа, как он еле спасся от рук рассвирепевшей толпы. Было это, правда, до революции. Музею понадобился камский бубен, алтаевед взялся его доставить с могилы давно умершего кама,— ввиде памятника на дереве у его могилы висел бубен. Ночью алтаевед поехал на могилу, забрался на дерево, начал снимать бубен. Металлические пластинки, колокольчики, железки, зазвенели, лошадь заржала, близживущие ойроты услыхали... Алтаевед еще и теперь без особого удовольствия вспоминает этот инцидент.

Все это я великолепно знал и помнил, мне было известно, что если и удастся заказать камлание приезжему «европейцу» — оно будет искусственным, бездушным, скомканным.

Мне, повторяю, все это было ведомо. Равнодушие бешпельтирского кама я (думается, весьма верно) истолковал как желание подразнить наше любопытство, нагнать цену, скомкать, внешне выполнить обряд, а если будет возможность, то и вовсе не камланить.

Вот почему мы, приезжие, заранее сговорившись, не долго сидели в кругу приветливых алтайцев. Сославшись на усталость, на желание спать, на то, что завтра, на рассвете, нам нужно покинуть селение, продолжать путь, мы начали расставлять наши палатки. Через несколько минут палатки были расставлены и закрыты со всех сторон.

У костра (по уговору) остался только один из наших проводников — умнейший Бабурганов,— он должен был «изобразить» больного, нуждающегося в камлании. В кожаном своем, знавшем порох гражданской войны, кафтане, нахохлившись, алтаец-проводник сидел у огня и ежился. Пламя костра не могло его согреть. Бродом мы проходили реки, вода достигала до груди, вода выбивала камни из-под ног наших лошадей, лошадей относило течением, мы еле держались на седлах. Бабурганову предлагали арачку, он пил ее большими деревянными чашками. Но и арачка не помогла алтайцу. Осталось одно — камлание. Проводник быстро сговорился с камом. Солнце подходило к горам. Час камлания наступил.

Из щелей палаток нам удалось не только видеть обряд, но в двух, трех позах заснять кама. Сидящий рядом со мной алтаевед, еле поспевая, пропуская слова и абзацы, передавал слова камлания. План блестяще удался.

Вот что произошло во время мнимого нашего сна.

Кам ушел в свой аил и через несколько минут, преображенный, вновь появился у костра. Его трудно было узнать. Голову он прикрыл странного

вида шапкой. Индийские раковины, сухо шурша при каждом движении, украшали переднюю часть шапки, спадали на лоб. Наверху торчал кусок рысьего меха. Он был сделан ввиде крыла, шевелился, дрожал, как бы взлетал над шапкой. В руках кам держал большущий бубен. Лицевая сторона бубна туго обтянута кожей, другая же горизонтально разделена цепочкой на две части. Из глубин верхней части бубна выглядывала голова идоленка. Сделанная из дерева, грубо разрисованная, голова из темноты пялила шалые, белые от ужаса глаза свои. Рот ее был полуоткрыт. Вторая половина бубна вся почти завешена прикрепленными к цепочке лоскутами разноцветных (главным образом, насколько я запомнил, черных и белых) материй, полосками кож, лентами разнообразнейших мехов, металлическими штучками, которые видом своим напоминают грубые, первобытной работы, испорченные ключи.

Эффектнее же всего шуба (бекеша? кафтан?) кама. Сшитая из грубого, домотканного сукна, отороченная мехом, перехваченная на рукавах меховыми кольцами, она обрывается у живота. Тут ее с избытком заменяет («продолжает») колокол из шнурков, из туго скрученных, покрытых материей веревок, кожаных ремней, всяческих висюлек.

Это — спереди. Основные, однако, «украшения» находятся не спереди, а сзади. Сзади совсем почти не видать материю, из которой сшита шуба кама. На плечах дрожат меховые крылья, они «помогают» каму перевоплотиться в птицу. Две широкие ленты, возникая почти у самых крыльев, тянутся до земли. Колокола, колокольчики, бубенцы в большом количестве развешаны на спине кама. На боку, у талии, висят светлые платочки, воздушные по сравнению со всеми частями одеяния, лоскутья материи. Дальше идут те же ремни, бечевки, веревочки, они колышатся при каждом движении кама. Олицетворяя собой змей, они в самом деле напоминают пресмыкающихся, они дрожат, льнут, карабкаются, как бы взбираются все выше и выше, обвивают тело.

Я смотрел на кама и его зрителей. Среди них было немало детей, они, как потом выяснилось, не в первый раз видели камлание. И все же я заметил, как болезненно они сжались, как страх перед тем, что сейчас должно совершиться, блестел в их глазах, вытягивал лица. Да и старшие в ожидании мистического акта как-то насторожились.

Кам не спешил. Лениво, сонно, нехотя, невнятно, прошептал он десятка два заунывных слов. Несколькими этими словами, заранее предвидя неудачу, он просил злого «Эрлика», хозяина душ человеческих, удалить от Бабурганова «курмоси» — духов, одолевших больного алтайца. Эрлик молчал. Тогда кам поднял бубен на уровень своего лица и долго, испытующе начал всматриваться в обезображенное ужасом лицо идоленка. Иногда кам испускал дикий вопль, судорожно сжимал бледнеющие губы, топтался с ноги на ногу, продолжал всматриваться в маску.

И вот кам начал меняться. Глаза увеличивались, округлялись, по лицу все чаще, все быстрее пробегала судорога. Топот его ног поймал какой-то такт, кам ритмично раскачивался, через определенные, все более сокращающиеся промежутки времени округлял рот для крика. Звенели, замирали, захлебывались медной скороговоркой колокола, колокольчики, бубенцы. Поистине язычник был ужасен с этим своим бубном. Постепенно крик его начал оформляться, можно было ясно различить целые фразы, с которыми он обращался к злому Эрлику. Наконец (это видно было по движеньям), невидимые духи предстали перед камом. Стуча в барабан, брызгая бешеной слюной, неистовствуя, причитая, кам метался среди них. Он впал в экстаз, он творчески-ярко, непосредственно, неповторимо совершал свое таинство. Ремни, бечевки извивались, как всамделишные змеи, хватали его тело. Он умолял, заклинал, проклинал Эрлика и его сообщников, родичей и помощников.

«Эрлик,— восклицал кам,— царствует в вечном мраке... Его борода и усы черны, подобны углю, глаза наливаются кровью. Вот восседает он на престоле из семи бобров. Он восседает во дворце, окруженном рекою Тойбодым. У него семь сыновей и девять дочерей — черных, бесстыдных, обвивающих свой стан волосами... На заре он пьет человеческую кровь... Через слуг своих, через злых духов посылает он на людей несчастье, болезни голод...»

Злые духи молчали. Торчащие, как обгоревшие пни, как ножи, натыканные в землю, видимые глазам эпилептика-кама, они упорно, угрюмо, сосредоточенно молчали. Неумолимые ловцы людей, они сидели тут же и ждали удобного случая поймать проходящего баграми, как рыбу.

Тогда началась последняя часть камлания. Не желая больше вступать в переговоры с духами, кам отправился в резиденцию Эрлика. Камланье превратилось в лицедейство. Шевеля плечами, приведя в движенье меховые свои крылья, кам начал спускаться в подземное царство. Попутно он сообщал слушателям и зрителям путевые свои впечатления. Они были ужасны. То он встречался со злым сыном Эрлика, который — как раз в эту минуту! — собирался ототкнуть мировую пробку и утопить все творения доброго духа Ульгеня, то на пути его попадался другой сын злого Эрлика, он собирался закидать Алтай снегом. Последнего удалось обмануть, растопить добрую часть его снега.

— У него еще много снега осталось? — серьезно спрашивал Бабурганов.

— Нет,— отвечал кам.— Всего лишь несколько мешков...

Пройдя, таким образом, весь страшный и долгий путь, кам, в конце концов, предстал перед Эрликом. В этот момент припадочное состояние кама разыгралось во-всю. Дети ныли, плакали от страха, старшие подбадривали себя арачкой: редко-редко кам спускался к Эрлику, редко обычное камланье продолжалось так долго.

Ослабевший, обливаясь потом, тяжело дыша, кам сидел у костра. Живая жизнь медленно возвращалась к нему. Судороги сокращались, уменьшались. Глаза начинали видеть реальный мир. Окружающие успокаивали кама: Бабурганов перестал ежиться, дрожать, значит злые духи удалены, прогнаны, кам может притти в себя. Его угощали арачкой, он долго отказывался, потом сухими губами припал к чашке и долго, мучительно долго, как загнанная лошадь, втягивал в себя жгучий напиток. Все было конечно. В шутовском наряде сидел обычный алтаец, он слабо, болезненно, чуть даже виновато улыбался.

Заходило солнце, выступала луна, алтайцы начали расходиться. Завтра — праздник ожирения скота, предстоит жертвоприношение...

День начался на рассвете. На рассвете целая группа мужчин, одних мужчин, выехала из Бешпельтира. Впереди всех находился кам. Угрюмый, он сидел на белой лошади. На нем была белая одежда, высокая белая шапка.

Три дня тому назад выбрали лучшую «непорочную» лошадь, на которой никто еще не ездил — для жертвоприношения. Тогда же лошадь была отведена в долину, уздечкой ее привязали к березе таким образом, чтобы она не могла двинуться, не могла пастись. Три дня обреченная на гибель лошадь не ела. Своеобразная кавалькада приближалась к долине. Долина обсажена высокими березовыми жердями. От жерди к жерди протянуты веревки, на них — лоскутья, бесконечное количество лоскутьев. Посредине одна береза вбита наклонно. Тут и там расположены кучки березовых ветвей — жертвенники.

Заморенная голодом и жаждой лошадь встречает наездников тревожным, хриплым ржаньем. Она пытается повернуться, повернуть шею, в залитых слезами глазах ее упрек: как могло случиться, что ее, молодую, здоровую, сильную и нужную, забыли?

Однако на обреченное животное никто сейчас не обращает внимания. Алтайцы быстро слезают с лошадей, один лишь белый кам остается сидеть на своем коне. Сегодня он задумчив и угрюм.

Пока кам, насупившись, сидит на лошади, мужчины разводят костер, расставляют привезенные с собой котлы и чугуны. Последним прибывает молодой безусый парень. Он пригоняет теленка, двух баранов, привозит арачку, сноп священного вереска.

Костер разгорелся. Мужчины смотрят на кама. Выплывает холодный, медно-червонный шар солнца. Пора начинать.

Нехотя, болезненно-лениво, как вчерашнее камлание, кам начинает обряд. Ему, видно, трудно привести себя в состояние аффекта, душевные потрясения, хождение на грани безумия даются ему не легко. Комкая слова, выговаривая их вяло, без ударений, он шепчет молитву, обкуривает лошадь вереском, обливает ее «священным» молоком.

В мужской толпе небольшое движение. Четверо, порывшись в кожаных своих сумах, достают четыре аркана. Людская масса моментально делится на четыре части, сзади каждого человека с арканом — группа людей.

Таким образом, людские грозди приближаются к лошади. Лошадь прядает ушами, переступает с затекшей ноги на затекшую ногу. Это-то и нужно держащим аркан. Через минуту на каждой ноге лошади находится аркан. За длинные веревки берутся люди, они расходятся во все четыре стороны — на запад, на восток, на север и юг. Четыре веревки слабо натянуты, пока что они почти не беспокоят лошадь. Она все еще смотрит на людей с «немым укором». Она пробует пятиться, она бьет то тем, то другим копытом, она в полнейшем недоумении: что еще собираются сделать с нею?

Но люди мешкают. Кам продолжает шептать невнятные свои слова, брызгать на каждый раз вздрагивающий круп лошади молоко.

Молитва, наконец, окончена. Тишина. Кам отходит в сторону и с высоты горки, на которой стоит, смотрит на лошадь, на людей, на наклонно торчащую березу. Тишина.

И тут я замечаю, как кам, темнея лицом, наклоняет голову, подает знак. Группы людей, держащие со всех четырех сторон аркан, начинают натягивать веревки. Они это делают с тем медлительным хладнокровием, с каким слесарь завинчивает гайку. Мне все еще видны светящиеся, сознательные, недоумевающие, человечьи глаза лошади. Короткое мгновенье она еще точно стоит на льду, скользит, пытается хоть одну, постепенно уплывающую в сторону ногу, поставить вертикально. Но арканы тянут крепко. Ноги растопырены до предела. Сейчас должны лопаться мускулы, рваться кожа, гнуться и трещать кости. Лошадь криво р а с п а х и в а е т морду, с облаком пара вопль вырывается оттуда. Лошадь успела разорвать узду и, задрав голову, хрипя и задыхаясь, поворачивает шею то в ту, то в другую сторону.

Это длится не больше секунды. Вы слышите, как рвутся мускулы и кожа. Полосы крови красными чертами намечают те линии, по которым животное будет разорвано. Спина лошади спускается все ниже и ниже...

Потом наступает медленная пытка, которую даже здоровый человек с крепкими нервами не может выдержать. Никогда я не думал до этого, чтобы живое тело разрывалось так медленно. То, что раньше называлось лошадью, состоит из нескольких, соединенных кожей, хребтом, мускулами частей, но все эти части еще живут одной жизнью. В кровоточащей ране

видно, как шевелится, бьется сердце. Опускающийся круп лошади все еще вздрагивает, жизнь еще тлеет в конской шкуре.

Шесть минут продолжалось раздирание лошади. Распятая на траве, она то вздрагивала передней ногой, то задней, то пробовала шевельнуть отброшенной в сторону головой. Залитый кровью глаз стеклянел, застывал, но укор, жалость к тому, что вот без всяких видимых причин, ни к чему, уничтожили красивую, прекрасную молодую жизнь, продолжали в нем светиться. Мысль, видно, продолжала работать.

Окончательно оборвал жизнь лошади кам. Путаясь в полах белого халата, согнувшись, он мелким, гнусным хищником подскочил к лошади и, болезненно свирепея, задушил ее. Громадный язык вывалился изо рта лошади; казалось, лошадь подавилась собственным языком.

Увидев, что жертва задушена, человек десять алтайцев, доставая на ходу ножи, подошли к трупу. Мясо вырезали, взяли в сравнительно небольшом количестве, ноги, голова — все это было оставлено вместе со шкурой. Часть мяса пошла в котел, другая часть (вместе с костями) была брошена на жертвенник. Шкуру же повесили на наклонно стоящую березу. Под сенью вздыбленного силуэта лошади начался пир...

. . . . . .

Если вы атеист — вам ничего не стоит разбить «идеологическую надстройку» даже «самого» Введенского. Во всяком случае, вы участвуете в равной борьбе, боретесь с врагом, который и книги читал и виды видал. Но как вы докажете темному, забитому, неграмотному каму, что он просто-напросто больной человек, эпилептик, «припадочный», что он не с «духами» беседует и борется, а с собственной своей больной фантазией? Как докажете темному алтайцу, что судороги на лице неистовствующего кама, пена на его губах, страшный вопль, вырывающийся из его рта, — все это результат болезни? Правда, камлание обходится весьма и весьма дорого (особенно жертвоприношение), но ведь часто камы себе лично ничего или почти ничего за камлание не берут, часто они — те же бедные алтайцы или алтайки (камами могут быть и женщины).

Затем кам появляется, так сказать, стихийно. Ребенок со вниманием, присущим только ребенку, следит за молитвами кама. Лихорадка, которая треплет священнослужителя, мистическим ужасом действует на юного зрителя. Раз и два, и десять, и двадцать ребенок приглядывается к камланию, потом сам повторяет движения священнослужителя. С ребенком начинаются припадки. Его отводят в лес, где он один-на-один с природой «сносится с духами». Его считают избранным, отмеченным свыше. Старый кам передает ему тайны камлания. И вот новый служитель культа, новый эпилептик, нервно больной человек.

Все же, несмотря на все эти «естественные препятствия», алтайская советская общественность успешно борется с религией. В этом году впервые организовано всеалтайское общество безбожников, цветут и зреют ячейки атеистов на местах. Однако парализовать деятельность бродячего по горам кама не так-то легко...

Сущность шаманизма несложна. Миром правят два основных духа: добрый — Ульгень и злой — Эрлик. Выше этих двух — творец всех духов — Юч-Курбустан, бог богов, создатель вселенной. Человек — творение доброго и злого духов. Он был создан Ульгенем, но живую душу вдохнул в человека Эрлик. За это Юч-Курбустан изгнал Эрлика, запретил ему показываться на свет божий. С тех пор он и живет, царствует в вечном мраке. Жертвы приносятся, главным образом, Эрлику,— Ульгень и так милостив.

Шаманизм стар, древен, дряхл. Мстительный Эрлик оживил природу, наполнил ее злыми духами. Они — всюду и везде, они подстерегают человека на каждом его шагу, они мстительны и злопамятны. Они раздавили алтайца, он изнемог от их бремени. Пришедший (вместе с царским урядником) миссионер с «освободительным» крестом в руках еще больше запугал, унизил, уничтожил алтайца. И вот — как огонь в алтайском лесу — вспыхивает и разносится по Алтаю новая религия — бурханизм, «белая вера».

Приверженцы великого Цзонкавы, «желтые шапки» ламаисты давно уже переходили русскую границу, бродили по Алтаю, проповедывали буддийское учение. Новая религия, воспевающая высший венец нравственной жизни — нирвану, отрицающая кровавые жертвоприношения, находит здесь благоприятную почву и, привившись, дает необычайные плоды. Вымирающий народ начинает бредить национальным, легендарным богатырем — белым Ойрот-ханом. Он жил, Ойрот-хан, в то золотое время, когда беспечный смех стоял над Алтаем. Благополучие и довольство царили тогда в стране золотых гор. Умирая, великий Ойрот-хан «завещал ожидать второго его пришествия». Придя вторично, он освободит алтайцев от ига чужестранцев. Всеобщее блаженство будет тогда на плодородных пастбищах.

В 1904 г., во время русско-японской войны, алтаец Усть-Канского аймака, житель долины Кырлык, Чет-Челпанов, об'являет себя пророком. К нему на белой лошади, в белом плаще явился якобы Ойрот-хан (он же Бур-хан) и велел об'явить о своем втором пришествии. Видела Ойрот-хана и дочь Чет-Челпанова — Чугул: Бур-хан плывет то по воздуху, то по земле, он утверждает, что момент второго его пришествия наступил.

Тогда-то вновь возникшая религия прорывает все перегородки, разливается по всему Алтаю. Толпы алтайцев уничтожают все, что связано с русскими, в несколько дней тратят все свои деньги (этим, конечно, воспользовались чиновники и купцы), жгут шаманские бубны и одеяния, переносят свои жилища на новые места, уходят подальше от русских и крещеных алтайцев. Дни и ночи в долинах идут молебствия Бур-хану. Через месяц новое движение среди алтайцев достигает огромных размеров. В Усть-Канскую долину с'езжаются тысячные толпы алтайцев. Явление начинает принимать формы не только религиозного протеста, но и национального. Русские об'являются врагами. «Каменный дом — не дом, русская спичка — не огонь, рыжий, волосатый поп — не человек...»

Чет-Челпанов и активные его помощники были арестованы, но учение продолжает распространяться по Алтаю. Камлание сменяется торжественным служением Ойрот-хану, курением вереска, брызганием арачки и молока. Кама сменяет ярлыки. Белый цвет преобладает среди бурханистов, белый освободитель должен притти. Бурханисты разводят белый скот, развешивают белые лоскутья, священным деревом у них является белое дерево — береза.

Улалинские товарищи рассказывали мне следующий, почти анекдотический случай:

В 1922 г. была об'явлена «Автономная область ойротского народа». Ойротская область была названа в знак исторической связи алтайцев с древне-ойротским народом. Группа бурханистов, однако, решили, что речь здесь идет об Ойрот-хане. Они приехали в Улалу и пытались изобличить алтайца, председателя облисполкома, в тождестве с ойротом. Что мог ответить «велики Ойрот»-коммунист? Он прочел им антирелигиозный доклад, постарался разделаться и с камами и с ярлычками, рассказал о великом, земном Ленине, который является хан-Ойротом всех угнетенных... Смущенным, сбитым с толка бурханистам пришлось уехать ни с чем...

«Я, Туженеев Чекчуш, будучи ярлыком, обманывал темный народ. Сейчас я бросаю свое ярлычество».

Это — «письмо в редакцию» улалинской газеты «Ойротский край» (№ 44 от 11 июня 1929 г.).

Таких «писем в редакцию» от ярлыков и камов — немало в улалинской газете.

В областном музее я видел одеяние кама Бакашева. Бубен его был порван, кафтан висел под стеклом. Бакашев, бросив свое занятие, самолично передал все свои атрибуты в исполком.

Но... я слишком внимательно приглядывался к камам и ярлыкам, и потому «прозрение» эпилептиков пока что звучит для меня не совсем убедительно... Здесь предстоит еще большая длительная работа...

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

В. М. Фриче

М. Добрынин

Владимир Максимович Фриче стоял в центре марксистской науки об искусстве и литературе. В своих многочисленных исследованиях он поставил, а во многих случаях дал и разрешение почти всем основным проблемам марксистского искусствознания и литературоведения. Всего год с небольшим назад, открывая журнал «Литература и марксизм», Вл. Макс. в передовой журнала формулировал нашу «первоочередную задачу». Он писал: «Если приглядеться к тому, что в последние годы делается в области литературоведения, то нетрудно видеть, что с большой настойчивостью, с значительным единодушием выдвигалась и еще продолжает выдвигаться на передний план исследовательской работы как коренная и центральная одна проблема — проблема стиля». (Разр. моя.— *М. Д.)*[1]. Эта ясная и отчетливая постановка проблемы стиля как коренной и центральной была совершенно закономерна для Вл. Макс. Уже давно он говорил об этом, а в 1923 г., т. е. за пять лет до этого, он писал статью «К постановке проблемы стиля» (ВКА, 1923, 4 стр.), где развивал эти же мысли. Одновременно с этим, в целом ряде своих работ конкретно-исторического характера Вл. Макс. утверждал эти мысли самим ходом работы, не давая им теоретической формулировки. Приступая к изучению трудов Вл. Макс., мы должны помнить одну весьма существенную особенность его работы. Она заключается в следующем: он давал формулы, которые часто оставались нераскрытыми, но заключающими в себе истинные пути развития марксистской мысли о литературе и искусстве; рядом с этим он давал широкие конкретно-исторические работы, не облеченные в теоретические формулы, но представляющие в теоретическом оформлении последовательное и логическое развитие его общих формул. Это надо помнить, и ближайшая задача в изучении его наследства заключается в том, чтобы, с одной стороны, раскрывая и развертывая все скрытые возможности его общих формулировок, с другой стороны, давая теоретическое оформление его конкретно-историческим исследованиям, развернуть таким образом стройную и логически последовательную систему научных воззрений Вл. Макс., которая была делом его жизни.

I

Проблема стиля

Одной из таких общих формул и является формула о стиле, о самой жгучей проблеме нашей науки. Названную статью «К постановке проблемы стиля» Вл. Макс. начинает так: «Одной из актуальнейших проблем искус-

[1] «Литер. и маркс.», № 1, 1928, стр. 3.

ствознания является, несомненно, проблема стиля. Правильное ее решение зависит в значительной степени, конечно, от ее правильной постановки» (ВКА, 4, 350). Подведя в этой статье итог в оценке книги Гамана «Импрессионизм в жизни и в искусстве», Вл. Макс. заключает: «Заслуга Гамана в том, что он зовет к синтетическому изучению стиля не только во всех областях художественного творчества данной эпохи, но и во всех смежных областях духовной культуры, причем для него все-таки ясно — при всех его в этом отношении шатаниях и невыдержанности, — что стиль культуры данной эпохи есть лишь особое выражение социально-экономических факторов, которые, действуя и в другие эпохи, производят аналогичные идеологические последствия» (ВКА № 4, стр. 361). Уже тут ясен путь к постановке проблемы стиля в дальнейших его работах. «Как надлежит эту проблему ставить и решать с точки зрения марксистского литературоведения? Что такое стиль?» — спрашивал через пять лет Вл. Макс. в цитированной выше статье «Наша первоочередная задача». Для него стиль был не только внешней формой, но и определенным содержанием, не только идеологией, но и технологией: стиль, по мысли Вл. Макс., был «органическим единством всех составляющих литературное произведение или сумму литературных произведений компонентов, как психоидеологических (тематика, образы и т. д.), так и технологических (жанровых, языковых и т. п. или иначе — органическое единство «формы» и «содержания» («Лит. и маркс.», № 1, 1928, стр. 5).

Он писал: «Как всякое стилевое единство, так и литературный (поэтический) стиль представляет некое целостное единство, закономерно построенное, т. е. такое единство, отдельные части которого спаяны друг с другом в одно целое некоторым «формирующим принципом», неким формотворческим центром.

Если литературный (поэтический) стиль есть лишь часть стиля общественного (стиля общественной формации), то, очевидно, формирующим это стилевое единство принципом или началом является экономика, «способ производства». Так можно было бы говорить о литературном (поэтическом) стиле натурально-феодальной общественной формации, торгово-капиталистической и т. д.» (5, 6).

Учение о стилях общественно-экономических формаций, учение об организующем стиль принципе является основным моментом в разрешении проблемы стиля. Но данное в своей обычной формулировке оно таит в себе множество разветвлений и может породить много истолкований. Наша задача и заключается в том, чтобы эту формулу раскрыть в согласии со всем характером и духом работы Вл. Макс. Его часто упрекали в схематизме и упрощенстве, а он, сознавая всю недостаточность общих формул, на которых и основывались упреки, увлеченный борьбой, часто не мог, не имел времени, чтобы раскрыть их. Эту незаконченную им работу должны сделать его ученики и последователи. Развивая свое понимание стиля, он писал: «Так, не экономика непосредственно, а классовая психология является тем началом, которое с неотвратимой неизбежностью организует все компоненты литературных произведений — тематику, образы, жанровую композицию, словесную оболочку и т. д., в одно органическое целое». («Лит. и маркс.», № 1, 1928, стр. 6). В классе, в его активном отношении к миру, в его практической деятельности Фриче стремился отыскать принцип, связывающий ряды литературных фактов в классовые стили. Он не мог смотреть иначе, так как сам был революционером и человеком борьбы за новый мир. «Прошлое не должно и не может нас занимать как прошлое. Оно не имеет для нас самодовлеющего значения. Мы не пассеисты, а люди современности, не созерцатели, а практики. Наука для нас — только средство

организации жизни» («Лит. и маркс.», № 1, 1928, стр. 8). Да, в науке он видел только средство организации жизни. Он как марксист стремился познавать мир для того, чтобы изменять его.

«Знание развития и законов стилеобразований, история и социология стилей для нас только подсобное средство, дабы, с одной стороны, лучше и легче разобраться в литературной современности, в борьбе литературных направлений сегодняшнего дня, а с другой,— чтобы безошибочнее решить вопрос о литературном стиле нового господствующего, но еще молодого класса, после революции политической теперь совершающего ее продолжение, завершение — революцию культурную.

Иначе: история и социология литературы являются для нас лишь тем базисом, на основе которого возможно будет построить подлинную, научную литературную критику, применяющую добытые на историческом материале положения и законы к освещению литературной современности и к решению поставленной перед нами жизнью проблемы социалистической культуры или проблемы «стиля» социалистической культуры в той ее части, которая охватывает стиль литературы социалистической эпохи и прежде всего — стиль пролетарской литературы» («Лит. и маркс»., № 1, 1928, стр. 9). Вот где совершенно ясно, убедительно и отчетливо сформулирована действительная связь науки с жизнью, с практикой классовой борьбы пролетариата. Здесь указана верная дорога из истории, из прошлого в современность, в самую гущу жизни, дорога к борьбе за новый мир. Тот, кто не может понять этого, не сможет понять смысла и целеустремленности Вл. Макс. как критика, его непримиримой позиции в классовых боях на литературном фронте. Охваченные академическим высокомерием некоторые исследователи считали Вл. Макс. типичным публицистом, представителем донаучного периода в критике и литературоведении. Лишенные ярко выраженной классовой установки, лишенные опыта и целеустремленности в борьбе за новый мир, отвлекающие свою «научную, академическую работу» от вопросов жизненной борьбы, являясь типичными схоластами, побрякивающими словесными категориями вдали от шума классовой борьбы, превращаясь из ученых исследователей с практической установкой в «приват-звонарей науки», — эти люди не могли, не могут, неспособны оценить заслуги Вл. Макс. Фриче перед наукой, понять смысл и значение его научной и критической деятельности.

Это был ученый и критик, публицист и солдат революции на очень важном участке идеологической борьбы. Он представляется монолитной фигурой, у него все было подчинено единой цели, где наука была основанием и средством для критики, критика была необходимым следствием научной работы. И мы скажем его словами, что как публицист он «оставался человеком научной мысли, ибо он был марксистом, а уже Плеханов указал, что есть большая разница между либерально-публицистической критикой и марксистской публицистической критикой, которая не перестает и как публицистика быть научной» (ВКА, № 5, 189).

«Так подготовим мы необходимый материал для построения истории литературы, которая будет вместе с тем и исторической поэтикой (и наоборот), в виде истории литературных (поэтических) стилей в их борьбе и в их смене, как стилей, борющихся и сменяющих друг друга классов и внутриклассовых групп» («Лит. и маркс.», № 1, 1928, 7).

Так намечена наша ближайшая задача, опять-таки четко и определенно. Понять весь глубокий смысл этих формулировок, раскрыть до конца все вытекающие отсюда следствия — значит набросать конкретный план построения истории литературы. Но это только первая часть. Углубляясь

дальше, мы должны будем сказать, что история литературы, как история стилей, должна быть понята по аналогии с формулой — история общества есть история борьбы классов. Отсюда встает новая и труднейшая проблема в истории стилей — проблема борьбы и смены стилей, ибо «конечной» целью в истории литературы является создание истории существовавших, боровшихся, побеждавших и сменявших друг друга художественных стилей (см. В. Фриче «Проблема русского романтизма», «Печ. и рев.», 1927, 5). Вл. Макс. это прекрасно видел, когда говорил, что здесь встает ряд трудных и сложных вопросов, мало или почти не освещенных и разрешенных, а именно:

«Как созревающий класс или та или иная социальная группа организует свой стиль (подражанием, отталкиванием, развитием рудиментарных форм); как этот стиль меняется, когда класс или группа созрели и потом клонятся к упадку, вытесняемые другими классами и группами; как и когда происходит влияние стиля одних классов и групп на стиль других; возможны ли и при каких условиях стилевые образования, в создании которых участвуют несколько классов и групп; возможно ли и когда вторжение в стилевой организм писателя одного класса новых и иных стилеобразований; возможен ли перенос известных элементов стиля одного класса или группы в стиль других и т. д.», — это лишь небольшая часть проблем, затронутых В. М. Фриче. Мы считаем, что конкретизация уже намеченных проблем и дальнейшая их постановка в плане, намеченном Вл. Макс., должна привести нас опять-таки к конкретному плану построения истории литературы.

Итак, история литературы есть история стилей. Создать историю литературы, которая будет вместе с тем и исторической поэтикой (и наоборот) значит осветить светом марксистского анализа поэтические стили в их борьбе и смене как идеологическое отражение борьбы и смены классов и внутриклассовых групп. Тут-то и встают те задачи и пути к их разрешению, которые наметил Вл. Макс. Фриче.

II.

Проблемы социологической поэтики

Набрасывая задачи истории литературы как истории стилей, прекрасно понимая, что созданная так история литературы явится вместе с тем и исторической поэтикой, Вл. Макс. подчеркнул значение и необходимость создания социологической поэтики. В своей статье «Проблемы социологической поэтики» (ВКА, № 17, 1926) он указал на необходимость разработки этой науки и остановился на ее основных вопросах и темах. Тут снова следует подчеркнуть, что выражение «социологическая поэтика» Вл. Макс. понимал в том смысле, что это — марксистско-социологическая поэтика, в отличие от поэтик целого ряда социологов-немарксистов, очень часто цитирующих Вл. Макс. и придающих его словам не тот смысл, который они имеют. Что же такое марксистская поэтика, каково ее отношение к истории литературы? С о ц и о л о г и ч е с к а я п о э т и к а б ы л а д л я В л. М а к с. н е ч е м и н ы м, к а к к о н к р е т н о й м е т о д о л о г и е й л и т е р а т у р ы. В самом деле: если общая методология литературы берет литературу «извне», если предметом ее разработки является вопрос об отношении искусства к действительности, если она к вопросу специфики литературы подходит «извне», если в своей работе она пользуется общей марксистской терминологией, то конкретная методология — социалистическая поэтика —

берет литературу «изнутри», ставит основным для себя вопросом задачу определения, что такое литература как особая форма идеологии, какова ее специфика, каковы законы ее формирования и движения. Она, таким образом, общие принципы марксистского метода применяет к конкретному материалу, выражает их на своем специфическом литературоведческом языке. Если задачи, стоящие перед общей марксистской методологией литературы, были ясны Плеханову, если в своих блестящих работах Плеханов поставил и решил в сущности центральную проблему общей методологии — проблему отношения искусства к действительности, то проблемы конкретной методологии, проблемы марксистско-социологической поэтики стали выявляться только в последнее время, и честь постановки их выпала на долю Вл. Макс. Фриче.

Приступая к формулировке основных вопросов социологической поэтики, Вл. Макс. понимал, что «в виду почти полной неразработанности с этой точки зрения литературного материала, подлежащего организации в виде социологической поэтики, в настоящее время, конечно, нет никакой возможности построить законченное здание этой еще не существующей науки» (ВКА, № 17, 169).

Какие же проблемы с точки зрения Вл. Макс. являются центральными проблемами поэтики? Центральными, хотя и не единственными проблемами социологической поэтики Вл. Макс. считал проблему стилей и проблему жанров, тесно связанных между собой тем, что для известных стилей характерны известные жанры, а во всяком жанре сказывается господство тех или иных стилей. В указанной выше статье, посвященной проблемам социологической поэтики (ВКА, № 17, 1926, стр. 169—180), Вл. Макс. намечает некоторые стороны этих двух проблем. В качестве самых существенных вопросов тут намечены:

1) закон единства поэтического и жизненного стиля,

2) закон диференциации господствующего стиля эпохи» на разновидности,

3) законы образования стилевых и жанровых формаций,

4) законы развития стилей и жанров.

Как понять эти законы? В каком направлении вести их дальнейшую разработку? Какие вопросы возникают при их расшифровке? Само собой разумеется, что, цитируя Вл. Макс., многие ученые-социологи вкладывают свое содержание в эти законы, и тут, повторим мы, наша задача заключается в том, чтобы раскрыть их содержание, сделать все таящиеся в них выводы в духе общего учения В. Макс. Фриче, основанного на диалектическом материализме.

Как нетрудно установить, первый из этих законов относится к проблеме общей методологии, стоящей на грани с конкретной. Мы будем иметь возможность подчеркнуть дальше, в чем ее оригинальность от самой первой постановки вопроса о зависимости или обусловленности искусства действительностью. Теперь же отметим, что закон единства поэтического и жизненного стиля устанавливает не простую обусловленность искусства жизнью, не тот факт, что искусство имеет земные корни, не тот факт, что об'ектом своим искусство всегда имеет действительность, но тот факт, что характер искусства, его основная направленность и целеустремленность, самый характер его задач и средств их разрешения (жанры) заключен в характере той системы производственных отношений, которая является бытием класса, раскрывающем себя во всех областях жизни, в том числе и в искусстве. Вот почему «первая задача социологической поэтики по отношению к этой кардинальной проблеме поэтики и состоит в том, чтобы установить закономерное соответствие известных поэтических стилей определенным эконо-

мическим стилям» (стр. 171). Раскрыть в характере поэтического стиля общие, основные черты формулирующей его системы производственных отношений, показать, как и в чем, в каких чертах экономическое бытие класса раскрывает себя в поэтическом творчестве, формулируя его в стиль, — таков должен быть путь к разрешению этой задачи. Тут мы стоим обеими ногами на почве марксистской поэтики и, покидая область общей методологии, создаем конкретную методологию литературоведения.

Кто же является суб'ектом стиля? кто его создает? Или иначе: как разрешить проблему взаимоотношения стиля эпохи с классовыми стилями? Вот как эта весьма существенная проблема поставлена у Вл. Макс.: «Так как общество обычно состоит из нескольких классов, то господствующий в данную историческую эпоху поэтический стиль, как эстетическое выражение экономического стиля эпохи, неизбежно претерпевает известные изменения в зависимости от того, писатель какой общественной группы претворяет в своем творчестве этот господствующий поэтический стиль. И здесь под понятием стиль подразумеваются уже не только самые общие формальные его свойства и черты, а также, выражаясь словами Н. И. Бухарина, «определенное содержание со всеми относящимися сюда наглядными системами» (стр. 172). Вот почему вторая задача поэтики формулирована как задача установления закона диференциации стиля в зависимости от наличия в данный исторический момент нескольких общественных классов, из которых каждый создает в лице своих писателей свою поэзию. Тут весьма существенно обратить внимание на диалектическое понимание Вл. Макс. проблемы стиля. Стиль класса существует, но он не абсолютно отграничен от стиля другого класса, он имеет какие-то общие с ним черты. Характер этих черт заложен в способе производства данной общественно-экономической формации. И как в процессе общественного производства классы одной общественно-экономической формации связаны между собою, хотя и занимают разное положение и имеют различный характер отношения, так и в процессе идеологического творчества они связаны между собой, но в то же время и раз'единены. Так учение о стиле класса необходимо дополняется своей другой стороной — учением о стиле общественно-экономической формации. Стили классов противостоят друг другу, но одновременно с тем и связаны друг с другом.

Чрезвычайно важная и большая проблема формирования поэтических стилей и жанров получала у Вл. Макс. освещение только с одной стороны: как новый класс, выходящий на историческую сцену, формирует свои стили и жанры. Первым законом, который тут можно установить, является закон подражания. Сущность его сводится к тому, что «новый класс, строящий свою поэзию, заимствует известные стилевые и жанровые образования у того же класса другой страны в настоящем или даже отдаленном прошлом, там, где этот класс раньше успел экономически и социально, а следовательно, и культурно конструироваться» (ВКА, № 17, 173—4).

Перед нами не закон сохранения творческой энергии, сформулированный и выдвигаемый акад. П. Н. Сакулиным, а закон подражания, каждый раз вызываемый к жизни и действующий в силу положения класса в обществе, следовательно, во всей сложности исторического бытия, т. е. при определенном его культурном уровне, при его отношении к другим классам и т. д., и т. д. Разница между выдвигаемым Сакулиным законом сохранения творческой энергии и законом подражания, выдвигаемым Фриче, сводится к тому, что П. Н. Сакулин ищет в творчестве художника элементов творчества прошлых поколений, полагая, что творческая энергия не умирает

бесследно, а продолжает жить как элемент творческой традиции, переходя в виде отдельных элементов (элементы стиха, мотивы, образы) из периода в период. Таким образом, получается единство литературного процесса, купленное ценою отрыва от реальной истории, от ее творцов-классов и внутриклассовых групп. Кроме того, совершенно неясно, почему художник заимствует те, а не иные элементы из прошлого и как эти элементы определяют характер творчества. Закон же подражания как раз подчеркивает, во-первых, тот момент, что общественные условия, положение класса в данной исторической обстановке заставляют его подражать, брать напрокат маски и костюмы у прошлого, но родственного в основных чертах класса, а, во-вторых, так как заимствование происходит у класса социально и духовно родственного, а не вообще со всех сторон, то этим самым придается единство всей художественной деятельности, и, следовательно, определяется характер стиля. Таким образом, закон подражания не отрывает историю от людей и, являясь показателем характера их практической деятельности, связывает литературные факты.

Вторым законом будет закон противопоставления. Сущность его сводится к тому, что «класс формирует свои стили и жанры, как противоположность, как антитезу стилям и жанрам того класса, который до него был господствующим и который теперь все более оттесняется на задний план. Если в первом случае там, где действует закон подражания, сказывается чувство классового родства, то здесь, в этих более многочисленных случаях, обнаруживается классовый антагонизм, классовая борьба» (стр. 175). Тут опять-таки следует указать, что закон противопоставления не то, что закон «противоположностей и скачков» у П. Н. Сакулина. Разница в том, что противоположность и скачки П. Н. Сакулин различает в рамках литературного процесса, рассматривая, например, трехликий классицизм от Ломоносова до Вячеслава Иванова и только в одном пункте, да и то с оговоркой, подходя к правильному рассмотрению противоположностей, как выражению социальной группы, противопоставляющей себя. Закон же противопоставления в формулировке Вл. Макс. Фриче схватывает момент классового антагонизма, классовой борьбы, и отсюда — «выворачивание восходящим классом наизнанку стиля и жанра» другого класса. Если П. Н. Сакулин связывает литературный процесс, минуя классы, и говорит о едином классицизме, а не о классицизме у разных классов, если, по его мысли, противоположности и скачки совершаются в пределах литературного процесса, то Вл. Макс. Фриче связывает литературные факты в стиль класса единством его отношения к своему антагонисту, считает, что стиль формируется как антитеза и, таким образом, связывается через борьбу.

Достаточно четкая формулировка этих законов казалась Вл. Макс. Фриче недостаточной со стороны отмежевания от имманентных законов, и он еще раз подчеркивает свое отличие от них. Он пишет: «Оба эти закона — закон подражания и закон противопоставления, — играющие решающую роль в процессе формирования новым классом своих стилевых и жанровых образований, не являются, однако, законами, действующими суверенно в мире самих литературных форм, а привносятся в область поэтического творчества диалектикой социального развития, в конечном счете и по существу, борьбой классов, стремящихся отмежеваться и в области поэтического творчества, причем они в этом процессе создания своих поэтических форм не только, так сказать, выворачивают наизнанку сообразно своей психоидеологии готовые формы вытесняемого с исторической сцены класса, но и в известных случаях строят свой стиль и жанры из материала, заимствованного из поэзии других стран или из поэзии прошлого в силу классового родства» (стр. 176).

Таким образом достигается предельно ясная формулировка этих законов. Наряду с ними намечается закон трансформации классового стиля под влиянием стиля другого класса, социально крепнущего и опережающего своего антагониста.

В любопытной статье «Трансформация литературных жанров» (Воинств. мат., I, 1924) Вл. Макс. прослеживает развитие литературных жанров в зависимости от общего хода жизни.

И в последней статье, написанной буквально накануне своей смерти («К вопросу о повествовательных жанрах пролетарской литературы» «Печ. и рев.», IX, 1929), он ставит вопрос о трансформации жанров, рассматривая его в зависимости от развития класса и его положения в обществе. Так, напр., основным жанром нашей современной литературы Вл. Макс. считает, условно выражаясь, социалистический производственный роман (повесть), вытекающий из основного образа пролетарской литературы на нынешнем отрезке времени (реконструктивный период), а именно, из образа класса-строителя. Разновидностью производственно-социалистического романа (повести) становится утопический роман о коммунистическом обществе.

Процесс формирования жанров и стилей по намеченным путям предполагает, что перед нами класс основной для той или иной общественно-экономической формации и потому класс, создающий «чистый» стиль и жанры. Что же касается до промежуточных групп (мелкая буржуазия, напр.), то Вл. Макс. считал, что там возможны более сложные художественные комплексы. Там возможна некоторая двойственность в образовании стиля. Конечно, это опять-таки не то, что П. Н. Сакулин обозначает как гибридные стили, так как и здесь Вл. Макс. Фриче исходит из других позиций.

Поставив проблемы о единстве стиля экономического и идеологического, о диференциации «стиля эпохи» на классовые разновидности, о процессе формирования жанров и стилей, Вл. Макс. считал нужным остановиться еще на очень существенной проблеме «о законах развития стилей и жанров на всем протяжении истории поэзии или, по крайней мере, на протяжении таких больших отрезков, как поэзия новоевропейских народов (от средних веков до наших дней)» (стр. 177). Тут развитие поэтических форм идет «скачками» в тех случаях, когда в производстве происходят резкие сдвиги, или когда на смену одному классу идет другой, или, наконец, и тогда, когда в психоидеологии класса в силу внешних причин происходят существенные и резкие перемены. Развитие поэтических форм идет, напротив, путем частичных изменений, «эволюционно», когда в экономическом базисе, в классовой структуре и в психоидеологии класса царит сравнительная устойчивость и нет места значительно существенным изменениям и потрясениям (стр. 177). Подтверждая этот закон примерами из истории европейских литератур, Вл. Макс. Фриче считает нужным еще раз подчеркнуть, что эволюция стилей и жанров, резкие скачки в их развитии являются не самопроизвольным движением внутри стиля или жанра, не имманентным самой поэзии процессом, а каузально обусловлены движением социальных групп, являются отражением в жизни стилей противоречивого, диалектического развития общества, его производственной основы и классовой структуры. Понятый в таком смысле закон развития стилей и жанров дает возможность об'яснить социологически даже технологию творчества.

Вл. Макс. Фриче прекрасно понимал, что поставленная им проблема стилей и жанров не исчерпана и в то же время не является единственной проблемой социологической поэтики. Но он поставил самую центральную проблему социологической поэтики, подчеркнул самые основные ее стороны, набросал пути, ведущие к их разрешению, подчеркнул необходимость соз-

дания этой науки и доказал на примерах возможность ее построения. Наша задача и заключается в том, чтобы, расшифровывая и углубляя данные им формулы в духе его методологических построений, раскрыть те стороны и выявить те проблемы, которые сейчас кажутся скрытыми, но содержатся в его формулах.

III.

Проблемы общей методологии

Идя вслед за Плехановым, разрабатывая и углубляя конкретную методологию искусствознания и литературоведения, Вл. Макс. Фриче очень часто останавливался и на принципах общей методологии, освещая вопросы, не затронутые или мало освещенные Плехановым. Вопросам общей методологии посвящены и те его статьи, где он защищает принципы, развернутые Плехановым. Так, напр., статью «Проблема диалектического развития искусства» (ВКА, № 21, 1927) он заканчивает следующим образом:

«Иначе: развитие и движение художественной надстройки совершается преимущественно антитетично — и только в этом смысле «диалектически»,— выражая и отражая в своей области и своими формами борьбу классов и внутриклассовых групп. И у нас нет оснований отступать от этой данной еще Плехановым схемы «диалектики» в жизни надстроенных областей» (ВКА, № 21, 1927, стр. 22).

Проблемам общей методологии посвящена глава «Социальное значение искусства» в книге «Очерки по искусству» (Нов. Москва, 1923), а также ряд статей и докладов (напр., «Фрейдизм и искусство» (ВКА, № 12, 1926), «В. Воровский, как критик» (ВКА, № 5), «Зигмунд Фрейд и Леонардо да Винчи» (Воинств. мат., III, 1925, стр. 160—168), и ряд других работ. Мы остановимся на некоторых вопросах общей методологии, получивших свою разработку у Фриче. Это прежде всего — вопрос о социальной функции искусства. Какую общественную роль, какую социальную функцию выполняет искусство? — спрашивает Вл. Макс.

Подчеркивая, что произведения искусства служат украшением и развлечением-отдыхом, повышающим жизнедеятельность человеческого организма, Вл. Макс. утверждает, «что и в доисторические времена и на наших ступенях цивилизации искусство является одним из средств борьбы за существование, а на более высоких ступенях культуры, в обществе, разделенном на классы, на классы господствующие и классы подчиненные, искусство является одним из средств классового самоутверждения, классовой борьбы и классового господства» (Очерки, стр. 8).

Таков самый общий ответ на поставленный вопрос.

Прослеживая далее социальное значение искусства на отдельных ступенях развития человеческого общества, Вл. Макс. устанавливает, что:

1. «Искусство выросло из потребностей общественного коллектива и выполняет функцию, для общества в высшей степени необходимую. Без искусства, хотя бы и в том зачаточном виде, в каком оно существует у дикарей, последним было бы гораздо труднее справиться со сложной задачей борьбы за жизнь» (стр. 11).

2. Подымаясь к обществу с налаженным физическим трудом и с его разделением, Вл. Макс. устанавливает, что «на этой уже довольно высокой ступени цивилизации искусство родится из самого процесса работы,— как средство организовать и облегчить эту общественно-необходимую работу... Поэзия с ее ритмами родилась из ритма работы... Общественно-необходимый

труд — вот колыбель поэзии... Одновременно с рабочею песнью (слова, музыка) родился и рабочий танец... Таким образом, искусство — поэзия, музыка — танец — существовало вовсе не как нечто самостоятельное, а было частью трудовой жизни, было порождением труда и, вместе с тем, средством организации труда, этой основы всякого цивилизованного общества».

3. Переходя к обществу классовому, Вл. Макс. устанавливает, «что здесь искусство является прежде всего одним из средств для господствующего класса известным образом закрепить свое господство. В этом смысле искусство является одною из так называемых «идеологий» или «надстроек» или «идеологических надстроек» наравне с правом, философией, наукой» (стр. 13—14). Социальная функция искусства, понятая в таком смысле, существовала и существует во все времена классового общества, где бы оно ни было. Будет ли это древний Египет, средневековая Западная Европа, Япония эпохи феодализма, наконец — буржуазное общество, — везде мы найдем, что искусство, различное по содержанию, по форме и технике, «остается тем же по своей социальной сущности, той же классовой идеологией, служащей заодно и средством воплощения своего классового «я» и средством отмежевания себя от других классов (стр. 18).

«Итак, заканчивает Вл. М., отпечатлевая в художественных образах свою психическую сущность, определяемую его ролью в хозяйственной жизни, каждый класс при помощи искусства воспитывает своих членов в духе настроений и идеалов, обеспечивающих ему существование, победу и власть, косвенно подчиняя своему духовному и социальному влиянию остальные общественные группы» (стр. 21). Таков ответ Вл. Макс. на вопрос о том, каково же общественное значение искусства, какова его социальная функция.

Мы остановимся еще на одной проблеме общей методологии — это то, что можно было бы обозначить как зависимость художественного стиля от общественной жизни. Мы видим, что это одна из сторон той же самой общей и самой основной проблемы, над которой работал Плеханов, — проблемы об отношении искусства к действительности. Но обогащенная движением мысли вперед, она получает здесь несколько иную трактовку и потому приобретает особый интерес. Первый вопрос, который тут следует поставить, это вопрос о том, чем определяется и откуда вырастает общий характер художественного стиля. Отвечая на этот вопрос, Вл. Макс. писал: «Что же касается общего характера всякого художественного «стиля», то он всегда вырастает из социально-психологических особенностей данной эпохи, или иначе, всякий художественный стиль, взятый в его главенствующей идее, есть не что иное, как особое (художественное или эстетическое) выражение «стиля» самой общественно-бытовой и общественно-психологической жизни данного социального организма в данную историческую эпоху, т. е. основных тенденций и мнений этой общественно-бытовой или общественно-психологической действительности. И поскольку художественный стиль есть лишь другая сторона общественно-бытового и общественно-психологического стиля эпохи, искусство становится явлением общественным, социально-необходимым и лишь социально-об'яснимым» (Очерки, стр. 22). И это закон обязательный и проявляющий себя во всех памятниках прошлого и настоящего искусства. Характер стиля греческого, средневекового искусства, эпохи Возрождения и придворно-абсолютической культуры, буржуазии и пролетариата определяется характером всего уклада жизни тех или иных групп. Даже преобладание того или иного вида искусства в период того или иного стиля вытекает из общего стиля эпохи. Если «история эллинского искусства есть преимущественно история скульптуры, а история средневекового искусства преимущественно история архитектуры

(притом церковной), то история искусства эпохи Возрождения (XIV, XV, XVI вв.) есть преимущественно история живописи». Но «как в греческих городах-республиках — скульптура, в средние века — архитектура, в эпоху Возрождения — живопись, так в XVII в. (и еще в XVIII в.) центральным видом искусства была — родившаяся в атмосфере самодержавия — мелодрама и опера с вставными балетами, с мифологическим сюжетом или подробностями, сочетавшие музыку, поэзию и танец, роскошь, пышность и показной блеск» (стр. 35).

Так получается, что проблема обусловленности искусства общественными отношениями трактуется не в той общей форме, что искусство зависит от жизни, что оно имеет своим предметом действительность, изображает и выражает ее, а в том, что характер искусства, его стиль есть выражение стиля общественных отношений данного класса, что он является органической частью жизни класса, что даже преобладание того или иного вида искусства является неизбежным следствием господства и расцвета того или иного стиля. «Само собой понятно, пишет Вл. Макс., что в живописи этой (эпохи Возрождения.— *М. Д.)* эпохи, как в греческой культуре и средневековой архитектуре, происходило постоянное с в о е движение, возникали школы и направления, единый по существу стиль разбивался на несколько «стилей»... При всем своем движении каждый стиль представляет своеобразное явление, ибо все они «если не в их технических особенностях, то в их основной идее, определившей их своеобразие, стили — греческий, готический, Ренессанс, классический, Рококо, — представляют, таким образом, не что иное, как особое («художественное») выражение основных линий, основных идей, или стиля того или иного формируемого социальными условиями бытового и психологического уклада. Искусство есть, иными словами, не что иное, как особая, особо выраженная, надстройка над социальным фундаментом, получающая свой смысл, свою жизнь, свое значение от этого последнего, и поэтому искусство может быть понято и должно быть изложено только в теснейшей связи с социальной историей человечества» (32).

Так эта проблема перерастает в новый этап, становится органической частью общей концепции марксистского представления об искусстве и литературе. Проблема стиля в этой постановке замыкает ход наших размышлений над методологической системой Вл. Макс. Фриче, обнаруживая стройность и последовательность в переходе от проблемы общей методологии к проблемам конкретной методологии искусствознания и литературоведения.

IV

Значение Вл. Макс. Фриче в науке

Даже то беглое изложение методологических взглядов и движения Вл. Макс. Фриче в разработке проблем литературоведения и искусствознания, которое мы здесь сделали, говорит о том, что историческое значение его в этих науках исключительное. Он продолжал работу Плеханова. Но что сделал Плеханов? Сам Вл. Макс. отвечал на этот вопрос так: «Доказать, что эта столь отдаленная от экономического базиса область (искусства — *М. Д.)* всемерно обусловлена в своем бытии и развитии железной необходимостью, социально-экономической предопределенностью, доказать причинность и плодотворность этого метода для всех идеологий и в том числе искусства — только эту задачу мог себе ставить Плеханов и ее он выполнил в своих известных статьях по искусству убедительно и бле-

стяще. На отдельных конкретных примерах и истории искусства от низших ступеней развития и до наших времен он неопровержимо доказал прямую и косвенную предопределенность искусства в его статическом и динамическом состоянии экономическими и социально-классовыми условиями. Каждая из его статей содержала вместе с тем немало чисто-социологических материалов в смысле формулировки известных социально-эстетических законов, постоянно и незыблемо действующих в жизни и в развитии искусства. Содержа немало социологических обобщений, статьи Плеханова даже в своей совокупности не являются, однако, социологией искусства. Это лишь материалы для подробной науки об искусстве».

С этой оценкой исторической роли Плеханова мы вполне согласны. Социология искусства как теория или, лучше, конкретная методология искусствознания, социология поэтики как теория или конкретная методология литературоведения — являются необходимыми этапами в развитии этих наук, значительно ушедших от Плеханова. На основе Плеханова, но путем разработки и движения от него вперед, а не простого повторения его мыслей, стало возможно и необходимо создавать эти науки. И как мы видели выше, Вл. Макс. положил им прочное основание. Создавая эти науки, он действительно двигался вперед. Конечно, у Вл. Макс. есть недостаточность в формулировках и еще больше известная неполнота, на которую он сам так часто указывал. Но он дал нам путь, по которому надо итти, он поставил задачи, которые надо решать, он наметил проблемы, которые надо раскрывать. Он не был догматиком и фанатиком в науке, он был диалектиком, поэтому понимал историческую условность и недостаточность своих формулировок и, не цепляясь за то, что было сказано много лет назад, все время шел вперед. Он был д и а л е к т и к о м и потому бойцом на передовых позициях. Недаром принцип классовой борьбы являлся для него основным как в теоретических, так и конкретно-исторических работах. Он всегда исходил из того принципа, что класс является суб'ектом, организующим художественное творчество. В классе, в характере его отношения к миру и людям, в системе общественных отношений класса искал он об'яснения художественному факту. Он считал, что по своему историческому положению класс берется за изображение разных сторон действительности, решает на языке образов разные вопросы и проблемы, везде давая свое отношение к миру. Поэтому-то художественная литература становится не простой формой отражения, а активно-действующей формой бытия, классово-заостренной и классово-направленной. Изучение литературы в этом плане становится необходимым моментом в жизни и деятельности класса и приводит нас от необходимости простого изучения мира к необходимости изменять его. Тут же лежит разгадка вопроса об отношении между художественным произведением и общественными отношениями, его породившими, вопроса о детерминированности художественного факта во всех его моментах, вопроса о диалектическом понимании истории литературы, о движущих силах исторического развития вообще и литературной формы в частности.

Из воспоминаний о Фриче

И. Бороздин

1

С Владимиром Максимовичем Фриче я встретился впервые в конце 90-х годов прошлого столетия в кабинете известного шекспиролога проф. Н. И. Стороженко. В. М. Фриче незадолго перед этим окончил университет, был оставлен для подготовки к профессуре Н. И. Стороженко и усиленно готовился к магистерскому экзамену. Я помню, как Н. И. Стороженко, всегда заботливо относившийся к своим ученикам, лестно отзывался о В. М., особенно отмечая его огромную начитанность. В. М. Фриче приходил к своему учителю по воскресеньям (это был приемный день Стороженко, собиравший немало представителей научного и литературного мира), вел беседы на историко-литературные темы, приносил прочитанные книги и забирал целые вороха новых.

К этому же времени, помнится мне, относится и первое публичное выступление В. М. как лектора. Уютная, с прекрасными акустическими условиями аудитория Исторического музея (ныне уже не существующая) служила ареной для публичных лекций и различного рода литературных собраний. Учащаяся молодежь обыкновенно валом валила в эту аудиторию. Много народа собрал и первый дебют молодого ученого. В. М. взял темой своей лекции характеристику французского общества конца XIX века в его литературных отображениях. Лекция прочитана была блестяще, и лектор имел шумный успех. Удачные внешние данные лектора, его огромная память (Фриче читал всегда даже без конспекта, приводя на память обширные выдержки и цитаты), уменье конкретного и отчетливого построения сочетались с богатством приводимого материала, стройно систематизированного. Лектор не ограничивался пересказом содержания литературных произведений или их формально-эстетическим анализом, нет, он рисовал яркую картину общественных настроений третьей республики на базе тогдашней экономики. Видное место в лекции было уделено Гюисмансу, от натурализма (в его когда-то нашумевшей «Марте») пришедшего к проповеди полнейшего декаданса, апофеозу всяких извращений, черных месс и т. п. Литература упадочничества была вскрыта социологическим скальпелем. В противовес этой литературе пресытившейся и вырождающейся буржуазии лектор отмечал те новые сдвиги и литературные течения, которые были вызваны неуклонно развивавшимся рабочим движением. Лекция, как я уже сказал, имела большой успех, но она так и осталась только прочитанной; цензура не пропустила ее к напечатанию в сборнике «Под знаменем науки».

Фриче как лектор, выступая многократно и в Москве и в провинции, всегда затрагивал в своих лекциях живые и актуальные проблемы. Внима-

тельно следя за новейшей западной литературой, В. М. стал вести еженедельные обзоры всех текущих новинок в газете «Курьер». Историку русской общественности и литературы придется не раз заглянуть в пожелтевшие от времени номера этой газеты, где первые марксистские критики-литературоведы во главе с Фриче выступали со своими статьями. Эти фельетоны «Курьера» пользовались большим успехом среди тогдашней учащейся молодежи, вызывая споры и бесконечные нападки со стороны представителей либерального и народнического толка.

2

В бурном предреволюционном 1904 году В. М. Фриче сдал свой последний магистерский экзамен и вступил в качестве приват-доцента в Московский университет. Определенный марксист в Московском университете, да еще на историко-филологическом факультете, да еще на кафедре истории литературы — это ли не событие? И действительно, в те времена это было немаловажным событием. Уже курс Н. А. Рожкова, читавшего тогда свой обзор русской истории с социологической точки зрения, вызывал беспокойство, а тут ему на подмогу на том же факультете явился новый представитель революционного миросозерцания.

Каждый новый магистрант по сдаче экзаменов должен был прочесть две пробные лекции: одну — по личному выбору, другую — по заданиям факультета. Пробные лекции Фриче проходили в достаточно напряженной обстановке. Студенчество знало, что факультет не очень расположен к марксистскому ученому и что возможны всякие неожиданности. «Большая словесная» в новом здании университета, где была назначена лекция Фриче, быстро наполнилась народом. Наряду со студентами-филологами в аудиторию пришли и юристы. Темой для своей пробной лекции Фриче выбрал утопию Рабле. Помнится мне, «педанты словесности» с злопыхательством говорили, как-то Фриче совладает с темой и что сможет он сказать нового по сравнению с известной статьей признанного корифея истории всеобщей литературы, академика Александра Веселовского. Внешне спокойный, только сильно побледневший, В. М. Фриче начал свою лекцию. Лекция была превосходна; тонкий анализ социально-экономических и культурных отношений Франции XVI века подводил к разбору замечательной сатиры Рабле, к его утопии Телемской обители. В. М. Фриче внес много свежего и нового в освещение и толкование Рабле [1]. Победа лектора была полная, и весь ареопаг историко-филологического факультета, где в то время обязанности декана временно исполнял глава «идеалистов» кн. С. Н. Трубецкой, признал нового приват-доцента.

С этого времени и началась чрезвычайно яркая и примечательная университетская деятельность В. М. Фриче. Молодой ученый с большой общественной репутацией был горячо встречен революционным студенчеством. Хорошо помню первую лекцию его первого курса по истории немецкой интеллигенции в первую половину XIX века. Кстати о курсе: в факультете долго спорили о названии. Что это за история интеллигенции? Историк литературы должен читать историю литературы, а вовсе не историю интеллигенции.

Первая же лекция собрала такое количество народа, что отведенная небольшая аудитория не смогла вместить всех желающих. Пришлось пуститься

[1] Эта лекция Фриче не была целиком опубликована; лишь частично она была использована в одной из его статей. Этюд о социальной утопии Рабле заслуживает быть напечатанным в его полном виде.

в странствия и искать новую аудиторию. Помнится мне, что такого рода «переселения народов» были не один раз, так как аудитория все росла и росла. Надо вспомнить тогдашнее революционное время и тогдашние общественные настроения. Всякое слово лектора, реагирующего на современность, необыкновенно горячо воспринималось. Курс по истории немецкой литературы в первой половине XIX века был, в сущности, курсом по истории общественных течений в Германии накануне 1848 г. Надо сказать, что 1848 г. был вообще тогда в моде. Студенты и рабочие зачитывались книгой Степанова и Базарова по истории революции 1848 г. (переработка Блоса); даже в либеральнейших «Русских ведомостях» было напечатано несколько фельетонов, компилирующих ту же книгу Блоса.

Курс Фриче был построен мастерски: лектор давал яркую и отчетливую характеристику борьбы классов в Германии после Венского конгресса и постепенного нарастания революционной волны. Предвестия «безумного» года были разобраны во всех деталях. Читая свои лекции с большим под'емом и с подлинным революционным пафосом, В. М. Фриче в то же время исчерпывающе разрабатывал имеющиеся литературные источники, блеснув, как всегда, своей недюжинной эрудицией. Реакционная романтика с ее уходом в далекое прошлое и с ее идеализацией рыцарского средневековья, первые дебюты «Молодой Германии», сатиры Берне, выступления Генриха Гейне, социальная литература того времени — все это представлено было в живом и увлекательном изложении. Аудитория все время увеличивалась, собирая студентов с различных факультетов. Наряду с присяжными посетителями — историками и словесниками — здесь можно было встретить и юристов, и медиков, и естественников, и даже математиков. Помню, как в одной из дискуссий о наиболее удобном для всех желающих часе лекции какой-то медик старшего курса, пропахший медикаментами, встряхнул кудлатой головой и воскликнул: «Эх, была не была, пропущу занятия у себя. Трупы, чорт возьми, подождут, а о революции надо знать». Вот эта-то наука о революции, это пропагандистское значение лекций Фриче хорошо сознавались тогдашним студенчеством, не менее хорошо сознавал это и Пуришкевич, громивший с кафедры Государственной думы крамольного приват-доцента. Помню я и оживленные беседы по текущим вопросам, возникавшие после лекций, и участие В. М. в тогдашних студенческих кружках.

3

В годы реакции, наступившей после разгрома первой революции, В. М. Фриче занимался преимущественно научной и литературной деятельностью, опубликовав ряд интересных работ.

Октябрьская революция снова призвала В. М. Фриче к широкой общественной деятельности, и тут его творческие дарования развернулись во всю широту. Деятельность эта, огромная и многообразная, у всех в памяти. Ее не охватишь в какой-либо общей характеристике. Менее всего претендуя на это, я хочу в своих воспоминаниях остановиться на одном примечательном моменте.

Уже в первые дни после установления советской власти в Москве В. М. Фриче организовал комиссию по охране памятников искусства и старины при Московском совете рабочих и солдатских депутатов. Москва тогда только что приходила в себя после ожесточенных боев и артиллерийской канонады. Обывательская молва творила легенду о полном разрушении Кремля и его памятников, чуть ли не о совершенном уничтожении всех московских исторических достопримечательностей. Эти слухи весьма широко циркулировали.

И вот для выяснения вопросов, связанных с повреждением от обстрела кремлевских памятников, и для общего наблюдения за памятниками искусства и старины была создана особая комиссия, председателем которой был назначен В. М. Фриче. В. М. энергично принялся за работу, формируя кадры комиссии. В нее, помнится мне, вошли Д. А. Магеровский, П. П. Малиновский и некоторые другие от Моссовета и несколько ученых и художников. Надо сказать, что с научными и художественными деятелями дело обстояло неважно. Многие из тех, кто мог бы принести существенную пользу, проливали слезы о гибели памятников, но итти работать в комиссию не хотели. Не считала себя распущенной и комиссия, созданная еще при временном правительстве. И, несмотря на все это, новая комиссия немедленно же приступила к работе. Как сейчас помню то волнение, с каким мы вступали в Кремль. Откидывая обывательские сплетни, мы все же думали, что в Кремле могут открыться большие разрушения и непоправимые повреждения. Первый же осмотр рассеял эти опасения: ничего особо угрожающего не было. Тотчас был составлен план ближайших ремонтных работ, тогда же быстро реализованных.

Заседания комиссии происходили в Кремле, во дворце, причем нам приходилось кочевать из одной комнаты в другую. Дел сразу же оказалась масса. Не говоря уже о Кремле, занявшем немало времени (подробный осмотр, планы ремонта, общий учет памятников и пр.), приходилось решать бесконечные вопросы музеев, хранилищ и даже архивов, также переданных в ведение комиссии. Заседания происходили по нескольку раз в неделю и нередко надолго затягивались. Требовались, кроме того, выезды на места, притом не только в самой Москве, но и в подмосковные, где имелись памятники. В. М. Фриче, всегда чрезвычайно пунктуально относившийся ко всем возлагаемым на него обязанностям, руководил всеми работами комиссии, аккуратно посещал заседания, входил во все сложные детали. А положения бывали часто весьма и весьма запутанные. Директора и «верхушки» музеев вначале как бы саботировали комиссию, не желая с ней считаться. Затем стали посылать в качестве наблюдателей (совсем как Соединенные Штаты на европейских конференциях) отдельных музейных сотрудников (не из первых персонажей). Наконец, когда выяснилось, что без комиссии многих основных вопросов не решить, явились и сами ответственные руководители. Подобного рода китайские церемонии, перебои в аппарате, неувязка между отдельными учреждениями, частая смена планов, недостаточная отчетливость функций и пр.— все это осложняло и затрудняло работу комиссии. Но по справедливости можно сказать, что удивительный такт В. М. Фриче и в то же время его твердая принципиальная установка во многом выправляли и направляли дело.

Живо представляются мне и сами заседания в небольшой комнате Кремлевского дворца. За длинным столом сидят члены комиссии, а также представители ведомств, музеев, архивов. С каждым разом заседания становились все более и более многолюдными. На председательском месте — В. М. Фриче, тихим голосом, спокойно и сдержанно направлявший прения, нередко вспыхивавшие с неожиданной страстностью. Помню я, что обязанности секретаря на первых порах исполнял ученый монах, служивший в патриаршей ризнице. Монотонно и заунывно гнусавя, читал он бумаги, неукоснительно запинаясь на слове «товарищ». Как-то раз, читая бумагу из Наркомпроса, он не выдержал и пробормотал: «Товарищ, товарищ, все теперь товарищи». Этот «крик души» рассмешил всю комиссию, даже корректнейший В. М. не мог сдержать улыбки. Много дела выпало на долю комиссии, когда приходилось охранять Кремль в день «интронизации» патриарха Тихона. Тогда боялись всяких эксцессов со стороны верующих, и члены страшной «большевистской» комиссии находились на дежурстве, охраняя кремлевские памятники.

Занятый рядом других ответственных дел В. М. Фриче отошел от комиссии, вскоре прекратившей свое существование после переезда правительства в Москву. После этого уже возникли центральная комиссия, Главмузей, отдел по делам музеев Главнауки. Но честь создания первой комиссии, взявшей под наблюдение памятники искусства и старины, принадлежит В. М. Фриче.

4

В заключение этих беглых воспоминаний мне хотелось бы лишний раз отметить то огромное влияние, какое имел В. М. на подготовку молодых кадров. И искусствоведы и литературоведы об этом сказали и еще скажут. Недаром на торжественном праздновании тридцатилетнего юбилея В. М. представитель отделения изобразительных искусств I МГУ остроумно отметил, что самое бытие В. М. на отделении определяет сознание отделения. Но и представители дисциплин, лишь стороной касающихся специальности В. М., испытывали на себе его влияние. Так, в Институте археологии и искусствознания РАНИОН археологи не в меньшей степени, чем искусствоведы, обязаны умелому руководству В. М. Фриче, направившему и их на путь социологического истолкования памятников материальной культуры. А превосходная книга В. М. Фриче — «Социология искусства», с которой должен серьезно считаться каждый настоящий (а не антикварный) археолог! И сам В. М. живо интересовался всеми археологическими новинками, внимательно следил за докладами и знакомился с литературой. Нередко от него можно было услышать в личной беседе ряд тонких и остроумных наблюдений. В социологическом отделении Института, руководимом Фриче, едва ли не впервые стали дебатироваться вопросы о социологическом методе в археологии.

В. М. больше нет уже с нами. Не стало выдающегося научного и общественного деятеля, безупречно прошедшего свой жизненный путь революционера и ученого.

Евангелие конструктивизма

Федор Иванов

1

Евангелие конструктивизма написано Корнелием Зелинским, издано Федерацией, названо с большой претенциозностью — «Поэзия как смысл».

Как и всякое евангелие, книга Зелинского патетична и не отличается внешней скромностью. До известной степени она криклива. Автор любит говорить высокопарно. «Свеча символа получает медный подсвечник логики» — вот типичное высказывание Зелинского. На таком цветистом жаргоне изложено все исповедание конструктивизма, формулированное в книге «Поэзия как смысл».

Как и приличествует всякой литературной программе, книга Зелинского не грешит излишней теоретической щепетильностью, она не строга к себе, и за пышным фейерверком изречений в манере «медного подсвечника логики» часто не содержится никакого смысла, хотя смысл и провозглашен основой конструктивистского евангелия.

Если бы потребовалось рассмотреть книгу «Поэзия как смысл» подробно, на это ушло бы не мало времени и бумаги: так много теоретических мудрствований автора пришлось бы разоблачать. Мы не собираемся исчерпывать эту богатую тему, наша задача — иная. На основе книги Зелинского мы хотим определить основные черты конструктивизма как литературного направления.

Прежде всего автор конструктивистского евангелия хочет связать свою литературную группу с «вершинами» технической культуры современности. Здесь, по его предположению, — питательная среда конструктивизма.

Оценки, которые Зелинский дает технической культуре, специфичны. Автор фетишизирует техническую сторону современной культуры. Мы нигде не найдем у него хоть сколько-нибудь удовлетворительно развернутого представления о культуре как социальном явлении.

Зелинский строит притязательные, но совершенно не относящиеся к делу схемы «грузофикации», Зелинский восторгается техническими достижениями современной культуры, но он очень далек от того, чтобы понять явления культуры во всем их об'еме. Он обращается к тощим абстракциям потому, что им не усвоен социальный смысл культуры.

Он может распространяться о «росте роли числа», но забывает о роли классовой борьбы.

Представление о «вершинах» современной культуры сводится у Зелинского к очень поверхностному, далекому от действительности, расконкретизированному представлению о чистой технике.

Зелинский придает очень большой смысл провозглашаемой им связи между конструктивизмом и эпохой высокой техники. Он хочет доказать, что конструктивизм есть самая высокая форма художественного выражения, соответствующая «духу технической эпохи». То обстоятельство, что техническая сторона культуры столь откровенно обособляется, возводится в абсолютное, заставляет заключать об определенных качествах социальной природы нашего идеолога. Перед нами — фетишист техники, плана, числа, организации,— все это является выражением определенной классовой психологии. Зелинский любит говорить о том, что социализм есть план и организация, но он не умеет видеть того, что самый плановый строитель социализма никогда не является фетишистом плана.

Эта психология не свойственна Кржижановским социальной революции. А вот Зелинскому она глубочайшим образом свойственна. Внешнюю, организационную оболочку в действительности он склонен принимать за всю действительность. Он фетишизирует внешнее выражение, потому что ему не ясна сущность.

В литературе современного Запада мы имеем много демонстраций такого организационного фетишизма, все они связаны с идеологией технической интеллигенции. Творчество Ампа или Дирка Зееберга детерминировано этим обстоятельством.

В какой-то мере Зелинский им соответствует. Единство здесь намечается, но оно чрезвычайно относительно. Дело в том, что Зелинский не только фетишист, но и эклектик. То, что в Ампе и Зееберге представляется чрезвычайно цельным, органическим, необходимым, то в Зелинском — условно, поверхностно, внешне. Здесь можно говорить о соотношении между зрелой, сложившейся формой и ее отдаленным, неясным отзвуком.

Идеология технической интеллигенции бесспорно проявляется в высказываниях конструктивистского евангелиста. Но это очень несовершенное, приблизительное, эклектическое выражение.

Отношение Зелинского к духу технической эпохи вскрывает два существенных обстоятельства: перед нами не только форма представления, связанная с психоидеологией определенной классовой группы, но и незрелая, неразвернутая форма.

2

Вместе с тем, как выясняет первый пункт конструктивистской программы, восходящий к фетишизированию технической культуры, параллельно идет развитие другого плана. Если раньше Зелинский щеголял в европейском костюме, ссылался на Пуанкаре, Шоу, Николаи (из многих имен сшит цитатный план нашего техниц
иста), то теперь он сразу меняет свой облик.

«Наша русская жизнь», «наша природа российская», «вшивый тулуп наш», «русское небо», «степи российские», «российские низины», «жестокая и юродивая быль наша».

И так далее, и так далее.

Изысканный европеец, только-что пребывавший на «высотах» техники, внезапно обращается к какому-то поповскому бормотанию. Он усваивает теперь очень специфический язык, совершенно отличный от того, который мы слышали во время изложения первого пункта. Язык этот соответствует тому вполне определенному содержанию, которое вкладывается Зелинским во второй пункт его программы.

Начинаются причитания не только о «нашей вшивой природе», но и о «нашей интеллигенции». «Наш» имеет у Зелинского достаточно выразительный смысл.

Совершенно так же, как в своих представлениях о технической культуре, Зелинский обращался к абстрактным фетишистским формулировкам, в высказываниях о «нашей русской жизни» он также остается абсолютистом, который за абстракциями не видит действительности. Мышление нашего евангелиста примитивно.

Там было все хорошо, все блестело, здесь все плохо, все мрачно. Там дан оптимистический абсолютизм, здесь — пессимистический.

Что более ограниченное, убогое, заскорузлое можно себе представить, чем те формулы «вшивости», к которым обращается Зелинский! Поистине, видеть так — значит ничего не видеть!

Поэтому, когда Зелинскому приходится поставить проблему нашей революции, то он дает такую сусальную, сахаристую формулу:

«И вот случилась дивная вещь: так свершились исторические судьбы, что Россия, минуя все дороги старших, культурных западных сестер своих, первая вышла на всемирную дорогу социализма, дорогу всечеловеческого братства. Удивительной игрой истории старые несуразные мечты интеллигенции об особой всемирной роли России каким-то видимым образом облеклись в формы мировой классовой борьбы, которые возглавляет теперь русский пролетариат» (39).

После абсолютной «вшивости» переход к этому совершенно закономерен. Во всяком случае, вся программа Зелинского в этой замечательной цитате содержится. Революция есть для него «дивная вещь», «удивительная игра истории».

Но этого мало, дело не только в том, что Зелинский не понимает сущности социальной революции, ее исторической необходимости, он не забыл еще старых выветрившихся россказней о «всемирной роли России».

Человек этот проповедует своеобразную устряловщину, недаром с такой же охотой, как раньше он ссылался на Пуанкаре и Маха, он ссылается теперь на Чаадаева, Петра Великого, Станкевича.

Евангелие конструктивизма принимает откровенный националистический оттенок. Слово «наш» так часто, так обильно, так специфически употребляемое Зелинским, имеет единственный смысл — националистический смысл. «Рыхлая Русь», которую по внешности разоблачает евангелист конструктивизма, в сущности идеализируется в его причитаниях.

Все это «наше». За все это Зелинский цепляется.

Так программа конструктивизма приобретает достаточно реакционный характер. Постоянная возня со «вшивостью», причитания о «полях наших» обнажает глубочайшую противоречивость выразителей «духа технической эпохи».

Если в пункте первом конструктивистская программа стремилась к «высотам» технической культуры, то во втором пункте она увязает в российском болоте. Хочет этого Зелинский или не хочет, но все его «российские» реминисценции имеют реакционный смысл.

Мы уже говорили об относительности выражения «духа технической эпохи» в программе конструктивизма. Теперь можно поставить вопрос и о том, чем же детерминирована эта относительность? Второй пункт программы показывает, что идеология конструктивизма, как она формулирована

Зелинским, восходит к сознанию таких мелкобуржуазных слоев, которые еще достаточно далеки от технической культуры.

Два пункта программы Зелинского свидетельствуют о том, в какую сторону направляется развитие этой социальной группы и откуда оно началось. Мелкобуржуазная, отчасти крестьянская среда является исходной почвой, а техническая интеллигенция есть направление развития. Мелкая буржуазия, трансформирующаяся в техническую интеллигенцию,— вот классовая основа высказываний Зелинского.

3

Часто автор конструктивистского евангелия говорит о социализме, и характерно, что «постоянно он дает специфическую формулу: «идея социализма». Он утверждает, что «социалистическая идея определяет жизнь нашей страны» (42). Это интересно не только в том смысле, что теоретик конструктивизма стоит здесь на той точке зрения, что «идеи правят миром» (рационализм, как мы увидим, свойственен Зелинскому), но и в том, что самое представление о сущности социального переворота, о современной советской действительности у Зелинского очень расплывчатое и неясное. Теоретик конструктивизма оказывается во власти фразы, чисто-внешней словесной оболочки, и не отдает себе отчета в существе дела. Конкретного представления о революционной действительности у него нет.

На почве, как видим, достаточно специфической, расцветает центральная, для системы Зелинского, теория «социалистического бизнеса». Ее вздорность, порочность — закономерны, после того как мы видели сущность высказываний Зелинского. Сначала наш евангелист предлагает «химическую формулу соединения суровых плодов земли нашей и сложного отстоя современной западной культуры, чтобы в результате создать какой-то новый, более высокий и прекрасный вид жизни» (52). Так, пункт первый (высокая техника) соединяется со вторым (абсолютная вшивость). Все это так же мало вразумительно, как любой вздор, перед нами — типичная механистическая благоглупость. Историческую диалектику здесь хотят подменить «химической формулой». Смысла в этом немного.

И как непосредственный результат этой своеобразной исторической химизации возникает теория бизнеса. Начинается она с фетишизма Америки: здесь наш евангелист добывает некую тощую абстракцию «технического духа».

Зелинский достаточно беззаботен в своих утверждениях. «Число, как таковое, играет важнейшую организационную роль в Америке»,— заявляет он с глубокомыслием. В чем смысл такой фразы, что значит «число, как таковое», и что есть в этом американского? А это служит Зелинскому основанием для существеннейших заключений. На таком песке построена вся его американская абстракция.

За этим следует противопоставление России и, как результат, теория бизнеса.

«Чудесная вещь, если американское делячество соединено со всем делом социализма»,— утверждает Зелинский. Для него все обстоит очень просто, и делячество, глубочайшим образом связанное с сущностью капиталистической культуры, делячество, являющееся наиболее полным выражением американского капитализма, он сначала об'являет чистым (абстракция № 1), а потом социалистическим (абстракция № 2).

Бизнес есть историческое явление, классово детерминированное. Бизнес — это выражение духа капиталистической цивилизации, и вот Зелинский, представляющий историю по законам химии, приходит к простому и легкому разрешению сложнейшей задачи.

Он пишет рецепт переключения капитализма в социализм. Только этот смысл имеет теория бизнеса. Что-то такое можно «вынуть», изменить, подчистить, и капиталистическая машина заработает на социалистический лад. Теория социалистического бизнеса возникает на почве полного, глубочайшего непонимания исторического процесса.

Кстати, о диалектике. Евангелие Зелинского пестрит этим словом, но оно является для него лишь позой, это — красное словцо, которое можно вставить туда и сюда, но это совсем не результат диалектического осмысления действительности. В том, что мы видели у Зелинского, в особенности в теории «социалистического бизнеса», с полной ясностью обнажается абстрактный, механический, фетишистский характер мышления нашего автора.

Поистине — не каждый клянущийся диалектикой к ней причастен.

Теория бизнеса имеет свое классовое оправдание — это выражение групповой ограниченности. Групповая, кастовая замкнутость прокламируется здесь как новая мораль, возводится в догму, принцип. За рассуждениями о природе бизнеса следуют у Зелинского рассуждения о «новых людях России» и «рационалистическом лике разночинцев революции». Теория бизнеса неразрывно связана со стремлением новых кадров технической интеллигенции, формирующихся из среды мелкой буржуазии: самоопределиться, эмансипироваться, утвердить свою групповую мораль.

Бизнес называется социалистическим, но у него вполне буржуазное ядро, все это не имеет никакого отношения к идеологии революционного пролетариата — подлинного строителя социализма.

4

Все теории, на которых мы до сих пор останавливались, изложены в первой части книги «Поэзия как смысл» (Перспектива. Конструктивизм и социализм). Вторая часть посвящена установлению принципов поэтики конструктивизма.

С крайней настойчивостью, почти фанатически выдвигается на первый план проблема «смысла». Сначала кажется непонятным, почему так много шума из-за смысла. Почему так распространяется евангелист конструктивизма в доказательствах того, что каждое произведение имеет свой смысл? Ведь это само собой разумеется. Зачем тратить энергию на доказательство очевидного?

И все-таки Зелинский щедро тратит энергию, воюя за «смысл». К тому есть достаточно серьезные основания. Уже в общих теоретических рассуждениях мы встречались с подчеркиванием рассудочного, головного, рационалистического в конструктивизме. Все это — явления того же плана, что и фетишизм организационного принципа, техники, плана.

Теперь, когда формулируется поэтика конструктивизма, ноты рационалистического начинают звучать особенно громко.

«Стихотворение — машина смысла», «идея смысловой доминанты в поэзии есть не что иное, как идея именно логической доминанты», «логиче-

ская мысль произведения определяет его построение»,— таких определений Зелинского, где смысл превращается в «простую, механическую, формальную логику», мы могли бы привести достаточно много.

Формулировка «поэзия как смысл» означает, в сущности,— «поэзия как логика». Это менее пышно, но гораздо более ясно.

Еще более ясно это из конкретных примеров, детализаций, данных в книге. «Мотивированное искусство», которое проповедует Зелинский, есть искусство с подчеркнутой рационалистической окраской.

Евангелист конструктивизма прокламирует рассудочность, рационалистичность, обнаженную логичность искусства — в соответствии с психоидеологией технической интеллигенции. В данном контексте это закономерно.

Зелинский — за «медный подсвечник логики» против всякого психологизма. Он, как и во всем остальном, фетишист. Можно быть уверенным, что искусство пролетариата будет глубоко смысловым и очень логическим искусством, но оно никогда не будет ограничивать своего содержания логической абстракцией. Фетишистская теория Зелинского очень далека от пролетарского искусства, но она близка выразителям технической интеллигенции, постоянно фетишизирующим организационную оболочку действительности.

Здесь легко наметить расхождение между теорией и практикой конструктивизма. В тисках логического фетишизма, конечно, не уместится многое из того, что создано конструктивистскими поэтами. Теоретик «школы» работает на холостом ходу.

В одном месте Зелинский роняет крылатое слово — «барокко организованности». Эту формулу можно считать классической для Зелинского и проповедуемого им конструктивизма. Действительно, мы имеем здесь дело с барокко организованности, плана, системы, логики.

Сказать — барокко логики, значит сказать — излишек, преувеличение, абсолютизация логики — фетишизм логики. К кругу таких же, в духе барокко представлений, в которых возводятся в абсолютное, в догму и окостеневают живые, гибкие формы действительности, и сводятся все высказывания конструктивистского евангелиста.

Зелинский дает нам исчерпывающую, крылатую авто-характеристику, говоря о «барокко организованности».

Именно сюда тянутся корни конструктивистского «смысла», здесь основа того «рационалистического напряжения», которое является сущностью конструктивистского стиля.

Надо остановиться еще на одном частном выражении этого барокко. От принципа «мотивированного искусства» Зелинский переходит к проблеме реализма. И вот здесь дается формулировка, которая имеет исключительное значение для понимания поэтики конструктивизма.

«То, что мы называем эмоциональным воздействием искусства, есть вторичный продукт, возникающий через организованно построенный эстетический смысл. То произведение искусства плохо,— не волнует, не «заражает»,— что плохо организовано именно как эстетическое произведение, как равновесие мотивировок, как диалектика смысла» (222). Дальше следуют рассуждения о реалистическом искусстве, в которых ставится ударение не на том, насколько полно охватывает действительность произведение искусства, а на том, насколько хорошо оно организовано. Теоретик конструк-

тивизма приходит к чистейшему формализму. Фетишист организационного принципа провозглашает литературную технику абсолютной. Поистине, перед нами торжество «рационалистического напряжения».

Основная установка теории «смысла» есть установка узко-рационалистическая. Система поэтики конструктивизма имеет в изложении Зелинского не только рационалистический, но и формалистский оттенок. Эта поэтика, выражаясь словами ее автора, есть «барокко организованности».

5

Третья часть евангелия Зелинского посвящена литературным портретам конструктивистов. Остановимся прежде всего на очерке, посвященном Вере Инбер.

«Сознание простилается этим неуловимым, как тонкие духи, ощущением некой мировой культуры»,— свидетельствует Зелинский. Далее мы узнаем, что Вера Инбер — «экономная хозяйка слова», что она «хочет утеплить и украсить советский дом», что «труд оборачивался к поэтессе теплой и мирной эстетической оболочкой». За сравнением с «тонкими духами» следует сравнение с «ослепительным выглаженным бельем».

В таких откровенно-обывательских формулировках интерпретируется творчество писательницы. Очень ясно, что все высокие принципы своего евангелия Зелинский оставляет где-то в передней, прежде чем войти в этот утепленный дом творчества Веры Инбер (должны сознаться, что и мы заговорили в манере «подсвечника логики»). Думается, что такое превращение Зелинского, мгновенно отбросившего и свой техницизм и свою рационалистичность, не случайно, так же как не случайно и его «российское» страдальчество, его причитания по поводу «вшивости нашей».

Все время мы имеем дело с характерной двойственностью в высказываниях Зелинского: с одной стороны, здесь дана идеология технической интеллигенции, с другой стороны, даны выражения обывательского, мелкобуржуазного сознания. В этом смысле конструктивизм есть явление переходное — это выражение мелкобуржуазных групп, трансформирующихся в техническую интеллигенцию. Мещанская традиция здесь еще достаточно устойчива, мировосприятие технической интеллигенции еще не окончательно усвоено.

У Ампа или Дирка Зееберга — европейских классиков литературы технической интеллигенции, мы не могли бы встретить ничего, напоминающего апологию утепления, уюта, хозяйственности, как то имеет место в портрете Веры Инбер, данном Зелинским.

В этюде о Багрицком мы тоже находим нечто совершенно отличное от тех теорий, которые только что были провозглашены. Если Инбер утепляла советский дом, то «мир Багрицкого, его дом, который он пронес сквозь революцию,— это пригородный крестьянский дом». И дальше повествуется о том, что поэт совершенно не подходит к принципам конструктивизма. Ему присуща «наша русская наследственная вековечная болезнь, гамлетова мука идеализма русской интеллигенции» — «он начинает чувствовать себя наследником каких-то мечтаний, какой-то уснувшей скорбной думы».

Как видим, здесь гораздо больше пахнет «вшивостью нашей», чем «духом технической эпохи»! И если Вера Инбер не умещалась в рамки тех

принципов, которые выдвигал евангелист конструктивизма, если ее творчество было выражением «святой хозяйственности» скорее, чем выражением «духа технической эпохи», то Багрицкий совсем уже не конструктивен. Он подходит не к первому пункту программы, а только ко второму («степи российские», «российские низины»).

Так выясняются интереснейшие обстоятельства. Если в теории техницизм боролся с мещанскими представлениями, то на практике это мещанское решительно побеждает. Техническое оказывается только внешней оболочкой, европеизм — американизм есть только поверхностная позолота, а нутро — «российская вшивость наша». Власть мелкобуржуазного, власть мещанской стихии оказывается достаточно устойчивой.

«Дом» недаром имеет такое серьезнейшее, почти сакраментальное значение для конструктивистского евангелия. Поэзия «очага» развернута здесь гораздо более последовательно, чем можно было бы думать. Дом — это узел интерпретации творчества Багрицкого, дом — это сравнение, при помощи которого предлагается постичь уютный конструктивизм Веры Инбер, дом, наконец, — это образ самого конструктивизма.

«Литературный конструктивизм — это дом, четыре стороны которого обращены на все четыре страны света. На запад он обращен своими стремлениями встать в уровень с техническими вершинами современной культуры в самом широком ее смысле. На восток он обращен своим чувством главы контрастов наших. Связан с ним культурным наследством. Окна формальных принципов конструктивизма обращены на север, ибо принципы эти суровы, рассчитаны на здоровых людей с пластичной поэтической мускулатурой. И, наконец, своей четвертой стороной литературный конструктивизм обращен на юг к социализму. В доме живут советские поэты и литераторы» (72—73).

Поистине добродетель хозяйственности, домашности, свойственной нашему автору! И это совсем не случайно,— в этом находят свое выражение мещанские качества его классовой психологии. Как видим, не единым «духом технической эпохи» жив конструктивизм российский, но и духом домовитости, семейственности, уюта.

Статья о Маяковском завершает книгу «Поэзия как смысл». На этом можно закончить рассмотрение евангелия Зелинского. Несомненно, что между лефовством и конструктивистами есть тесное единство. Это различные стороны одного явления. Мы не имеем возможности останавливаться на этом вопросе подробно, но можно было бы показать, насколько близки друг к другу эти направления. Их единство обусловлено единством классовой почвы. Поэтому статья Зелинского, направленная против Маяковского, приобретает особый интерес.

Маяковский разоблачается как нигилист, как базаровец, как абсолютный отрицатель. В своем роде критика Зелинского интересна и верна. Маяковский не рассмотрен здесь полно, он взят в очень ограниченном аспекте отношения к культуре, но в узком, малом значении критика Зелинского справедлива. Но что же имеет противопоставить культурному нигилизму Маяковского конструктивизм, выражающий «дух технической эпохи»? Не трудно видеть, что перед нами лишь две стороны одного отношения. Так же, как Маяковский — абсолютный отрицатель, конструктивистский теоретик является абсолютным признавателем.

Мы уже видели, как по-фетишистски относится к технической культуре эпохи Зелинский, он понимает ее как нечто абсолютное и непререкаемое. Он так же далек от об'ективной оценки действительности, как и

Маяковский, прокламирующий разрушение. Абсолютное отрицание дает совершенно тот же результат, что и абсолютное утверждение. Противоположности сходятся в единстве.

Было бы целесообразно рассматривать теорию конструктивизма в связи с практикой этого литературного течения. Тогда многие теоретизирования Зелинского отпали бы и многие выглядели бы иначе. Но и то, что содержится в книге «Поэзия как смысл», нами рассмотренной, дает достаточно убедительный материал.

Как мы видели, вся система взглядов, изложенных в евангелии конструктивизма, проникнута характерной двойственностью: с одной стороны, это — евангелие техницизма, с другой — евангелие вшивости. Перед нами не только рационалисты, но и идеологи мещанской «святой хозяйственности».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Адуев—«Товарищ Ардатов», изд. «Федерация», 1929; **Николай Панов (Д. Туманный).** — «Человек в зеленом шарфе», изд. «Федерация», 1929; **Владимир Луговской**—«Мускул», изд. «Федерация», 1929; **Виссарион Саянов**—«Картонажная Америка», изд. «Прибой», 1929; **Павел Антокольский**—«1920—1928», Госиздат, 1929; **П. Незнамов** — «Хорошо на улице», изд. «Федерация», 1929.

К области поэзии у нас подходят придирчиво. Когда говорят о громадных успехах, сделанных пролетарской и лево-попутнической литературой,— имеют ввиду и аргументируют почти исключительно прозой. У многих еще не изжит подход к поэзии, как к творчеству «на любителей», как к виду литературы, не имеющему достаточного «строительно»-идеологического эффекта. Нет-нет, да и промелькнет утверждение об упадке поэзии.

Все эти посылки глубоко неправильны. Наше время — время постоянного напряжения энергии. Героическая гражданская война в прошлом, гигантское индустриальное строительство в настоящем, огромность политических событий, грозная опасность войны — все это требует, наряду с углубленной бытовой аналитической работой прозаиков, четких, точно, эмоционально очерченных поэтических слов. Если прибегать к сравнению, то прозу можно, в переводе на практически-политический язык, уподобить пропагандисту, а поэзию — агитатору. Ведь не случайно то, что на большие события в календарном порядке отзываются именно поэты. Именно они, — владеющие секретом скованных, подчиненных, но ударно направленных слов, окрашенных, благодаря сжатости, сгущенной эмоциональностью,— обладают огромными возможностями воздействия. Историк литературы, который заинтересуется актуальностью роли поэзии в нашу эпоху, найдет тому массу подтверждений. Думается, что этот историк установит и то, что наши годы не только не дали «оскудения» поэзии, но наоборот — явили картину своеобразного поэтического ренессанса.

Количество интересных поэтических явлений растет от полугодия к полугодию. Обострение классовой борьбы в стране на новом реконструктивном этапе революции все резче диференцирует, социально расслаивает современную поэзию и все больше обязывает к четкому социальному анализу поэтической продукции.

Группа конструктивистов дала значительную продукцию своего поэтического «молодняка» (Адуев, Луговской, Панов).

В отношении Адуева слово «молодняк» может, как будто бы, прозвучать иронически. Имя его известно довольно давно. Но оно связано было с газетными фельетонами, эпиграммами и вообще с работой публицистической.

После значительного периода молчания Адуев выступил с большой гротесковой повестью в стихах — «Товарищ Ардатов».

Трагедия «Товарищ Ардатов» — трагедия романтика революции времени гражданской войны. Волею автора Ардатов оказался засыпанным (при наступлении белых на юге) в подвале хозсклада и просидел в нем несколько лет (спасли — запас консервов и отдушина для воздуха). Вышел он из своего убежища уже после смерти Ильича. Нэп обрушился на него сразу. Никакого

перехода, никакой подготовки сознания. «Универсальный» коммунист эпохи военного коммунизма, человек, героически справлявшийся со всеми практическими специальностями и не знавший ни одной, кроме умения яростно обороняться от классового врага и умирать за коммунизм, — попадает в период хозяйственной специализации, борьбы за технику, в период борьбы с кустарщиной.

Уже уком ошеломляет Ардатова (глава эта называется—«Первый блин укомом»). Он рассказывает свою историю и пред'являет партбилет, просроченный... на 6 лет.

Товарищ, говорите ясней и короче.
Подвал? Крысы? Кошка? Какой-то бред.
Одно мне ясно—партбилет ваш просрочен
Не больше, не меньше как на шесть лет.
Это единственный случай. Классический.
Не желал вам ничего злого,
Вот мое последнее слово:
Вы вы-бы-ва-е-те ав-то-ма-ти-чески.

Автоматизм, техника, специализация — становятся как бы злым роком Ардатова. Пусть в укоме все раз'ясняется и его ласково отправляют в Москву, в ЦК. Пусть вождь в ЦК с ним товарищески, дружески разговаривает. Но и здесь вопрос в конце разговора: «Ваша специальность?» И тут же антагонирующая мысль Ардатова:

Его специальность! Специальность Ардатова!
Часами винтовку держать у плеча,
Сутки лежать на снежном насте.

Ардатов не может осознать эпохи, его возмущают частности (витрины, вид нэпманш), из-за которых он не видит целого; как же это так: «у стойки, где наших разменивали белые, разменивают трешки на гривенники?» Его огорашивает Москва. Он выходит из партии (партия, государство оставляет за ним пенсию; это унизительное слово возмущает его). Он сдает, опускается все больше и больше, а его злой рок— техника, специальность — продолжают гнаться за ним.

Он сошелся с актрисой Долинской, которая по-своему любит «героя». В главе под ироническим названием «Снова подвал» (на сей раз подвал нэпмановского литературно-художественного кружка), куда его затащила Долинская и пытается устроить к какому-нибудь «делу», знакомя для этой цели с фабрикантом—иронические слова последнего в ответ на утверждение Ардатова, что он фронтовик и умеет все:

— Все?... Понимаете... „все" — это мало,
К нему еще надо, ну, хоть „что-нибудь".

Специальность, техника, умение—огненные слова, появляющиеся перед ним на любой из стен. Когда Ардатов с Рэти играет в клубе в шахматы, он блестяще начинает наступление... но проигрывает, и издевательством звучит для него фраза Рэти, что теперь уж его (Рэти) выигрыш — вопрос техники.

Ардатов опускается все ниже. В поисках за своеобразно понимаемой романтикой он идет к ворам, он хочет хоть воровского подвига, но... воровской маэстро презрительно отворачивается от него, узнавши, что он хочет действовать нахрапом. Нужна учеба, техника.

Ступайте к своей марухе в альков
И заройтесь глубже в стеганой вате.
Есть двенадцать систем английских замков
И тридцать способов открывать их.

Когда отчаявшийся Ардатов решает повеситься, автор остроумнейшим приемом не дает этому совершиться. Он отдает наборщику приказ разобрать Ардатова («А» — в первую кассу, «р» — в шестнадцатую» и т. д.). Он своевременно вспоминает, что Ардатов только персонаж, и что он волен распорядиться им по усмотрению.

Мы не доверяем «усмотрению» Адуева. Его трюк для окончания повести социально детерминирован. Адуев не мог иначе поступить. Единственным выходом для него было— не закончить сюжетной линии произведения. Эта нерешительность, этот компромисс выдают авторскую социальную неустойчивость. Автор балансирует между своим (эмоциональным) устремлением к революционной военной романтике и однобоким (мозговым) пониманием строительной, созидательной эпохи. Сознание автора не органично, он обречен еще на интеллигентскую

раздвоенность. Он хочет понять эпоху, осознать ее. Он обращается к «разобранному герою»:

> Прости и пойми. Можно взять с бою
> Крепость, власть, но эпоху нельзя.
> У страны новый профиль, новый характер...

Вместе с тем, из контекста всей повести видно, что симпатии автора в значительной степени на стороне «романтики» Ардатова. Он его «вырастил, пестовал, нежил» «из своих предпоследних глубин». Автор его **противопоставляет** сегодняшнему. Выходит, что романтика революции исчерпана с окончанием гражданской войны. Классовая героика стройки, приведшая к новому обострению классовой борьбы,— эмоционально не воспринята и творчески не претворена автором. Отсюда компромиссный, «хитрый» конец повести.

Надо отдать справедливость: пользуясь остроумным сюжетным построением, автор взялся за тяжелую задачу анализирования столкновения психики вчерашнего и сегодняшнего дня нашей революции. Облегчая ответственность этой задачи гротесковостью концепции, он все же пытается углубить проблему и в отдельных местах произведения находит сильные слова.

Но все же, как уже указывалось выше, автор с задачей не справился и в ответственный момент своего повествования оказался «в кустах». Нам кажется, что социальный компромисс повести в значительной мере определен и рожден неправильной, однобокой теоретической установкой группы конструктивистов, безусловно воздействовавшей на творчество Адуева. Упрощая, схематизируя путь теоретических ошибок конструктивизма, можно свести его к следующему: дело («business»), строительство—это все; действенность, деловитость (всегда угрожающая перерасти в делячество)—творит эпоху; **классовый революционный энтузиазм отождествляется с деловитостью, вместо того чтобы последнюю считать функцией этой классовой целеустремленности**; социалистическое строительство рискует быть подмененным «советским американизмом»; борьба за «деловую культуру» из арсенала **средств** социалистического строительства претендует перейти в **цель** эпохи.

Адуев в «Товарище Ардатове» как верный неофит конструктивизма честно поучает своего «разобранного героя» по деловым рецептам лидера группы К. Зелинского, а сам тихо льет слезы над **прошлым героическим романтизмом** эпохи военного коммунизма. Этот разрыв сознания в известной мере взрощен теорией, забывающей, что наше социалистическое строительство растет на основе неменьшего энтузиазма, героизма и романтики (да, да — романтики!), чем период военного коммунизма. Пожалуй, если б Адуев не был вскормлен теорией «дела», а осознал бы эпоху как стоящую под знаком **революционного, классового дела**,— его противопоставление века «нынешнего» и «минувшего» не имело бы места. Глядишь — и героя разбирать не пришлось бы.

Книга Н. Панова названа «Человек в зеленом шарфе». Заключается она поэмой «Домик в Свердловске». Думается, что должно было быть наоборот. «Человек в зеленом шарфе» («поэма приключений»)—опыт революционного детектива. Сделана эта поэма грамотно, иногда со стиховой стороны интересно, но и только... В ней сказывается рабское копирование (переложение на стихи) Честертона, Уоллеса и т. п., любимых у нас обывательских писателей. Это отнюдь не было бы грехом, если бы автор смог оригинально реконструировать заимствованный материал, но это ему не удалось. Мыслившаяся автором революционность поэмы убивается детективным штампом.

Зато очень значителен «Домик в Свердловке», поэма, представляющая собой остроумнейшее построение на тему о ничтожности даже памяти исторических личностей прошлого и связанных с ними событий (в данном слу-

чае — Николая II) перед лицом революционных событий наших дней. Одновременно поэма дает прекрасную сатиру на интеллигентское «историческое» сознание. Она, как бы подчеркивая ироничность автора, написана октавами, под пушкинский «Домик в Коломне».

«Большая» форма поэмы (кстати сказать, очень интересно деформировавшейся в наше время по сравнению с его классическим определением) удается Туманному много лучше «малых» лирических форм. Раздел «Лирики» страдает известной штампованностью образов, выражений и уподоблений, хотя в некоторых строфах обнаруживает большой лирический темперамент.

Книга Туманного обнадеживает. Она искренна, молода и вместе с тем уже достаточно поэтически квалифицирована и в известной части самобытна. Она подкупает простотой.

«Мускул» — название книжки поэта-конструктивиста В. Луговского. Это название удивительно правильно выражает основное в его творчестве — напряженность и притом напряженность по-здоровому целеустремленную, волевую напряженность нового поколения закаленной молодежи. Эту молодежь поэт прекрасно охарактеризовал во вступительном в книге стихотворении:

Мне двадцать шесть. Я дышу со скрипом:
Так туги мои легкие и кровь густа.
Мое поколенье пулемет задрипал.
Мое поколенье—на своих местах.
Мое поколенье мастеров и инженеров,
Костистых механиков, очкастых врачей,
Сухих лаборантов, выжженных нервов,
Веселых глаз в тысячу свечей
. . . .
Со школьной скамьи мы все мобилизованы
На стройку, на службу, на бой, на поход.

Характерной особенностью стихов Луговского является своеобразное сочетание ритмической сухости, эмоциональной, если можно так выразиться, «подтянутости» с лиричностью, отталкивающейся от расплывчатости и носящей радостно-мужественный характер.

Книга Виссариона Саянова «Картонажная Америка» после «Фартовых годов» и «Комсомольских стихов» —если не шаг назад, то, во всяком случае, шаг в сторону от хорошей направленности этого поэта. Сделана она «пышно»—с тремя прологами, эпиграфами и т. п. Опять-таки — революционный детектив. Но к этой поэме мы должны быть строже, чем к «Человеку в зеленом шарфе» Панова, ибо тот написан в 1924 г., а «Америка» — в 1928/29 г. Но даже если не делать поправки на время—на стороне Панова большая четкость разработки темы. Если у Панова—штамп, то у Саянова и штамп, и расплывчатость и неумение подать сюжет: вся поэма склеена из отдельных лоскутов. Революционность остается мертвым грузом в отдельных стихах поэмы, она никак не активизирована. Детективный прием оголен, трафаретен («Человек, одетый в черный сюртук, в серой шляпе, с подобием маски», или Джорти, который «не желал о падавшем навзничь мустанге, как пуля, вскочив на ходу в экспресс,—решил: «Все в порядке. Ол райт»). Принять это как ироничность, гротесковость? Если это так, то она никак не доходит. Одним словом—и детектив не получился, и гротесковость не впечатляет, а главное—революционность может быть воспринята только на «честное слово».

Надо думать, что для талантливого пролетарского поэта Саянова — это только неудавшийся опыт, который убедит его в том, что он взялся не за свой жанр.

Двойственное впечатление оставляет книга П. Антокольского «1920—1928». Конечно, прежде всего книга говорит о том, что начавший свою поэтическую карьеру в 1917 г., П. Антокольский сформировался в значительного поэта, имеющего характерное, индивидуальное лицо. Стиль книги—нарочитая массивность стиха при наличности большой и чрезвычайно квалифицированной его культуры. Скупость в выборе размеров; тщательность в оттачивании строфы; большая смысловая нагрузка каждой строки (отсюда—мастерское пользование en jambement), отсутствие каких бы то ни было стихотворных «побряку-

шек»,—таков комплекс главнейших отличительных черт поэзии Антокольского.

Если искать его поэтического «шефа», то это будет Брюсов времени своей полной поэтической зрелости, но Брюсов, в известной мере обогащенный евфоническими достижениями новейших поэтов (в особенности Пастернака). Но новой формой, новой рифмой, ассонансом Антокольский пользуется чрезвычайно осторожно, как бы нарочито сохраняя в современности архаический характер своего творчества.

Анализ существа его поэзии сразу раскрывает закономерность специфичности формы. П. Антокольский — типичный эпигон символизма. Характерные для символистов черты почти все наличествуют в его поэзии.

Вся книга окрашена философической мистичностью. Даже в тех случаях, когда в некоторых стихах подспудно пробивается идеологическая концепция или образ, типичные для нашей эры,— и тогда этот философский мистицизм является каркасом поэтической конструкции (в этом смысле характерен вариант стихотворения «Владыка»).

Столь, казалось бы, актуальный для нашего времени цикл стихов, как «Запад», привлекающий своей удивительно острой наблюдательностью, заканчивается чеканными, мастерскими строфами... гамлетовского склада, надрывными причитаниями понимающего, но не принимающего «заката Европы», скорбящего перед неотвратимостью гибели «исторического» Запада.

Ты дремлешь, Европа, мой шаткий оплот,
Гипотеза самоубийцы.
Я имя твое, как последний пилот,
Шепчу перед тем, как разбиться.
И спиртом и смертью от ночи разит,
И женскою нежностью дразнит.
Кончается тысячеверстный транзит.
Кончается песня. Sic transit!

Эти пессимистические тенденции в цикле «Сумерки трагедии» углубляются еще больше, достигая здесь уже тривиально-типического символистского антуража, с привлечением дыма, свеч, Прометея и пр.

Представленье кончено. Пора.
Вещи выглядят черней и горше.
Звонок стук людского топора.
Дым. Свеча. Картонная гора.
С Прометеем остается коршун.

Символически окрашенная пессимистичность Антокольского, подсказывающая ему тост за «черноту городских пустырей и окна, раскрытые в осень», вполне последовательно сопровождается пристрастием к историческим и литературным героям и темам, трактуемым всегда пафосно-описательно, с пышно стилизованными аксессуарами. Петр I, Павел I, Пушкин, Эдмонд Кин, Дон-Кихот, Гамлет, Гулливер и др.— к игре исторических деталей, к парафразам архаической философии этих «героев» убегает поэзия Антокольского. В революционных исторических событиях («1793», «Санкюлот» и др.) его интересует больше всего романтика бытовых деталей, зарядку для которой он черпает из архаических литературных источников... Конечно, его «Санкюлот» в первом десятилетии нашего века среди модерн-интеллигенции пользовался бы большим успехом за «стилизацию», по сути дела, подменяющую социальную сущность сюжета. Для нашего же времени такой «Санкюлот» звучит социально-чуждо, мелодраматически-фальшиво:

Мать моя—колдунья или шлюха.
А отец—какой-то старый граф.
. . . .
И пришел я в городок торговый
И сломал мне кости акробат.
Стал я зол и с двух сторон горбат.
. . . .
Пел фальцетом хриплым под гитару,
Продавал афиши темным ложам,
И колбасникам багроворожим
Поставлял удавленных собак.

Закрываешь книгу Антокольского с каким-то досадным чувством: формально окончательно окрепший, квалифицированный мастер, и нет ему места в современной поэзии, ибо «в карете прошлого далеко не уедешь». Можно и должно многому учиться у символистов с точки зрения формального ма-

стерства, но делать прививки символизма нашему времени—дело обреченное. Омоложение символизма—занятие общественно-бесплодное. Конечно, дело тут не в нашем совете Антокольскому, ибо так же, как социально детерминировано было в определенную эпоху творчество символистов, так же социально определено и творчество символистского эпигона. В искренней борьбе, которая чувствуется в книге, между обреченностью фетишам старой «исторической» культуры и желанием как-то, хоть бочком, подойти к живой современности, победа остается на стороне фетишей. Символисты хоронили первую революцию под сенью кипарисов и от тоски и страха убегали в мистику и историю. Антокольский, конечно, не хоронит, но в творчестве огибает нашу революцию или старается ее ассимилировать в исторической романтике и стилизации.

А между тем, в его книге есть некоторые строфы, которые доказывают, что для него не закрыты другие пути, что он может приблизиться к современности и говорить волнующим нас языком. Беру пример из стихотворения «Бульвар Сен-Мишель»:

И вот едят и пьют. Ползут в музеи. Лезут
На вышку Эйфеля. Болеют и блюют.
Вдыхают пудру, пыль и пепел марсельезы,
Блуд мировых ревю, размер валют и блюд.

Но пока для Антокольского — это только редкие прорывы, и никакого вывода из них делать нельзя.

Единственно обнадеживающим является последнее в книге четверостишие. В нем чувствуется сознание поэта в несвоевременной направленности его творчества. Но и оно окрашено тонами пессимистической обреченности, а не активной волей к реконструкции своего мироощущения:

Стиль создан. Осталось поставить клеймо
На прошлом. И баста. И росчерк.
Я вижу: с годами и время само,
И чувства становятся проще.

От того, будет ли это пассивное и пока очень туманное сознание переключено в. активное, волевое напряжение к восприятию и выражению современности,— зависит будущее поэзии Антокольского.

Книжка лефовца П. Незнамова «Хорошо на улице» привлекает к себе чрезвычайно нужной нашему времени оптимистической лиричностью. Ее характерной особенностью является почти сплошь описательный характер входящих в нее стихотворений. Лирика Незнамова, если можно так выразиться,— зрительная. Она не дает широких обобщений, не волнует постановкой каких-либо вопросов, не углубляется в существо явлений. Ходит человек по Москве и, действительно, ему «хорошо на улице», радостно: тут тебе и автобус, новый, с советским кузовом, тут и борьба железобетона с старо-московской рухлядью, тут и энергичные кожанки комсомольцев и т. п. Мчит Незнамова «читинский скорый» — и опять прекрасное описание (вернее—умное перечисление) богатства областей, которые этот скорый пересекает. Но как только исчерпаны возможности перечисления, поэт преподносит невыразительную, азбучной элементарности концовку.

Незнамов—верный лефовец младшего призыва. Его книжка отражает в себе, как в малой капле воды, плюсы формальных достижений и минусы лефовских теоретических установок. Леф ориентирует художественную литературу исключительно на факт, а обобщат, мол, факты сами себя. Исходя из этой упрощенной, вульгарно-примитивной теории как непреложного, Незнамов, очевидно, развивая свои суб'ективные особенности, доводит эту теорию до предела: концентрирует свое творческое внимание исключительно на зрительном факте, на описании внешности явления. Его книжка—своеобразный кодак, нащелкавший много интересных пленок. Поскольку снимки снабжены доброкачественными советскими надписями, в которых часто радует мягкий лирический юмор; поскольку это—альбом снимков политически хорошо настроенного человека, да к тому же еще обладающего острым гла-

зом,—перелистываешь его с чувством некоего легкого удовольствия. Но и только. Широким задачам современной поэзии книжка никак не служит. Она поверхностна. И кажется — принципиально поверхностна.

Осип Бескин

Мариэтта Шагинян. Кик. Роман-комплекс. Стр. 214. Цена 1 р. 60 к.

Мариэтта Шагинян. Собрание сочинений. Том II. Голова Медузы. Повести и рассказы 1915—1928 гг. Стр. 430. Цена 2 р. 50 к.

Обе книги в изд. «Прибой». 1929.

Среди многочисленных и достаточно пестрых произведений II тома мы находим интереснейший документ: в 1922 году Мариэтта Шагинян написала автобиографический отрывок «Как я была инструктором ткацкого дела». Это очень существенное свидетельство. С искренностью, ей свойственной, писательница рассказывает о том, как она приняла революцию и как это привело к тому, что изысканный автор «Orientalia» превратился в рядового советского работника-энтузиаста.

Два обстоятельства подчеркнуты в этой своеобразной исповеди: приятие революции и то, что энтузиазм первых лет оказался для нашего автора утраченным — о нем вспоминают, как о чуде, о чем-то неосуществимом. Вместе с этим выделяется характерный мотив интеллигентской размагниченности, мягкотелости,—автор относится к этому иронически, как бы стремясь преодолеть эту размагниченность, но все же с ней примиряясь.

Вот комплекс тех черт, которыми характеризуется социально-психологический облик нашей писательницы. Обращаясь к литературным изображениям, которые даются Мариэттой Шагинян, мы различаем эти же очертания. Они конкретизуются в отдельных произведениях достаточно полно и емко.

В рассказах II тома мы можем наблюдать характерное развитие художника, тот сдвиг, который внесли в его творчество революционные потрясения. В ранних, дореволюционных рассказах («Голова Медузы», «Стихотворение») мы встречаемся с признаками явной опустошенности художника. Он берет такие темы и так их интерпретирует, что создается впечатление о полной бесцельности этого творчества. Оно не оплодотворено никаким активным стремлением. Можно сказать, что у художника в этот период (1916 г.) не было хоть сколько-нибудь значительного содержания. Одно обстоятельство надо отметить: рассказы пессимистичны: в них раскрывается глубочайшее разочарование.

Если от этих ранних рассказов перейти к тому, что помечено 1919 г. («Смерть», «Где я», «Коринфский канал», «Темная комната», «Единственный»),—мы увидим, что комплекс, который намечался в рассказах 1916 г., получает свое развитие. Здесь еще нет ни слова о революции, хотя она успела уже достаточно углубиться к тому времени, все рассказы целиком обращены к прошлому. Этим они ценны. Они развертывают перед нами тот круг представлений, которым определялось творчество Шагинян до революционного перелома.

Несмотря на свое внешнее индивидуальное разнообразие, все эти рассказы достаточно едины, они охватывают один ряд представлений. Перед нами серые, незамѐтные люди, показанные в их страдальчестве. Тот пессимизм, которым были отмечены рассказы 1916 г., конкретизуется здесь в определенный образ. Люди, сломленные жестокостями жизни, люди, которым некуда итти, маленькие люди в их маленьких исканиях, в их крохотных трагедиях выступают здесь. В эпоху, когда революция близилась уже ко второму году своей победы, Мариэтта Шагинян с исключительным проникновением воспроизводит драму лишних людей.

Характерно отношение художника к своему материалу. Постоянно мы встречаемся с подчеркиваемым сочувствием, с откровенным стремлением возвеличить мещанских страдальцев. Это находит выражение и в патетической манере сказа, которая свойственна этим произведениям, в частности, автор любит завершать свои вещи обобщающими

философско-патетическими сентенциями. Так утверждается героический характер повестей о страдальчестве «лишних».

За рассказами 1919 г. следуют произведения, помеченные 1923 и 1926 гг. («Агит-вагон», «Волшебный дом», «Прыжок»). Здесь дана уже интерпретация «приятия» революции. Не только мир мещан, о страдальчестве которых так проникновенно раньше рассказывалось, теперь повержен в прах («Волшебный дом»), но и появляется (хотя бы и в смутных очертаниях) новый образ большевика («Прыжок»). Если мещан, повергнутых революцией, наш автор изображает очень живо, интенсивно, сочно, то образы революции он явным образом схематизирует, доводя их до бессодержательности («Прыжок»). Надо заметить, что схематизация революционного образа, совершенно естественная для художника, пришедшего со стороны, имеет сочувственный, идеализирующий характер.

Перед нами попытка написать величественный образ революции, попытка вполне искренняя и неудавшаяся только потому, что художник недостаточно полно представлял себе революционную действительность. Положительность, идеалистичность образов революции являются свидетельствами огромной искренности Мариэтты Шагинян, превратившейся в попутчика революции.

Половину II тома занимают текстильные рассказы: «Невская нитка», «Фабрика Торнтон». В этих произведениях реализовалось стремление художника обратиться к какому-то новому содержанию.

Нам пришлось однажды знакомиться с рукописью М. Шагинян, кажется, нигде не опубликованной, в которой наш автор формулировал не без влияния Пьера Ампа теорию производственного романа. Этот новый литературный жанр представлялся автору чем-то таким, что должно вооружить и оплодотворить литературу революционной эпохи. Когда теперь пересматриваешь «Невскую нитку» или «Фабрику Торнтон», очевидны некоторая поверхностность, искусственность, «внешность» этих литературных интерпретаций.

Несомненно, что они явились выражением революционного порыва нашего художника. Они возникли потому, что М. Шагинян искала революционного содержания. К проблеме производственной повести художник пришел потому, что социально-психологическая атмосфера революционной эпохи труднее поддавалась осмыслению.

Художник искал какую-то более нейтральную, более предметную, легче усваиваемую и притом вполне актуальную материю. В этом есть своеобразный аскетизм, стремление опроститься, отказаться от своего прошлого, перевооружиться. Мариэтта Шагинян написала достаточно содержательные, живые и интересные производственные повести, но она не оказалась советским Ампом, потому что в этом не было для нее ничего органического. Через этот этап писательница прошла, приближаясь к революции. Это было трамплином.

Так от рассказов 1916 г. — к текстильным рассказам простирается об'ем II тома, показывающего нам развитие Мариэтты Шагинян под знаком революции. Выводы, которые можно сделать, таковы: перед нами художник, связанный в своем предреволюционном прошлом с деградирующей мелкой буржуазией, после революционного переворота он становится попутчиком, стремясь найти новый язык, новые образы, созвучные революции. Как видим, эти искания всегда отличаются большой искренностью, но они еще не имеют своим результатом решительного перевооружения художника. Даже на самом высоком под'еме, каким являются производственные повести М. Шагинян, мы имеем дело больше с отталкиванием от прошлого, с разрушением установившегося канона, чем с творчеством новых форм.

Мариэтта Шагинян — искреннейший попутчик, но она достаточно тесно связана с традициями своего прошлого. Революция принята ею безоговорочно, но все еще рассматривается из некоего далека, со стороны — перед нами очень

сочувственный свидетель, но не участник.

В свете II тома последний роман Мариэтты Шагинян «Кик» имеет достаточно определенный характер. В этой книге подводится известный итог всем исканиям автора в революционный период. Очень полно здесь выявляется то обстоятельство, что художник, несмотря на искренность своего сочувствия революции, до сих пор еще не обрел цельности и равновесия. Продолжается еще период внутреннего осмысления, взвешивания, рефлексии.

Новый роман М. Шагинян имеет цель в художественном значении совершенно абстрактную. Если освободить схему романа от бытового и стилизаторского материала, то это будет, в сущности, схема трактата по психологической поэтике.

Эта абстрактность замысла играет для автора нашего ту же роль, какую играл принцип производственной повести несколько ранее. Так найден путь наименьшего сопротивления для интерпретации того нового содержания, к которому стремится художник. Абстрактность замысла в «Кике» имеет глубокое значение: она связана с тем, что художник еще не способен представлять революционную действительность в ее конкретной полноте. Абстрактность есть для него средство упрощения, нейтрализации.

В новом романе Мариэтты Шагинян легко различить фетишизирование внешнего развития вещи. По сравнению с тем, насколько серьезно, широко осмыслена технология этого пестрого романа, настолько ограниченным оказывается его социальное содержание. Автор обращается к эпохе гражданской войны, занимаясь ее открытым романтизированием. Всего меньше реального, конкретного, жизненного в изображениях, данных здесь художником. Но даже и в этом романтическом одеянии действительность эпохи гражданской войны не развернута полно, а оттеснена на задний план технологией вещи, абстрактностью замысла (трактат о поэтике), игрой в своеобразную «сдвигологию».

Сначала дается документация из газеты «Аманаусская правда», связанная с основным эпизодом сюжета (таинственное исчезновение большевика Львова), потом даются рукописи четырех лиц, в которых каждый по-своему воспроизводит этот эпизод и, наконец, протокол речи большевика Львова, в котором разоблачается мистификация и подводятся итоги опыта по психологической поэтике, к которому и сводится весь смысл романа.

Постоянно подчеркивается власть внешнего в этом романе. Постоянно оговаривается его условность. Художник не тяготеет к конкретным изображениям, он предпочитает оставаться блестящим, но бесстрастным стилизатором, мудрым и смелым строителем своего произведения, но забывает о том, что оно должно существовать как какая-то глубокая, жизненная, социальная система.

Эта власть внешнего, последовательный эксцентризм, ирреализация вещи вовсе не случайны в «Кике»: они являются свидетельствами того, что, несмотря на искренность своего *приятия* революции, художник не умеет еще эту революцию видеть, осваивать, понимать во всем ее конкретном многообразии.

Эксцентризм «Кика»—это выражение «посторонности». Между художником и революцией имеется очень ощутимое расстояние. Это и превращает интереснейший роман М. Шагинян в произведение блестящее, но бесплодное и опустошенное. Мы не знаем, как в дальнейшем будет развертываться творчество талантливой писательницы (в частности, ее документальные очерки последнего времени представляют большой интерес), но, во всяком случае, опыт «Кика» должен учитываться ею со всей серьезностью. Это — неудача.

Федор Иванов

Александр Яковлев. *Человек и пустыня.* Роман. Изд-во «Земля и фабрика». Книга I, стр. 287. Цена 2 р. Книга II, стр. 316. Цена 2 р.

Широко задуман роман Яковлева: истоки его — в прошлом веке, а конец —

наше революционное время. Почти столетие берет Яковлев в «Человеке и пустыне», и многие дела, дни и люди наполняют эту книгу. Основная магистраль ее обозначена уже заглавием—о человеке и пустыне больше всего говорит писатель; в этом — основные конфликты и противоречия романа.

Главный герой его—сын и внук купца Виктор Андронов—еще в детстве слышит о пустыне, с которой борется человек («мы ей — жизнь, она нам — смерть»), а позднее и сам идет бороться с нею. Пустыня для него, побывавшего в Америке, окончившего Петровскую сельскохозяйственную академию,— это не только частичка России, где-то на юго-востоке, а пустыня — вся Россия: «разве одно Заволжье пустыня? Пустыня—это еще вся Россия. Но на этих просторах живет ленивое, неповоротливое существо — русский человек. Надо завоевать его, впрячь в колесницу великой культуры». Так оформляется тип капиталиста-организатора, капиталиста-культуртрегера, цель которого—не прибыль, а строительство, культура, цивилизация. «Цель должна быть ясна, — говорит Андронов. — Для меня она ясна. Я хочу устроить... Спит Россия, я ее разбужу... Не всем быть Пушкиными. Пушкин—сам по себе, я—сам по себе. Чем мои хутора хуже пушкинской поэзии? Мы пустыню сделаем цветущим садом».

Так дело становится мессией, так купец становится мессией, так выколачивание прибылей освещается высокими целями, так классовое превращается в общечеловеческое. Андронов пересматривает официальную русскую историю, он, идеолог купечества, купца делает единственным носителем культуры. «Во все времена и во всех странах купечество было и будет проводником цивилизации,—говорит он на открытии купеческого клуба.—Наживая капиталы, мы не забываем о душе. Это мы, воистину мы, поддерживаем науки и искусства, вы видите, где должна быть «любовь народная». Андронов—это провинциальный Третьяков или Щукин и одновременно Савва Морозов: как и последний, он заигрывает с революционерами, дает им денег, пока не осознает, что революция снесет и его класс. Андронов — с революцией, пока революция с ним, пока он не использовал ее для борьбы с религиозной политикой правительства, а затем он прекращает игру в либерализм и готов, как и купец Зеленов, сказать: «Если бы я не был старовером, я бы стал черносотенцем». Ибо он русский американец, человек высокой и звонкой фазы, хищник, как и его отец и дед, но только хищник культурный, обладающий более сложной аппаратурой хищничества, что, однако, нисколько его классовой природы не меняет. Когда приходит Октябрь, Андронов становится вместе с сыном одним из активных белогвардейских организаторов, пока не гибнет в борьбе с красными.

Таков облик главного героя романа, обрисованный Яковлевым с большой внимательностью и психологической проникновенностью. Но эта творческая тщательность Яковлева имеет, однако, свои пределы, и эти пределы выступают как раз там, где их быть не должно.

Образ Андронова — не новый в русской литературе: до Яковлева уже быт купечества получил свое значительное художественное отображение; творческое своеобразие Яковлева должно было проявиться в изображении семьи Андроновых в революционный период. Но эта часть романа—самая слабая, самая бледная. До революции человек превращал пустыню в цветущий сад, а революция превращает цветущий сад в пустыню — вот тезис Андронова. И ему ничего не противопоставляет Яковлев: революция в его романе — это война, разруха, всеобщий упадок и разорение.

Первый этап нашей революции есть разрушение старого политического строя и создание наиболее совершенной политико-государственной системы — советской власти. Вместо этого у Яковлева — хаос, всеобщая неразбериха, ибо он подходит к революции узко-экономически:

«Недовольство росло, а новая власть, точно не замечая этого недовольства, реквизировала, з а х в а т ы в а л а еще и еще, поворачивала жизнь круто, точно

железной уздой усмиряла норовистую лошадь. Только заводские рабочие и солдаты будто были довольны: они хозяева».

Вот только так пишет Яковлев о революции, вот только так — в двух словах — передает он о «будто» довольных рабочих и спешит дальше к подробнейшему описанию страданий Андронова. Естественно поэтому, что у Яковлева не нашлось и двух слов для Ивана Андронова, ставшего большевиком, хотя это как раз наиболее новый образ во всем романе: именно он, единственный из всех Андроновых, понял, что большевики — это не пустыня, хотя еще и не сразу цветущий сад. Но Иван Андронов выпал из романа, как выпало из него и многое другое, что делает писателя художником революции.

«Человек и пустыня» — это русский вариант «Маленькой хозяйки большого дома» Джека Лондона. Советскому писателю вряд ли надо заниматься подобными вещами. По сравнению с «Октябрем» и «Поволниками», новый роман Александра Яковлева есть шаг назад, он пытается писать бесстрастно и внешне-об'ективно о таких явлениях, на которых революционный художник разряжает свое отрицание и утверждает свою связь с революционной эпохой. Александр Яковлев — не Мельников-Печерский и не Мамин-Сибиряк, от него мы можем требовать не только подробнейшего бытописательства, но и понимания того времени, в которое и о котором он пишет.

Ник. Прокофьев

П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове. Выпуск первый, 327 стр., 3 р. 25 к. Выпуск второй, 246 стр., 2 р. 60 к. Изд. «Прибой». 1929.

С легкой руки В. В. Вересаева известный пушкинист П. Е. Щеголев выпустил такую же хрестоматийного характера работу «Книгу о Лермонтове».

Обычно все хрестоматии заслуженно вызывают протест у читателя своей отрывочностью, суб'ективностью, неравномерностью и пестротой материала и отсутствием ясно выраженного принципа исследования. Не избег этих недостатков и Щеголев. Задавшись похвальной целью «восстановить образ Лермонтова, образ человека и поэта, как он рисуется в представлении современников, в официальных свидетельствах и документах, на фоне подлинных исторических материалов эпохи», он сделал лишь сводку материалов по разным источникам, в новом виде повторил и обновил старого В. И. Покровского. Пред читателем проходит хронологическая нить отрывков из разных авторов и официальных документов. Как живые голоса свидетелей, эти отрывки, конечно, дают известную картину детства и юности Лермонтова, но они не вскрывают ни точек зрения, ни методологии составителя, ни способов интерпретации материалов, ни общей системы оценок, ни самой творческой истории произведений.

Автора не спасает довольно резко выраженное старание отмежеваться от Вересаева. В предисловии читаем:

«По принципу построения наша книга расходится с аналогичной по заданию книгой В. В. Вересаева «Пушкин в жизни». Со всей решительностью мы отвергаем принципиальную установку В. В. Вересаева, высказанную им в следующих словах: «Критическое отсеивание материала противоречило бы самой идее и задаче этой книги. Я, напротив, старался быть возможно менее строгим и стремился дать в предлагаемой сводке возможно все дошедшее до нас о Пушкине, кроме лишь явно выдуманного». Вместе с тем, Вересаев сознательно отказывается от внесения в книгу поэтических показаний Пушкина, хотя бы носящих явно автобиографический характер. Подход В. В. Вересаева представляется нам абсолютно ненаучным, и «беспристрастность» Вересаева сильно смахивает на выпуклую беспринципность. Нужно ли еще доказывать, что всякий исторический материал вообще, абиографический в особенности, требует критического к себе отношения. Нужно ли доказывать необходимость чисто-исследовательской работы, выражающейся в критике и сопоставлении показаний современников даже для такого рода книги, как наша, которая

предназначается для чтения и не претендует на научную значимость?

Но дальше этих деклараций никаких критических замечаний, кроме подстрочных, именных преимущественно, в книге не имеется. Не обещает их автор и во второй части исследования. И читатель не видит, в чем заключается «исследовательская» работа автора, в чем «критика и сопоставление показаний».

Как и в любой хрестоматии, мы вправе допустить тот или другой отбор материала, известную установку в этом отборе. Но она не видна в этом калейдоскопе отрывков. Для примера достаточно указать хотя бы крупные выдержки из «Записок» Е. Сушковой. Уже известные критические замечания Е. А. Ладыженской (см. обзор источников для биографии в «Полном собрании сочинений», т. V) давало бы право на необходимость критического отношения к участникам «драмы». А пред нами лишь голый факт материалов в выборке составителя. Конечно, и этот подбор материалов будет заслуженно оценен читателем, но он не найдет в нем образа Лермонтова, набросанного автором.

Щеголев указывает на внесение им в книгу поэтических показаний поэта. Этот прием, важный сам по себе, также требует постоянных сопроводительных примечаний, так как разновременные эти отрывки могут нарушить правильность перспективы как в смысле автобиографии, так и в отношении истории творчества (см. статью «Кавказ»).

Признаем заслугой составителя издание новых неопубликованных материалов о Лермонтове, но все эти интересные материалы из биографии писателя оставили бы большее впечатление, если бы они были вставлены в рамки исследовательских суждений, мастерством которых был известен рецензируемый автор.

Только что появившийся второй выпуск имеет ту же методологическую установку. Мозаически-лоскутный биографический облик Лермонтова здесь имеет более определенные очертания, но он не выходит из общеизвестных понятий о двойственности природы поэта. И здесь было бы ценно исследовательское руководство автора. Несколько загромождают книгу официальные документы (дело о дуэли, выдержки из военного журнала).

А. М. Смирнов-Кутаческий

Список книг, полученных редакцией для отзыва

«ГОСИЗДАТ»

Марков В. Д. Краткая история театра, стр. 70, ц. 50 к.
Панферов Ф. Бруски, стр. 319, ц. 50 к., пер. 15 к.
Чехов А. П. Злоумышленник и др. рассказы, стр. 159, ц. 30 к.
Его же. Сирена и др. рассказы, стр. 123, ц. 25 к.
Киреев Д. А. П. Чехов, Жизнь и творчество, стр. 116, ц. 30 к.

«ПРИБОЙ»

Шагинян Мариэтта. Приключение дамы из общества, роман, стр. 615, ц. 3 р. 75 к.
Будберг А., барон. Дневник белогвардейца, стр. 296, ц. 2 р. 75 к.
Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы, 1848—1896, стр. 415, ц. 3 р. 50 к.
Щеголев П. Е. Книга о Лермонтове, стр. 247, ц. 2 р. 60 к.
Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма, стр. 287, ц. 1 р. 90 к.
Арансон М. и *Рейсер С.* Литературные кружки и салоны, стр. 300, ц. 3 р.
Андрузский А. Я. Эстетика Плеханова. Основные вопросы марксистской социологии искусства, стр. 209, ц. 1 р. 50 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ»

Полонский Вяч. Литература и общество, сборник статей, стр. 401, ц. 3 р., пер. 3 р. 20 к.
Огнев Н., собр. соч., т. III. Третья группа. Разбойничий форпост, стр. 293, ц. 1 р. 80 к., пер. 30 к.
Кубиков И. Н. Литературные очерки, стр. 231, ц. 2 р. 50 к.
Пяст В. Встречи, стр. 299, ц. 2 р. 50 к. пер. 20 к.
Новиков Ив. Пространство и дни, рассказы, стр. 269, ц. 2 р. 50 к., пер. 20 к.
Логинов-Лесняк П. Голубой дым, роман, стр. 292, ц. 1 р. 75 к., пер. 20 к.
Тарасов А. Будни, повесть, стр. 142, ц. 85 к.
Шабалин Б. Расплата, повесть, стр. 124, ц. 80 к.
Ерошин И. Синяя юрта, стихи, стр. 107, ц. 1 р. 10 к.
Никитин М. Путь на север, очерки Туруханского края, стр. 153, ц. 1 р. 20 к.
Ремарк Эрих Мария. На западе без перемен, авторизованный перевод с немецкого Мятежного С. и Черевина П., редакция Эфроса А., стр. 298, ц. 1 р. 10 к., пер. 30 к.

«З И Ф»

Майн-Рид. На невольничьем судне, роман, стр. 248, ц. 1 р. 40 к.
Владимиров В. Две дороги, повесть, стр. 171, ц. 1 р. 40 к.
Золя Эмиль. Жерминаль, роман, перевод с французского Усова Д. С., стр. 654, ц. 3 р. 20 к.
Никитин Ив. Уклон, стр. 286, ц. 1 р. 80 к.
Верн Жюль, собр. соч. т. VII. Север против Юга, перевод с французского, стр. 278, ц. 1 р 75 к.
Уэлс Дж. Полное собрание сочинений, т. VI, ред. Зенкевича. Когда спящий проснется, стр. 273, ц. 1 р. 60 к.
Завадовский Л. Вражда, стр. 220, ц. 1 р. 35 к.
Алексеев М. Большевики, роман, стр. 256, ц. 40 к.
Березовский Ф. Мать, стр. 160, ц. 25 к.
Замойский П. Агашка, повесть, стр. 56, ц. 20 к.
Цанкар. Батрак Бортоло, перевод с словакского, стр. 56, ц. 10 к.
Де-Мопасан Гюи. История батрачки с фермы, перевод с французского, стр. 38, ц. 10 к.
Подьячев С. П. Карьера Захара Федорыча Дрыкалина, стр. 55, ц. 10 к.
Раблэ Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль, перевод с старо-французского, примечания Пяста Вл., редакция и статья Гливенко И. И. предисловие Когана П. С., стр. 529, ц. 5 р., перепл. 50 к.

Ремарк Эрих Мариа. На западном фронте без перемен, пер. с нем. Мятежного С. и Черевина П., ред. Уманского Дм., пред. Радека К., стр. 224, ц. 35 коп.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Говерн-Мак. Переодетым в Лхассу (Тайная экспедиция англичан в Тибет), перев. с английского под ред. и с очерком «Тибет» Батенина Э. С., предисловие Ивина А., стр. 295, ц. 1 р. 80 к.

Луначарский А. В. Искусство и молодежь, сборник, стр. 133, ц. 95 к.

Тэйлор Мерлин-Мур. В стране папуасов, перев. Биншток И. А., предисловие Каяндер Е., стр. 237, ц. 1 р. 45 к.

«Г А Х Н»

Федоров-Давыдов. Русское искусство промышленного капитализма, стр. 246, ц. 3 р. 25 к.

«КОМАКАДЕМИЯ»

Маца И. История развития искусств. Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе, часть 6, стр. 256, ц. 3 р. 50 к., пер. 50 к.

Литературная энциклопедия, т. II, стр. 768.

Ежегодник литературы и искусства на 1929 г., стр. 703, ц. 5 р. 50 к., пер. 50 к.

«ОБЩ. ЧЕХОВА И ЕГО ЭПОХИ»

Чеховский сборник 1929 г., Найденные статьи и письма, воспоминания, критика и библиография, с 24 иллюстрациями, стр. 252.

«АРП»

Киссель Ж. Пленница Махно, роман, перевод с пятьдесят седьмого французского издания Вилькен С., стр. 119, ц. 70 к.

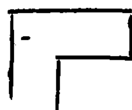
Редакц. коллегия: Вл. Васильевский. Б. Волин. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников.

Ответственный редактор: Ф. Раскольников

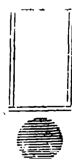
Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4, тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ



ОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



›ВИНКИ
ЛЕТАРСКОЙ
ıТЕРАТУРЫ РАПП

ЛИБЕДИНСКИЙ Ю.

ІОВОРОТ

ман. Книга 1. Стр. 230. Ц. 75 коп.

ГУРВИЧ Е.

ВОЗЬСТРОЙ

Стр. 224. Ц. 1 руб.

АТОВ Б.

ЧЕЙКА

. Изд. 3. Стр. 190. Ц. 1 руб.

ПАНФЕРОВ Ф.

РУСКИ

ман. Издание 6. Стр. 360. Ц. 2 р.

ПЛАТОШКИН М.

В ДОРОГЕ

Роман в 3 част. Изд. 2. Стр. 350. Ц. 2 р.

СТАВСКИЙ В.

СТАНИЦА

банск. очерки. Изд. 2. Стр. 175. Ц. 95 к.

ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК П.

ИКОЕ ПОЛЕ

Роман. Стр. 190. Ц. 1 р. 50 к.

СВЕТЛОВ М.

ЛЕБ

Поэма. Стр. 37. Ц. 60 к.

БАБУШКИН В.

В ЦАРСКИХ ПОГОНАХ

Стр. 124. Ц. 60 к.

БУСЫГИН А.

ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Повесть. Стр. 109. Ц. 65 к.

САЯНОВ В.

Комсомольские СТИХИ

Стр. 92. Ц. 65 к.

ЖАРОВ А.

Итальянское ПИСЬМО

(и другие стихи). Стр. 64. Ц. 75 к.

АЛТАУЗЕН ДЖ.

БЕЗУСЫЙ ЭНТУЗИАСТ

Лирическая поэма. Стр. 80. Ц. 75 к.

ПРОДАЖА во всех МАГАЗИНАХ и КИОСКАХ ГОСИЗДАТА

ЧУМАНДРИН МИХ.

РОДНЯ

2 просм. изд. Стр. 196. Ц. 1 р.

ШВЕДОВ Я.

ЮР-БАЗАР

Роман. Стр. 207. Ц. 1 р. 25 к.

БЕЗЫМЕНСКИЙ А.

Удары СОЛНЦА

Стихи. Стр. 80. Ц. 75 к.

ФУРМАНОВ Д.

ДНЕВНИК

(1914—15—16). Подред. А. Фурмановой. Пред. Г. Зиновьева. Стр. 316. Ц. 2 р. 25 к.